# Волга

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

1-2 (460)

2016

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

**Иван Белецкий.** «Анапа» *и др. стихи*.....3
**Борис Клетинич.** Моё частное бессмертие. *Роман*.....6
**Виталий Зимаков.** В корни грая. *Стихи*.....86
**Анатолий Бузулукский**. Учительницы. *Повесть*.....88
**Николай Фоменко.** Взять тёплые вещи. *Рассказ*.....106
**Елена Сунцова.** «Ласточка на хайвее...» *и др. стихи*.....110
**Лев Оборин.** «Темнот всего семь, и седьмая...» *и др. стихи*.....116
**Валерий Володин.** Там, на краешке бессмертного лета. *Быль*.....120
**Тариэл Цхварадзе.** «Разливное пиво, раки...» *и др. стихи*.....139
**Михаил Окунь.** Шахматный рассказ. Аралия и лимоны. *Рассказы*.....142
**Елена Зейферт.** Вода в броске. *Поэма*.....146
**Вячеслав Харченко.** Домик-пряник. *Рассказ*.....149

ПУТЕШЕСТВИЕ

**Михаил Бару.** Таракан на канате *(Продолжение)*.....156

РЕТРОСПЕКТИВА

**Сергей Боровиков.** По страницам журнала «Огонек» 1945–1953.....178

СТРАНИЦЫ ВТОРОЙ КУЛЬТУРЫ: ИЗБРАННОЕ

**Сергей Стратановский.** Эпоха самиздата: что это было?
*Переписка Сергея Стратановского и Кирилла Бутырина*.....194

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

**Данила Давыдов.** За пределами диалога:
*О творчестве Бориса Фалькова*.....205

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**Валерий Шубинский**. Полной грудью
*Вадим Месяц. Стихи четырнадцатого года*.....209

**Алексей Александров.** Молекулы текста
*Е. Стрелков. Молекулы*.....211

**Анна Голубкова.** Точность и конструктивное многообразие
*Татьяна Бонч-Осмоловская. Истоки истины*.....213

**Анна Сафронова.** «Собака, бегущая прямо-боком-наперед»
*Владимир Шапко. Лаковый «икарус»*.....216

© «Волга», 2016

## *Иван БЕЛЕЦКИЙ*

### Анапа

Жара. Пахнет гастролями на побережье.
У актеров сердечные приступы. Выше по карте падает самолет.
Воздух становится бражным.
В подсобке собака брешет.
Вечер не настает.
Ставим сценки детям в сердце фальшивого Юга.
Декорации плохи, а советский ДК сутул.
Юность вокруг заглаживается как брюки
и вешается
на стул.

***

Сильно промок, но под ветром быстро просох.
Промерз, но добрался до линии улиц к ночи,
бросив машину, зарывшуюся в песок,
и чемодана клочья.

На окраине тихо, сель прошел в стороне,
Но природа была и здесь под видом угрозы.
Дула с предгорий, носилась в сырой стране,
Лезла в дома без спросу.

Сел и тронул лицо земляной рукой.
Тронул окраину: дом, тополя, больница:
Жизнь существует в этом, в других, в другой.
И жизнь боится.

***

Кровь течет но кровь противна земле.
Ритуалы: вымоем руки снегом
сплюнем выложим ложный след
чтобы дух не прошел за нами по настоящему следу.
Прутья торчат корка запекся наст.

---

*Иван Белецкий родился в 1983 году в Краснодаре, в 2005 окончил юридический факультет. Работает журналистом. С 2013 года живет в Санкт-Петербурге. Стихи публиковались в журналах «Крещатик», «Урал», «Нева», «Волга» (2014, №11-12).*

Кожа на сапогах собирается коченеет.
И правосудия тучей полузакрытый глаз,
и воздаянье само с собою наедине, и
световые столбы по краям полей
не как знамения, а скорей для присмотра,
и лицо успокаивается сильней,
и страх к бороде примотан,
и кровь течет, и кровь вытесняет смерть.
Видел начало бури, но дальше боялся смотреть.

***

Зимний вечер. Станции под Армавиром.
В три глотка банку ополовинив,
муж допивает и слушает, жена говорит:
«Он вернулся. Он живет где и жил,
через улицу. Стало быть, не секрет,
ты должен знать». И муж, сложив
банку гармошкой, прячет ее в пальто.
«Вряд ли мне интересно. Впрочем, я знаю, кто
будет задет».
«Да, твой отец». «Отец».
Явно пахнуло фермой. Тянутся огоньки.
Тогда было лето. Улица вдоль реки.
«Все началось с собаки, сначала пришла она,
после – хозяин, вроде пришел за ней,
но не за ней». «Отец-то уже в те дни
видел, что будет, и отпускал при мне
что-то в твой адрес. И оказался прав».
«Ты же ходил на работу. Август, была жара,
травы гнили ночами, а днем сгорали,
пыль за машиной сворачивалась спиралью».
«Да, ходил на работу. И сейчас бы ходил.
Папа – другое дело. Не сказать, что ему
было дело до чувств или дело до дел
наших с тобой. Было дело до мух
на винограднике, дело до сумасбродства,
чести, как он ее понимал, а он понимал ее просто».
Жалко собаку. Жалко сгоревший сарай.
Жалко трусость и смелость, и даже тягу к труду.
Снаружи под фонарем мелькает перрона край
И люди гуськом переходят реку по льду.

***

Земля заброшена и огромна, как заводы в губерниях.
Столь же бесплодна? Мы умеем копировать
Чертежи ее печени, чтобы продребезжать,

Будет ли урожай.
Или задачка попроще – пробуя на зубок
Глину, узнать, сколько везти с собой
Чернобурых комбайнов и в кузовах крестьян,
Которые плугом достанут от сталина до мустье.
Результаты наши комичны, ибо общих законов
Не обнаружить. Зерно, артефакт, теогония
Родом из почвы, но почвы, в общем, темны.
И своевольны. Но больше все же темны.

***

Рисунок на ногте был похож на закат.
Можно сравнить, но времени не хватало.
Степь погружалась в сумерки.
Из мешанины вышагивали кони.
Всадник – гунн – головы закреплял на седле,
держался с достоинством и опаской:
этот груз нужно довезти в будущее из прошлого.
Лошадки выглядели неказисто, но ведь отбирались
не ради глаз женщин, а чтобы с луки седла
чужие глаза сумели увидеть больше.

***

ключ между Липецком и Ростовом
земля не пропахана до пустого
женщины спят на заднем сиденье маршрутки
готовятся к первым заморозкам сентября
мальчик шатает шурупы
не говоря
жалко физично колеса полдня
пахнет трава как британский голдинг
пряно вокруг немного сине
голень немеет озеро в той траве
шаг от летней одежды к зимней
не вмещается в голове

*Борис КЛЕТИНИЧ*

# МОЁ ЧАСТНОЕ БЕССМЕРТИЕ

*Роман*

## Пролог

1.

Русский берег был коса, отмель. Точно ласкающую пятерню запустили в светлые вихры Днестра. Круглый год там царило лето.

Берег напротив – скала с черным лесом. С серым опереньем льда, наползавшего на него слой за слоем.

И вся-то перепонка реки – от одного берега до другого – не превышала 300 локтей.




*Plasă Резена, județ Оргеев, Королевство Румынии.*
*Рождество 1935 г.*

---

*Борис Клетинич родился в Кишиневе в 1961 году. Учился во ВГИКе, служил в армии, работал на киностудии «Молдова-фильм». Автор сценария художественного фильма «Ваш специальный корреспондент» (1988). С 1990 года живет в Израиле, с 2002 – в Канаде (Монреаль). С 2004 года… запел со сцены. Публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Зеркало» и др.*

«Какие там порядки на русской стороне... в этом плане... нас не колышет! – инструктировал начкар[1] перед заступлением в “секрет”. – Как и лживая русская пропаганда в этом плане, все эти показушные парады в расчете на дураков!.. Что же до румынской стороны, то демарка... демарка... ци... *(никак он не справлялся с этим словом!*), ну короче, румынская родина в этом плане заканчивается строго посередине реки. Согласно военному уставу, в светлое время суток нарушителей *(эким важным словом величал он безголовых рыбаков из Бранешт[2], почему-то уверенных в том, что самые жирные судаки водятся исключительно на русской стороне!)* следует предупредить выстрелом в воздух! Затем, если не разбегутся к ... матери, следует предупредить их повторным выстрелом в воздух! Снова не дошло? Открываем *огонь на поражение*! Вот так! И пускай – ха-ха! – апостолу Петру жалуются!..»

Говоря про *огонь на поражение* (а говорить о нем приходилось каждый вечер на разводе), начкар, малорослый, жирный, без талии и без шеи, делался неотразим. Столько высоких стрел с лица его взлетало! Сам разговор его, как прожаренная одежда, делался чист. Никаких тебе «*демаркаци-ци...*» и «*в этом плане...*».

И все-таки это был инструктаж. Тупая казённщина устава. И да простит меня ап. Пётр, но придется ему поскучать в моем наряде. Не прилетит к нему святой беднец и наивный жулик: молдавский рыбак. Сколько б судаков не натаскал с русской стороны!

Впервые чем-то новым повеяло месяца три тому назад, когда «французики» (фасонисто-городские, в тонких усиках и жирном облаке Eau-de-Cologne, молодые евреи) моду завели: переходить в Россию через Днестр. Вначале – тайно и под покровом ночи. Затем – в открытую, по дневному льду.

Интересно, почему они наш участок выбрали? Грешат на Ревн-Леви, местного ресторанщика. Открыл-де золотую жилу (и кое-кто в комендатуре имеет с этого процент. Эх, румынская честь!..).

– С наступлением же темноты и до восхода солнца, – продолжил начкар, – может случиться *еще один вид нарушителей*!..

(«Ну-ка! Ну-ка!» – навострил я слух).

– Вы знаете, о ком я говорю, Василаке и Адам!..

(Из чего я понял, что в наряд поставлен снова с Василаке. Уф-ф-ф!)

– Значит, в случае... *jidanii[3] на льду*... – начкар запнулся.

(«Ну! – мысленно взмолился я. – Роди же свое любимое – про *огонь на поражение*!..»)

–... следует вызвать вспомогательный наряд! – родил начкар. – По телефону!

– Тьфу! – не сдержался я. – Позор!..

От ярости подбородок мой дрожал. Из глаз искры летели.

– На гауптвахту захотел? – обернулся ко мне начкар.

– Тьфу! – еще злее сплюнул я. – Позор! Стыд!..

Двор погранзаставы был едва освещен (чтобы русские бинокли не разглазелись со своего берега). Единственный фонарь запален под козырьком полуподвала. А потом и его мутный маятник исчез из виду.

Выкрались в лес через пролом в булыжной кладке.

В лесу темнота лезла густо, как колбаса из кишки.

Прошло порядочно времени, пока глаза пристали к ней, запустили в нее личинки зрения.

Тогда снег на реке выступил. И лес, набегавший с уклона в реку.

*Спустя полчаса*.

Устроились за валунами в «секрете».

---

[1] *Начкар* – начальник караула.

[2] *Бранешты* – деревня в 7 км от пос. Резена.

[3] *jidanii (рум.)* – евреи

Лед на реке был тёмен.

Зато на русском берегу машинотракторная станция светилась всеми столбами.

Дешёвки эти русские: всё напоказ. Всё самое красивое, лучшее – нате, щупайте глазами кому не лень!

Я бы так не смог. Я и с невестой своей (*S.F.* с геологического ф-та) любил встречаться наедине, в малолюдных, заглушённых старыми акациями кварталах Ясс. И если бы я только мог (если б эта ветреница согласилась!), то вовсе не показывал её никому.

Ну да что вспоминать.

Расположились на мешках со стружкой.

Как старший по наряду, я первый поработал с биноклем.

Потом Василаке передал.

Хотя и лишнее.

Ничем его не удивишь: ни ярко освещенной тракторной станцией на русском берегу, где и по ночам снуют бодрые техники-механики, грузчики (а если повезет, то и фигуристая бабенка в коротком складском халатике пробежит через двор), ни кинофильмами с грузовиков (в каждые выходные грузовик с киноэкраном возникает на песчаной косе, луч проектора прорезает мглу, голоса артистов веют над рекой до поздней ночи).

Но Василаке хоть бы что. Циник и жлоб, хотя и образованный.

Из-за этой *образованности* (у меня два курса в горноинженерной школе, у Василаке – три в медицинской) начкар и ставит нас в наряды вместе. Интеллигент, мол, к интеллигенту...

Глупости!

Давно пора втолковать ему, насколько мы разные по духу.

Одно то, *что* привело нас в армейский клоповник из чистенькой университетской среды (меня предательство *S.F.*, Василаке льготы для служивых), говорит о многом.

Нет, сначала с ним и вправду было интересно: чувство юмора, городские манеры, все при нём.

Но вот случились у нас эти *евреи на льду*, и я открыл ему, что взволнован их побегом:

– во-первых, больно (та, которую я больше жизни любил, променяла меня на них),

– во-вторых, смута на душе: а что если *так и надо*: бросить всё и бежать в русский коммунизм, в вечное его лето!.. А что если просто нельзя по-другому?..

И о том, как я убиваю в себе эту смуту, не укрыл от него.

Как же я убиваю ее?

А вот так. Слушай!

Дело моей жизни – горное дело. Разведка ракушечника, бурого угля, белого известняка, проведение геологической съемки. Работа не из легких. Зато со смыслом. Только представь, милый Василаке: в каждом разрезе неподатливой земной коры, в каждом закоснелом отложении породы взывает к нам наша с тобой геологическая сага. Кто я был до встречи с ней? Ноль. Кольцо стружки на станке веков! Кем я стал? Грозный дак! Победоносный римлянин!..

...Взволнованный собственной речью, я решился, к несчастью, взглянуть на *милого Василаке*.

И был уязвлён.

Потому как в совершенной темноте ночного леса открылась мне подлинная карта его лица.

Никогда не забуду этих выгнутых надбровных дуг, по которым, как дождь по желобам, стекало отвратительное выражение иронии.

Перевести на слова – оно звучало бы так: «Ай, оставь! Разведка ракушечника это хорошо, но и фраеров тут нет! Свои сто лей я должен заработать в первую очередь!»

Гм, я человек с воображением. Иногда мне видится то, чего нет.

«Дам ему второй шанс!» – решил я.

Всяк меня поймет: среди приземленных нравов нашей армии мечталось мне не просто о друге, но о существе, хотя бы отчасти облагороженном жизнью ума и сердца.

Итак, вот какую тему подложил я Василаке в нашем следующем *секрете* за береговыми валунами.

Кто мы, задал я вопрос.

Только ли ничтожные обыватели, субъекты тех или иных перекроек границ в Европе?

Или же *осмысленные* румыны?

А?..

Только ли мы буфер между Турцией и Россией, Австрией и Польшей, или же, пускай и малая числом, но сильная духом нация, умеющая отстоять свои пределы на земле, равно как и обозначить их контуры на Небе?..

А?..

И вот тут, еще только произнося «*пределы на земле*», бросил я полный надежды взгляд на Василаке.

Чтобы со стоном отрезвления признать всё то же *Ай, оставь*, выступившее на его физиономии.

«Ай, оставь! Ай, оставь! – пело глумливое его лицо. – *Осмысленные румыны* это хорошо, но и фраеров тут нет! Свои сто лей я должен заработать в первую очередь...»

Крушение иллюзий!

– Отрицаешь ли ты, – спросил я, задыхаясь от обиды, – наше право быть *нацией* под Богом...

– Кем-кем? – хохотнул он. Но, угадав мое состояние, подобрался и согнал ухмылку с лица. – Это смотря *какой* нацией! – проговорил он голосом человека, задетого за живое. – Если малой и слаборазвитой, трусливой и повсеместно пораженной коррупцией – то не отрицаю ничуть!..

– Врешь! – только и сказал я.

– Вру? – оскорбился он. – Смотри, во что границу превратили! В комендатуре подмажь – и вали! Хоть в Россию, хоть на Луну!.. Со всего Королевства – валят!..

Убил бы его.

Но... взял себя в руки.

Поморгал.

Вдохнул-выдохнул.

– Послушай, Василаке! – сказал я, убедившись, что дыхание мое выравнено и голос не прерывается. – Мне двадцать один. Не так уж много я в жизни видел. Еще меньше успел. Была у меня всего одна женщина, и та изменила! Но при том готов я умереть сегодня! сейчас! в сию минуту! Но умереть как румын, сын румына! А не коптить небо до глубокой старости – в виде субъекта русских или австрийских интересов!..

Зачем я палил слова – теперь уже отлично представляя, кто передо мной?

А затем, что через голову недоучки-терапевта говорил я с *S.F.*

Ей, неотболевшей, приносил и эти приречные снега, холодящие тело сквозь пролежалый мешок со стружкой, и неграмотные деревья, сбегающие с уклона к речному льду, и надувшуюся треть луны под кожей неба...

Да, мы тихий народ, делился я с ней. Самый тихий в Европе. Народ саманных землянок, а не венецианских палат, народ тупого и грязного сельского труда, а не прогрессивных наук и кругосветных путешествий. И при всём том не теряли мы лица, нет! Вот и оттоманским туркам, свирепым покорителям нашим, сумели внушить почтение к себе. Так что ни единый полумесяц не засиял на молдавском небе. В отличие от сопредельных краев болгарских и сербских, просто-таки испещренных магометанскими молельнями!

– Тебе в *Железную Гвардию*[1] надо! – перебил Василаке. – В братство Креста! У них это тоже пунктик: мы, румыны, такие, да мы, румыны, этакие!..

– Да – *такие*! – повторил я (расставаясь с чудным мороком *S.F.*). – Да – *этакие*!..

– А чего же тогда, – ухмыльнулся он, – румынскую зазнобу себе не подыскал?..

– Не твое дело! – вспыхнул я. – И вообще... тема закрыта!..

С тех пор я не швыряю бисер перед Василаке.

И, клянусь, это мой последний с ним наряд (завтра же рапорт напишу).

Но предстояло еще отбить эту ночь.

Не вопрос.

Вероятность *ЧП* в мои наряды – нулевая. Единственный на заставе, посмел я открыть огонь на поражение по *jidanii na льду*. Было это с 2 месяца т.н., и с тех пор уж не знаю кто, ресторанщик ли Москович или офицеры в доле с ним, но этот кто-то принимает все меры к тому, чтобы в мой наряд – ни-ни!..

В остальном же участок наш тихий. Русские давно уже *не те*. Не имперствуют. Не пробуют наложить лапу. Да и мы поумнели: покончили с междуусобицей наших древних княжеств! Провели аграрную реформу! А что *французики* от нас бегут... гм-м... ну так что тут поделаешь: племя такое, нигде им не дом родной.

Но вдруг завозилась темнота на реке.

Как в погребе шевелится холстинный мешок с зерном, когда в него мышь проникла, так на реке *нечто* завозилось.

Я нащупал холодный корпус бинокля и, не обрывая Василаке (в эту ночь он был говорлив как никогда. Может, хотел вернуть мое расположение), поднёс к глазам.

Как назло – темень была полная. Луна в небе не намыта ни на грамм.

Не замечая моих действий, Василаке продолжал рассказывать про *Идл-Замвла* (местного святого):

«Колдун первой марки! От любой хвори лечит! Любые просьбы исполняет... – но только для *своих*!..».

«Вот как?! – пробормотал я, клекоча ресницами о стекло бинокля.

«А главное, – продолжал он, – раздваивается, как привиденье! Как дождевой червяк, если порубить! В Резене и Оргееве[2] одновременно его видят!».

Последнее я мимо ушей пропустил: как раз посыльный прибыл.

Я посветил спичкой на доставленную бумагу: начкар меня зовёт.

Хм-м. Странно.

Отполз я следом за посыльным, но, запав в заснеженную яму на холме, притаился в ней. Мнительность моя была растревожена.

И что же... и двух минут не прошло после моего (ха-ха!) убытия на заставу, как какие-то, теперь уже отчетливые фигурки забегали на льду в жуликоватой спешке.

Французики!

И пока, с неудобно-большой, ударяющей по коленям пехотной винтовкой на плечевой перевязи летел я в *секрет*, догадка догнала: *все-таки решились в мою ночь*... за тем и отозван с поста.

Как раз костер полохнул – посередине реки!

«Василаке! – закричал я, сваливаясь в нашу яму с валуна. – Чего же ты?»

---

[1] *Железная Гвардия* – ультраправое религиозно-националистическое движение в королевской Румынии.

[2] *Оргеев* – уездный центр (в 30 км от Резены).

Лишний вопрос! Позорное смятение на его лице говорило само за себя.

«Кор-р-рупция нам не по душе! – зарычал я устраивая винтовку для выстрела. – А сам?.. А сам?..»

Наглое костровое пламя приседало и подпрыгивало на ночном льду.

Но что я увидел!

При ненормально-высоком костровом свете пляшущая толпа евреев шла в круг. Но не французики в узких панталонах, а другие, в деревенских кушмах, с лошадиными кистями в головах. Тела их, тощие и неладно свинченные, казались подхвачены некоей тупой инерцией, разогнавшей их по льду. Господи! Столько позёмной бури они своим танцем поднимали!

Но тогда Василаке пришел в себя.

– Не стреляй, Костэл!.. – с храбростью, которой трудно было от него ожидать, вырос он перед винтовочным прицелом. – Там же Идл-Замвл среди них!.. Видишь, с белой бородой?!.

– В сторону!.. – приказал я, привалившись щекой к прикладу.

– Если ты пристрелишь Идл-Замвла, – вскричал он, – тебя волки съедят! Спроси у местных, что было, когда два царана[1] с Бранешт поколотили его на Пасху!.. Косточки через неделю нашли!..

– На счет *три*, – выдохнул я в ответ, – стреляю!.. Раз-з-з!..

– Костэл! – взмолился он. – Подожди, пока они Луну замолят!.. У свиней течки не будет – без их «вэй-вэй»!..

– Два-а-а!.. – сказал я с физиономией с самой свирепой.

А потом не выдержал:

– У каких свиней?!.

Да и кто бы не дрогнул – глядя на их танец!

Как орда, неведомо-варварская, тупая, силоразгонная, из-за границ географической карты, из-под речного льда, из узкой рассветной щели, налетели они на нас. Казалось, еще круг – и все кончено. Еще навал – и сама природная крепость наша (речные берега, лес...), хотя и намертво скованная зимой, будет отдана им на разграбление.

– Он же колдун! – поспешил Василаке объяснить. – Луну спрячет – без приплода останемся!..

Но затем, пока я над ответом думал, переменился в минуту.

– Три! – сказал он вдруг голосом серым, скучным. – Стреляй теперь!

– А-а? – не понял я. – Что?..

– Полчаса оплатили? – подняв обшлаг шинели, он на часы глянул. – Полчаса и прошло! А фраеров тут нет!..

Беспокойство и тоска изъели меня в минуту.

...Костер на льду затухал.

Фигурки евреев удалялись к берегу.

И тогда, совсем не церемонясь, Василаке подошел и раскрытой пятерней повернул голову мою в другую сторону, вдаль по рукаву реки, стоявшей в тяжелых льдах.

Там, в усиленной близким пламенем темноте не рассмотреть было ничего живого. Только отрывистый, будто ножиком карандаш очинивают, собачий лай с окраинных дворов на горе.

– Пуляй! – предложил он. – Но только обманули дурака! Они уж на русском берегу!..

– Кто... на русском берегу? – пролепетал я. – Идл-Замвл?..

Глупее вопроса трудно было придумать.

– Самого Московича дочь! – ответил он с небрежностью. – Пока... ха-ха... костром тебя отвлекали!..

[1] *царане (рум.)* – крестьяне.

– Меня?.. Зачем?..

– Не знаю!.. Говорят... гм-м... что и *S.F.* твоя с ней!.. Но не знаю!.. За что купил, за то и продаю!..

= = =

= = =

= = =

2.

*Через ту же реку.*

*36 лет спустя.*

*Алексей Лазарев (преп. рус.яз. и лит-ры в 37-й кишиневской ср.школе им. Н.В.Гоголя).*

Конверт был за 4 копейки. Почерк – самый обыкновенный.

«*Ул. Карла Маркса, 12, кв. 2*».

Даже странно, что этот почерк принадлежал *ей*. Такой заметной, шумной. С такой пышной копной волос.

Но ведь принадлежал, факт.

Она и накатала их при Лазареве – эти «*Карла Маркса, 12...*», – как только повесила трубку (телефон в учительской прибит к стене между шкафом и окном) и повернулась к коллективу – белее мела...

И как это здорово, что, окруженная всеми, кто там был во время перемены, уже отуманенная валерьянкой, с бьющими об ободок чашки зубами, она выделила его в налетевшей толпе сочувствующих... –

«Поедешь? Надо моему мужу передать!»

Поеду? Спрашивает!!!

И вот – он в поезде. В полете. В дизеле «Кишинев – Одесса» (с высоким тепловозом, разукрашенным, как вождь апачей: красные перья по лобовой кости).

*Лазарев-1*: «*А может, это только для меня у нее такой почерк – обыкновенный, не выражающий ни-че-го? Кто я ей? Никто. Еще даже не целовались ни разу. То, что у Ваньки Усова на Новый год, не в счет. Интересно, а какой почерк у нее для мужа? Умираю, хочу взглянуть!..*»

Лазарев-2: «Прекрати!.. Это аморально!..»

(Он всегда как бы актерствовал перед самим собой, как бы наблюдал себя со стороны. Отсюда и такие, на два голоса, переговоры.)

Крепился с полчаса.

Но когда застучали по мосту с клепаными перилами и далеко внизу, в белом мешке пустоты, в мельтящих просветах между сваями показался апатичный, совсем не широкий Днестр в частых ключах не захваченной льдом черной воды, – там Лазарев подумал об утреннем звонке в школу и о самом известии, которое он *ее* мужу везет.

*Лазарев-1: «А кстати – что там за известие?.. Отец? Озеро?.. Нет, ну какое озеро в январе?!. Показалось!.. И спросить некого – все только ахали да охали, да валерьянку подносили!.. Но – пардон! – что я ее мужу скажу?!»*

Ха! Веский довод.

*Лазарев-1: «В самом деле? Он спросит – что я отвечу?!. И вообще! Я ведь намерен бороться за нее! Уводить от мужа!»*

И полез в конверт.







«*Лёва, с папой беда!* – выводила она тем же обыкновенным, не соответствовавшим ее притягательной яркой внешности почерком. – *Но ты спокойно, Лёв, смотри по обстоятельствам. Я.*»

Хм, не густо!

Папу он знал.
Не лично, разумеется.
Просто папу вся республика знала. На 1 Мая раскроешь газету (а также на 7 Ноября, на День космонавтики... пограничника... танкиста... полярника...) – там стишок на первой полосе. Что-то глупое и правоверное, трескучее, как барабанный бой. Рифмы: «новая заря – юбилей октября», в таком духе... И подпись – «*Петр Шор*».
Сколько Лазарев себя помнил – столько этот Петр Шор бил поклоны Советской власти на 1-й полосе.
А где-то с месяц тому назад – ехали с ней в троллейбусе по Ленина, и вдруг она тянет шею в окно: «Ой, смотри, папа! Ой, и мама тоже!» И за локоть сжала (чтобы сразу отпустить). Присмотрелся: народ во все стороны снует – мимо Главпочтамта, «Военной книги»... Кто именно ее папа-мама? Кажется, вон тот высокий в шубе, с величественной, будто жердь проглотил, походкой. И – на пол-шага впереди – худенькая, торопливо-семенящая женщина в белой шали-платке. Еще посмеялся: смотри-ка, убегает от него! «Ничего не убегает! – вспыхнула в ответ. – И... и... не твое дело, понял?!»

Что это с ней?
А, не важно.

Важно, что и для мужа почерк у нее обыкновенный. И что просто «я», а не «Целую. Я»...

*Через 2 часа.*
Портал Одессы наплыл.
«ОДЕССА – ГОРОД-ГЕРОЙ» – по крыше вокзала.

*1971, раннее утро 14 февраля, Одесса.*

Зима тут дрянь, каша континентальная.

На привокзальной площади холки трамваев искрили тёплым электричеством.
Но трамвай – это блицкриг. Пять-шесть минут – и ты на месте. На Карла Маркса, 12.
А Лазареву не хотелось комкать.

Нырнул в подземный переход.
Рефлекс новизны, перемены, молодой бодрости управлял им.

«*Давай разбираться*!» – сказал себе (Лазарев-1).
И легко, с настроением, припустил по переходу.

Лазарев-2: «Согласись, авантюрой пахнет...»
*Лазарев-1: «Зато окрылен!..»*
Лазарев-2: «Все наверняка всё заметили – еще там, в учительской!..»
*Лазарев-1: «Да ну их! Я сплетен не боюсь!..»*

В центре города побросано было по тротуару много чёрного льда, камнями и тёсами, с налипшими мусором и травой. По бесснежной погоде угрюмые эти торосы сходили за городской инвентарь сродни фонарям и киоскам.

Лазарев-2: «Сплетни это полбеды! Но у нее муж и сын! И положение в школе – завуч как-никак. Докажи, что это у тебя серьезно!..»
*Лазарев-1: «Огороды, Ботанический сад... тебе мало?.. Дождь, свитер через голову... – не достаточно?».*

Центр был двухэтажный, с траншеями подвальных этажей. Ставни и занавески в них были отведены. И от исподнего выворота жизни, сочившегося из подвальных окошек, Лазареву сладко кололо в сердце. С тротуара дано было разобрать неподдельную обстановку комнат, и Лазарев то брезгливо отводил глаза, то взорчиво щурился, проникая сквозь световой лиман в тёплые топи жилого.

Он понял, что влюблён, влюблён вразнос – по тому, как ему стало больно от этих видений, столь прямо говоривших о физической стороне жизни, об Ане и её муже, а не о нем и Ане.

«Ладно, я не загадываю! – ответил себе. – Будет жизнь, а с ней и последующие шаги!.. Мне тридцать два! Пора жить набело!..»

И вдруг он бесстыдно представил себя и Аню в такой вот жарко натопленной подвальной комнате в утренний и бездельный час зимы. Мебель и ворс обоев – и те увиделись ему.

И – мысленно – он прикоснулся к *ней*...

Почувствовала ли она на расстоянии его поцелуй?

Разумеется!

Все последние недели, месяцы (а именно с 14-го ноября, с похода 8-х и 9-х классов в Ботанический сад на огороды) ему казалось, что он обрел над ней власть, внушил ей чувство если и не любви, то... *тайного сообщничества*.

Во!!! Верное определение!!!

Он сумел внушить ей ту волнующую *не-простоту*, в которой если и не любовь, то волнующее предверие любви, и теперь она относится к нему зеркально-*непросто*, он не безразличен ей.

Лазарев-1: «Интересно, где она сейчас? Вспоминает ли обо мне?..»
*Лазарев-2: «О тебе??? Нарцисс!!! У нее с папой беда, при-чем-тут-ты?..»*

Но Лазареву и вправду верилось, что – *при том*!

При том!

Пускай *беда-семья-завуч*, пускай множество других предрассудков и помех, но она думает о нем, пересыпает в воображении золотой песок его образа, любовная мечтательность их обоюдна. Какие иные чары породили бы в нём этот взаправдашний вкус поцелуя, принятого ею за 177 км?..[1]

[1] *177 км* – расстояние Кишинев – Одесса.

До сего дня Лазарев не целовал, не касался Ани, но, переходя с Кирова на Карла Маркса, убеждён был, что узнал всочливое сдающееся тепло ее губ...

Мужа её он не видел никогда. Не представлял его внешности. До сего момента мужа как бы и не существовало в природе, было лишь формальное знание о нем – *ну да, его любимая женщина замужем, есть сын.*

Но теперь Лазарев любил впропалую, и ничтожный размытый образ *Лёвы... Лёвы... как его... Лёвы Пешкова* ... всё страшнее гремел в воображении.

Отыскав *Карла Маркса, 12,* он по щербатому булыжнику вступил под каменную дугу, оформлявшую входную арку, и сразу в боковой стене обнаружил дверь с медным *кв.2*, а также коврик под порожком и тёмное окно в серых перьях занавески.

Муж *его любимой женщины* обитал за этой занавеской.

Аня не просила сообщать мужу лично. Только опустить письмо в почтовый ящик.

Но Лазарев... превысил полномочия. Позвонил в дверь.

«Он всё поймёт, этот *Лёва*! – думал он при этом. – А не поймёт, тем хуже для него. Ведь я ничего не буду скрывать! Расскажу и про дождь, и про Ботанический!.. И тогда хоть на кулаках!..»

3.

*Муж его любимой женщины.*

Пешков был один в квартире, когда возник этот тип. Нога уехал в Жданов на переговоры (Нога это Славка Ногачевский, друг с детдома. Пешков прятался у него), Лида, Славкина жена, в больнице на круглые сутки (она медсестра), детей у них нет.

И, значит, было так.

Утром Пешков вышел на угол, купил мясную кость, овощи, лавровый лист. Сварил обед.

И вдруг этот тип.

Сначала ходил взад-вперед мимо окон, косился на занавески. Худощавый такой блондин с красным лицом. Потом выпал из поля зренья – в арке прячется, наверное.

Вот ёлки! Окно кухни выходит в арку, дух борща валит через фортку, выдаёт, что в квартире кто-то есть.

Пешков на носках ушел в кладовочку, прикрыл за собою дверь.

Звонок.

Одинарный, вкрадчивый.

«Я никого не жду, Анька не приедет (в последний год плохо жили), у Скобикайло подписка о невыезде!.. Решено, не открою!..»

Не открыл.

Кажется, позвонили еще.

И стихло.

А через пару часов приходит Лида с работы – «Смотри, *что* я в почтовом ящике нашла!»

«*С папой беда!*»

Пешков аж присел.

Пётр Фёдорч!

Жив-не жив?

Но уже в следующую минуту выволок из под кровати баул, стал бросать в него личные вещи!

*«...приезжать тебе-не приезжать – смотри по обстоятельствам...»*

«По обстоятельствам? Ну смешная! *(Бритва где?)* Заплатили, ждем, вот и все обстоятельства. *(Так, носки!.. трусы!.. чистая майка!)* Скобикайло под подпиской, а мне адвокат сказал: в кладовке сиди – пока сигнал не подам! *(Анька-а!.. Соску-учился!..)*»

= = =

*Утром следующего дня.*

...И хотя ликующий Пешков не верил, что доживёт до этой минуты, – она пришла.

Вагон качнулся, как напольный кувшин.

Электрический свет погас и зажёгся – точно с корточек встал. А темнота за окнами так и осталась сидеть.

Тронулись плавно.

Дождик, как обманутый, зацарапался снаружи.

Было пять утра.

*15 февраля 1971-го, Одесса.*

Бросив под лавку баул, Пешков отправился искать туалет. В полчетвёртого утра, выбираясь из квартиры, не воспользовался уборной, не побрился, не выпил чаю. Чтобы Лиду не разбудить.

Минуя буферные кабины, тамбуры, вагоны, встречался глазами с сонными пассажирами на жёлтых лавках, и перевзор этот со стороны Пешкова был исполнен интереса, наступления и приятия. Не верилось, что скоро, через каких-то четыре часа, увидит Аню. Разберется, что там с тестем (*«Петр Федорч! Ты жив? Не умирай, а? Бросит меня Анька если помрешь!»*). А также – обрадует новым делом жизни.

Что это за дело было...

Нога додумался: к Лиде приревновать! По работе он в разъездах все время. Вот и говорит: иди ко мне в бригаду (*наладка* называется). В октябре-ноябре ездили в пос. Березовский на птицефабрику, запускали систему контроля за температурой. Работа травмоопасная, особенно для новичка. Но если в электричестве сечешь и руки растут откуда надо, то ничего. Претензий к работе Пешкова не возникало, и Нога (все ему спокойней, что Пешков тут, при нем, а не в одесской квартире с Лидой) после двух недель говорит: собирайся, едем в Жданов на меткомбинат!..

«В Жданов? – поартачился Пешков. – А не заметут?..»

Но он бы все равно поехал. Чем в кладовке хиреть.

Вот такое – *новое* дело.

...В туалетной кабинке надувало из откидного люка, пахло смазкою путевых креплений и сырой землей. Пригородные заводы зыблились сквозь известь замелованного окошка. Пешкову казалось, он слышит, как обрушиваются цеховые пресса, как гудят станки. И никогда прежде счастье существования не открывалось Пешкову полнее, чем в пролетарских шумах этого утра.

Прощай, торговля!.. Спасибо, наладка!..

«Н-да, зигзаги жизненного пути! Простит ли Анька? Женаты двенадцать лет (с Петра Федорча легкой руки!), а я все такая же матросня. Все такой же неровня ей. Да еще с торговыми наклонностями (позор в их семье).

Но сейчас всё будет по-другому.

Я обещаю, Ань!»

Анька была стыдлива, холодновата, ограничивала его в телесной любви, не допускала экспериментов в позициях, но, воображая в разлуке все ее женское: полный затылок, пахучие волосы, кожицу у ключиц... – он обмирал от благодарности и счастья.

И волновался о встрече.

Вот только – тесть?
Хоть бы не умер.
Неужели – умер?
И ведь, главное, знак был!

*Знак*.

Жил в темной кладовке у Ноги. Все развлечение – «ВЭФ-Спидола» (экспортная модель. Вашингтон и Мюнхен пролезают даже сюда, в кладовку без окон)... И вот, недели три тому назад, пролезло: «Передаем избранные главы из книги писателя *Ша*. О насильственном советском захвате Молдавии в 1940-м году!»

Послушал 1-ю главу (в 13.05 после новостей). Так себе. Не Бредбери, не Станислав Лем.

Но то ли из-за вкусного шипенья ультракоротких волн, в которых и самое стертое русское слово поворачивается бочком поджаренным и ароматным, а может, от того, что помнил себя не раньше марта 1942-го (карантин-детприемник в Куйбышеве), а все, что до 42-го, – погружено в кисельный туман... но в 20.00 того же дня слушал повтор...

И так всю неделю – 13.00, 20.00... 13.00, 20.00... 13.00, 20.00... – глава за главой. Двукратное такое прослушивание.

Пока подозренье не возникло (седьмое чувство).

Это не Петра ли Федорча роман («*Ша*» – Шор?!). Тот самый, под бормотанье, ха-ха! (Он свои книги – как пишет?! Каждое слово – бур-бур-бур! – вслух! Мы с Анькой у себя за стеночкой ржали! Щипали друг друга, чтоб не ржать.)

Да нет. Вряд ли.

Он же по характеру скрытный, избегающий конфликтов (едва Сонь Михална, теща, голос повысит, он бегом в гараж, разобранную «Победу» винтить. Или овощи на зиму консервировать)... Ну и самое главное, он коммунист. Работник органов (4-го управления). Не стыкуется, короче: тесть и «Голос Америки».

...Но постучали снаружи, и замечтавшийся Пешков укатал шнур, продул ножи, завернул электробритву в попонку. Пошлепал «Детским кремом» по щекам.

Двинулся в обратный путь по вагонам.

Как раз въехали на мост.

Под мостом неповоротливая излучина Днестра вытянулась вдаль. Складки горизонта – размыты в снежном паре.

Пешков засмотрелся.

Не здесь ли, над этой излучиной, по переправам, наведенным советскими военными инженерами, происходил в реальности тот самый шипяще-запретный, из «ВЭФ-Спидола», «насильственный захват Молдавии 28.6.1940»? Не здесь ли клубился и его собственный кисельный туман – от беспамятства первых лет до карантина-детприемника в Куйбышеве?

«Ладно, через четыре часа... – подумал, – нет, уже только через три часа двадцать минут... приеду и все выясню!»

Заволновался.

Шум отвлек.

В тамбур из сцепной кабины поспешно вышли люди.
Они одинаково хлопали себя по карманам.

За ними, преследуя их, шёл сухонький старикашка-контролёр в кителе.

«Приготовиться к проверке билетов!» – произнес голос за спиной.
Это второй контролёр надвигался сзади. Молодой, бычачий.

Они сходились, как ножницы, – эти два контролера, молодой и старый.
Как стены пещеры в «Али Бабе».

Все проснулись в вагоне.
Поезд шёл как и раньше, но даже березки за окном перестали мелькать.
Как раз возле Пешкова оба контролёра сошлись.

Пробитая компостером, картонка билета вернулась к Пешкову.

– Здравствуйте, Андрей Иванович! – произнесли вдруг его язык и нёбо.
– Чего?.. А!.. Ну здравствуйте! – отозвался один из контролёров.
Тот, который старикашка.
– Пэ-пэ-пэ... – пригляделся он после заминки.
– Пешков! – подсказал рот Пешкова. – Пешков Лёва!..
– Пешков! – зафиксировал Андрей Иванович. – Ну и что?.. Ты чего тут делаешь?.. Проживаешь?.. Работаешь?..
– Проживаю!.. И работаю!..

Это был Андрей Иванович, директор детского дома (*Чувашия, село Троицкое, 1944–48*).
Он не меньше Пешкова был удивлен встрече.
От удивления в нём даже испуг какой-то чувствовался.
Второй контролёр переводил взгляд с одного на другого, и выражение его лица следовало за выражением Андрея Ивановича. В вагоне все молчали из-за них.

– Так ты местный, что ли? – Андрей Иванович повертел головой по сторонам. – И это по какой же ты работе?..
Как будто двадцать четыре года не прошло.
«Наладка!» – хотел просто и доступно объяснить Пешков.
Но язык точно сорвался с приводных ремней.
– Автоматика на заводах!.. – забормотал он. – Э-э-э... Коммутация проводов ... э-э-э... на кросс-сплате... счётчики...
И ужаснулся тому, что говорил.

Изумление, испуг окончательно сошли с лица Андрея Ивановича.

– А, пролез! – верхняя губа его задралась, железный обруч зубов показался. Это он улыбался так. – А чего к нам в детдом попал? Если такой умный!..
– Эвакуировали! – рассказал Пешков, страдая. – Тут же немцы были!..

Это «*эвакуировали*» было той же породы, что и «*коммутация проводов на кросс-плате*».

– А вы?.. – попробовал перевести разговор.
– Я?.. – удивился вопросу Андрей Иванович. – А я что?! Я к пенсии переехал!.. Я ведь всю жизнь там, где холодно и голодно!.. Можно мне хоть на пенсии фрукты поесть?.. или это только твоей нации можно?..
В лице его стояло теперь прочное и властное выражение. Что-то вроде «Ну вот, я же говорил!».

И у второго контролёра лицо перестало быть настороженным, но подпустило ту же улыбку всезнания *(«Я же говорил!»*), а потом и вовсе стало злым.

И они пошли себе, не попрощавшись, в сторону головного вагона. Два твердых карандаша в кителях.

Пешков засопел, загрустил, засмотрелся в красный пол.
«Пролез!.. – повторил про себя. – Пролез... пролез!..»

А может, приснилось?..
Может, Славка Нога наколдовал?
Потому что как раз отмечали его день рожденья недавно (в общаге птицезавода в Коммунарске), а Нога дуреет с одного стакана: «Ну всё, тридцать лет, молодость прошла!..». Такое понес! Мол, только молодость и стоит того, чтоб жить на свете...
«Ты что, Славк, ну какая еще молодость! – возражал Пешков. – Ты детдом забыл?..»
«А мне в детдоме хорошо было!..» – заявил Нога.
«Еще бы, тебе ведь тёмную не делали! – подколол Пешков. – Тебе там конечно за...сь было!»
«Да, за...сь!» – отвечал Славка с вызовом в голосе.
«Особенно, когда в спальне печку переложили!.. или когда авиапланеры с моторчиками стали клеить!»
«Точно! Авиапланеры!.. – обрадовался воспоминаниям Славка. И даже локоть поднес к лицу – слезу утереть. – А как нам Сталин коньки и лыжи прислал, помнишь?.. На весь отряд!..»
«Я всё помню! – подтвердил Пешков. – Золотые дни!.. Плюс тебя ташкентским партизаном не дразнили!.. И Андрей Иванович тебя в грудь не бил!..» – и показал пальцем – куда-то в район ложбинки по центру груди.
«Не бил! – подтвердил Славка. – Зато в техникум учиться направил! И картошку в общагу посылал! А в сезон еще и огурцы со свеклой!»
«Красиво! – пробовал съязвить Пешков. – Огурцы со свеклой!».
«А когда каникулы, – разошелся Нога, – и мне из техникума ехать некуда, то я – в детдом на все каникулы! И ведь принимали! И не только меня! Кто в ремеслухи, кто в ВэУ поехал учиться, и тех Андрей Иванович на каникулы принимал!»

Вот так и наколдовали Андрея Ивановича. Вызвали дух.
(«... пролез... пролез... пролез...»).

Пешков попросил газету у попутчика.
Затулился в тамбуре.
Пробовал читать, отвлечься.
Не выходило.

Ну, разве справедливо так: одним – огурцы со свеклой, другому – *тёмные* с малых лет.
И, главное, это «пролез».
Проле-е-ез!
Проклятие всей его жизни!
Начиная с марта 42-го, с печеной картошки в куйбышевском детприемнике («И откуда ты французик такой в СССР пролез?»... и – горелой кожурой об лоб и щеки!).
И потом на военно-сторожевом траулере «Сергей Киров», когда в и.о. боцмана *пролез*...
И к Аньке своей любимой в мужья – *пролез*. По версии друзей и подруг ее университетских...

Повертел картонку билета.

Всё, не удалась жизнь.

Во-первых, сирота.
Во-вторых, Анька не любила никогда (Петр Федорч насильно замуж выдал!).

Отшвырнул газету.

«*Я только объясню ему на словах...* – побежал по вагонам, – *что это за работа такая – наладка. Мужская, травмопасная!.. А бить не буду, нет!..*»

«Ну что, Андрей Иванович!.. Проле-ез? – запомнил собственный вопль (*и железнодорожный китель – за обшлаг!*).

---

*Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 года*
Статья 191.5. Посягательство на жизнь военнослужащего, сотрудника органа внутренних дел, а равно *должностного лица*, осуществляющего таможенный, иммиграционный, санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарный, автогрузовой и *иные виды контроля*... – *наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет*, а при наступлении тяжких последствий – смертной казнью.
*(введена законом Союза ССР от 18.05.58 N 79-ФЗ – «Собрание законодательства союзных республик», 22.05.58, N 21, ст. 1927)*

4.

*Анька («...которая не любила никогда...»).*
*10 месяцев тому назад.*

Журнал регистрации входящих документов.
1. **Рапорт-РНО-99904**
24.3.1970.
8.02 утра.
«В КГБ МССР. Маевскому Н.В.!
От Пешковой Анны.

*Николай Владимирович!*
*Вы папин ученик, поэтому я должна поделиться.*
*Вот что произошло:*
*- В отделе культуры ЦК обсуждали папину новую книгу (в рукописи).*
*- Обсуждение проходило в оскорбительном для папы ключе.*
*- Рукопись конфисковали.*

*В результате перенесенной обиды в папе как будто что-то сломалось:*
*- он ушел от своей жены (моей мамы),*
*- отдал папку с рукописью Фоглу (из иностранной делегации).*

*Поэтому я прошу Вас принять срочные меры.*
*Ведь папа не Пастернак, не Синявский-Даниэль.*
*Он коммунист. Патриот СССР.*
*Но у него срыв из-за оскорблений в отделе культуры ЦК.*

*Николай Владимирович! Коля!*

*Эта иностранная делегация еще 3 дня в СССР (завтра в Одессе, послезавтра в Киеве, послепослезавтра – в Москве). Я не знаю, из какой они страны, но, судя по виду этого Фогла, явно не социалистической.*

*Перехватите рукопись, прошу тебя!*

*Аня.*

*ПС. И не надо мне, чтобы этот Фогл за моего мужа хлопотал».*

---

2. **Рапорт-РНО-99904 (приложение 2)**

24.3.1970

Кишинев.

Отдел Культуры ЦК КПМ.

Протокол обсуждения рукописи нового романа тов. Шор (Ильина) П.Ф.

*«В обсуждении участвовали: ...*

*...*

*...*

Заключение*:*

*Тов.Шор (Ильин) П.Ф. один из основателей молдавской советской литературы. Член Союза Писателей СССР с 1947 г. Секретарь Правления Союза Писателей МССР. Лауреат Госпремии МССР по литературе (1952 г.).*

*Тов. Шор кандидат в члены ЦК КПМ, депутат 4 и 5-ого созывов кишиневского Горсовета (с 1964-го по наст. время).*

*До сегодняшнего дня тов. Шор в своем творчестве последовательно опирался на прогрессивный метод социалистического реализма, убедительно защищал передовые идеи коммунизма и пролетарского интернационализма.*

*Тов. Шор фронтовик, офицер старшего комсостава, кавалер боевых орденов и медалей СССР.*

*Тем огорчительней грубые идейно-художественные просчеты, допущенные т. Шором в его последнем романе.*

*Список пунктов, по к-м т. Шор допустил недопустимые и грубые идейно-художественные просчеты и прямую фальсификацию:*

1. О румынско-бессарабских «перебежчиках» в СССР (1935-37 гг.).

2. О вынужденной подделке румынско-бессарабскими перебежчиками своих документов.

*3. О воровстве и личной наживе сотрудников НКВД при проведении национализации частного имущества в МССР (июнь 1940 г.)*

*4...*

*5...*

*6...*

*7...*

*.....*

*27. О насильственной репатриации в СССР бывших советских граждан по окончании Великой Отечественной Войны (1945–47 гг).*

*Принимая во внимание прежние заслуги т. Шора, Коллегия при отделе Культуры ЦК КПМ в конструктивной форме высказала ему свои замечания. Но в связи с вызывающе-грубой реакцией т. Шора и учитывая серьезность идейных ошибок, допущенных в романе, Коллегией принято решение направить рукопись на экстренное рассмотрение в Отдел ЦК КПМ* **по идеологии**».

3. **Рапорт-РНО-99904 (пр-е 3)**

*Записан со слов Пешковой Анны.*

*Ул. Роз, 37, кв. 29 (прописаны я и мой муж, Пешков Л.И.).*
*25.3.1970.*
*6 утра.*
*Шор П.Ф.: «Могу я у тебя пожить – пока нервы успокоятся?!. Не хочу, чтоб Соня (мама) видела меня в таком состоянии!..»*
*Пешкова А.: «Где ты ночевал?..»*
*Шор П.Ф.: «Неважно. Не хочу Соню огорчать! Товарищи из ЦК правы насчет книги! Сам не пойму, что со мной! Затмение какое-то! Как я мог допустить подобные идеологические просчеты! И так дурно вести себя на Коллегии! Ну что же! Буду работать над ошибками! Буду каяться перед товарищами*!»

А наутро он является: «Могу я у тебя пожить? Я от Сони[1] ушел!»
И проходит в комнату не разуваясь.
Кидает портфель в углу.

«Новости дня! – Аня осмотрела его с ног до головы (время 6 утра). – А ночевал-то где?..»
– У Марьи[2], где! – папа поднял лицо, и ее поразили черные круги у него под глазами и вместе какое-то накаленно-веселое, совсем не утреннее выраженье лица. – Значит, увидишь Соню, передай, что – *всё*! Пускай любит кого хочет!..

Всякое слово, что он произносил, с самого того момента, когда, разбуженная и напуганная ранним звонком в дверь, в халате поверх рубахи, неумытая и несобранная, открыла и впустила его... – всякое слово его шло как заваливающийся из стороны в сторону плуговой трактор поперек пашни. Поперек того, какой он был всегда. Каким она привыкла его видеть.
– Новости дня! – только и повторила в растерянности.
*Кишинев, Роз 37, март 1970 г.*

– Каюсь, из-за Сони всё! – он прошел в ванную. – *Насильственная* репатриация!.. И другие подвиги!..
Открыл кран в умывальнике.
– Но вот про *румынско-бессарабских перебежчиков*... – обмыл лицо, – все правда!.. Я ведь и сам... перебежчик!..

Был он в служебном своем, но сильно помятом костюме, обе штанины потемнели внизу, точно он по полям всю ночь разгуливал, по колено в росе.

– И про *подделку документов*, – зафыркал умываясь, – правда! Сам подделывал!.. Полотенце дай!..

Тут будильник зазвонил.
Пошла Витеньку будить, собирать в школу.

Папу на балконе нашла.
Там все тонуло в рассветных хлопьях.
«Что ты спрятал там?» – показала на плиту шифера.
«Ничего!» – выпрямился среди бельевых веревок.
«Я видела, ты прятал!»

[1] *Соня* – жена.
[2] *Марья* – домработница с 1954 года.

Съел.
Только голова затренькала мелко и воинственно – точно из нее отстреленные гильзы отлетают.

– Ладно! Перепрячу! – пообещал с угрозой.
И вывел... какую-то папку из-за шифера.

*Вечером того же дня.*
Послышалось «делёнь-делёнь!» со двора.
Это мусорщик с погремком шел вдоль пятиэтажки.
За ним «Горьковская автозаводская» вползла во двор.
Воздух всего двора был поражён ее мусорным зловонием.
Из подъездов сходка с вёдрами началась.

В кузове ГАЗа среди смрадного живагнива блестела винтовая спираль, прессовая мышца огромной и свежей силы.
Двое рабочих с лопатами утыкивали народные приношения под её давильню.

Протолкавшись к кузову, Аня отдала рабочему свои вёдра.
Быстро и добросовестно он выбил их об борт кузова.
С пустыми ведрами Аня стала пробиваться наружу из наседавшей толпы.

На третьем этаже двое мужчин стояли возле электросчётчиков. Старый и молодой.
Старый вертел в руке записку с адресом, сверял с номерами квартир.
– Здравствуйте, дядя Шура! – громко сказала Аня. – Наконец-то!..
– Привет! – отозвался старый. И осмотрел ее с ног до головы.
– Я Аня! – представилась зачем-то Аня. – Левушкина жена... И я вас только завтра ждала!..
– Завтра ему поздно! – багроволицый, плотный, с серо-стальными, широко разведенными по краям лица глазами, дядя Шура кивнул на молодого. – Это Фогл!.. По Левкиному вопросу!..
– Очень приятно! – Аня подняла глаза на гостя и покраснела. – Спасибо вам!..
Гость был аполлон: плечи, грудь, икры, въющиеся волосы на большой голове – всё какое-то выставочное, восклицательное. И смотрит на тебя так... точно с ладони на ладонь перебрасывает.

Вошли в квартиру.
Вьетнамский бамбуковый «дождик» отделял прихожую от гостиной.
– Я виновата, не направила его по верному пути! – зашептала Аня, слушая, что там, за «дождиком». Не идёт ли папа из комнаты.
Папа не шел. Вообще никак себя не выдавал.

– Поддержала, когда из цеха огнетушителей уволился, – шептала Аня, – потому что там никель, а у Лёвушки лёгкие слабые! Это было давно, еще Витенька не родился! Лёвушка тогда приходит и говорит: «Я женскую обувь шить буду!» А я ему: «Давай!». Не знала, что это с хищеньями связано...
– На! – перебил дядя Шура. – Сыну конфеты! – протянул бумажный кулек. – Покажи пацана!..
– Сейчас! – засуетилась Аня. – Он во дворе!..

Кинулась было к двери – но остановилась. Не с кульком же конфет – во двор.

– Чем это пахнет у вас? – принюхался дядя Шура. – Мастика?.. Я дышать тут не смогу!..
При разговоре он сопел астматически. И обильным потом обливался.
Молодой гость дождался, пока он разуется, и пошёл за ним не разуваясь – в бамбуковый зашелестевший «дождик».

Окно в гостиной заголилось без занавесок.
Солнца было столько, точно каша из горшка сбежала.

Худенький папа в измелованной рабочей одежде сидел спиной к вошедшим. Возился над битумной темнотой пола.
Он не обернулся на голоса, и Аня решила: так лучше. Пусть гости думают, что это паркетчик работает.

– Идемте в кухню! – позвала. – Есть полный обед!..
И пропустила гостей вперед.

Дядя Шура ходил вразвалочку – как для внушительности многие невысокие люди ходят.
Тогда как у спутника его походка была без сверхзадачи: просто идет себе рослый, физически убедительный человек.
Аня вошла в кухню последняя. Прикрыла за собой дверь.

*В кухне.*
– Ну что, – сказал дядя Шура задыхаясь, – военный совет... объявляю... открытым!..
– Спасибо!.. – только и ответила Аня.
И стала греметь суповым половником. Чтоб слёзы подавить.

В кухню тоже навешивалось избыточное солнце.

– Значит, это Фогл! – дядя Шура качнул головой в сторону гостя. – Из иностранной делегации!.. Они сегодня в Кишиневе, завтра в Киеве, а послезавтра... в Кремле их принимают!.. Правда, Фогл?!.
– Да, правда! – подтвердил гость. – Возможно, сам Брежнев примет! А если не Брежнев, то заместитель Брежнева!..

Аня чуть не упала от звуков его голоса.
Речь его была понятной, но какой-то невозможной.
Как если бы слово *дыня* означало *арбуз*.

–Ну... давай думать, – обратился дядя Шура к Ане, – что там Фогл Брежневу скажет... про Лёвку!..
– Спасибо! – только и повторила Аня.
– О чем вы! – удивился Фогл. – Ведь когда я был совсем молодой человек, то Иосиф Штейнбарг взял меня на работу!.. Я обязан вам!..

Он был загорелый, пожилой. С бараньими глазами навыкате. Само телосложение – какое-то полунеприличное, конское.

– Объясняй тогда, – велел дядя Шура, – чтоб понятно было!.. Иосиф... Штейнбарг... это отец... Лёвки...
Почему-то его лицо стало недовольным.
– Ага, отец Левки! – повторила Аня.
И посмотрела на гостя.
Как будто ждала чего-то.
Как будто его очередь была – произнести «*отец Лёвки*».

Но он только заморгал часто.
Будто паузу выдерживал. Или в карточной игре ход пропускал.

– А вот в *Chantal*, маму Лёвки, – заговорил он отморгавшись, – весь Оргеев был влюблен! Но, увы, она мужа своего любила...

– Это про мою...– пояснил дядя Шура, – сестру!.. Ладно, где бумаги? (словоохотливость Фогла сердила его) Из прокуратуры бумаги неси!..

– Несу! – с черпаком в дрожащих руках Аня стала разливать суп в тарелки на тесном столе.

Все-таки слезы текли и текли у нее из глаз.

Тогда она и заговорила (чтобы полной дурой не казаться!) во все припасенные слова.

– Дядь Шур, вы извините, – заболтала черпаком в кастрюле, – но Левушку всегда расстраивало, почему вы такой скрытный! Про семью его не рассказываете ничего!..

– Получил? – перебил дядя Шура (он к Фоглу обращался). – *Отец Левки... мать Левки*!..

– Он же *беспризорник* вечный! – не могла теперь остановиться Аня. – Не верит никому! Ни в коммунизм, ни в доброту человеческую! Он бы в торговлю не пошел, если б верил! Почему Вы все скрывали от него?!.

– Значит, было что скрывать! – дядя Шура отодвинул тарелку.

Прямота его ответа поразила Аню.

– Простите!.. – бросила черпак. – Не уходите!..

Но было поздно.

– А отец твой не скрывал?! – загремев табуретками он поднялся из-за стола, выбрал и закатал в салфетку кусок хлеба из хлебницы.– Идем! – приказал Фоглу.

– Папа не скрывал!.. – перегородила дорогу. – Он только попросил, чтоб я за Леву пошла! Зачем-то ему надо было, чтоб я за Леву... в восемнадцать лет вышла!..

– Да уж, пора и правде выйти на свет! – вмешался вдруг паркетчик в гостиной. – Хотя бы и жестокой правде!..

И тогда сам паркетчик показался на пороге кухни.

– Это папа! – очнулась Аня.

И отвела замагнитившиеся глаза от дяди Шуры.

– Ну что, Шурк, – сходу заговорил папа, – с могилой для Иосифа Штейнбарга я вам помог в 40-м?! Теперь ты мне помоги!..

– Вы знакомы? – ахнула Аня.

– С этим разбойником? – рассмеялся папа. – Ха!.. С детства!..

И вывел папку из-за спины.

– Сможешь, – протянул Фоглу, – Брежневу отдай!.. А не сможешь – вывези и припрячь!.. Труд всей жизни все-таки!..

4. **Рапорт-РНО-99904 (пр-е 4)**

*Записано со слов Пешковой А.*

*Ул. Роз, 37, кв. 29.*

*25.3.1970.*

*18 ч.*

*Дядя Шура (фамилию не знаю): «Познакомься, это Фогл из иностранной делегации! Сегодня у них Кишинев по программе, завтра Киев, а послезавтра их в Кремле принимают! Правда, Фогл?!.»*

*Фогл: «Правда! Возможно, сам Леонид Ильич Брежнев примет нас! Я постараюсь поднять вопрос о вашем муже!»*

*Пешкова Анна: «Спасибо!»*

*Фогл: «Ну что вы! Я в долгу у отца вашего мужа. Когда-то, еще до прихода Советской власти, он принял меня на работу! И жена его была добра ко мне!»*

*Шор П.Ф. (выйдя из соседней комнаты): «Здравствуйте! Я слыхал, Вас примет руководитель советского государства! Двадцать лет тому назад мне довелось работать под его началом! Передайте ему эту книгу. Пусть он рассудит, нужна ли она советскому народу!»*

*Вручает рукопись Фоглу.*

## Часть первая (I)

*Белеет парус одинокий*
*В тумане моря голубом...*
[Н.А. Некрасов]

Иерусалим, 1971 г.
Из-во «Рабочий народ».
Исходящая почта.

12.1.1971,
В комитет международной литературной премии Goethepreis der Stadt Frankfurt,
Франкфурт, ФРГ
*«...Просим аннулировать нашу номинацию этого года – роман П.Ш. "В детстве, то есть еще прошлой осенью...". Приносим извинения...».*

17.2.1971,
В специальное жюри литературной премии Pontificia Universit Urbaniana – Via Urbano VIII, Roma, Италия... В Его Святейшества Папскую академию изящных искусств и литературы
*«В связи с сомнениями относительно авторства П.Ш. просим изъять роман "В детстве, то есть еще прошлой осенью..." из списка представленных к Премии...».*

24.10.1971,
Издателю-Гл.редактору *World Literature Today*. Спонсору Neustadt International Prize for Literature... Oklahoma, US
*«В силу того, что расследование подлинного авторства не окончено до сего дня, просим изъять из short-list книгу нашего из-ва "В детстве, то есть еще прошлой осенью..."».*

1.

*Chantal (Шантал)*

В детстве, то есть еще прошлой осенью, я не могла дождаться Ужасных Дней[1]: папиного лесного мёда, игр в ловитки на балконе синагоги, ночлега в шалаше...

А сейчас досадовала на них.

Физкультура, вокзал, кино... – *всё* остановилось по их милости.

[1] *Ужасные дни – (Дни Трепета)* – 10 дней молитв и раскаяния между Новолетием и Судным Днём.

*Сентябрь 1931. Оргеев. Оргеевского уезда. Бессарабия.*

Виды мои на «*всё*» были волнующи:

- я с отличием окончила 7 классов и была принята в гимназию *m-me Angel*,

- дважды в неделю гимнастировала в башне «Маккаби» на 3-м этаже (обруч и лента). Все мои знакомые мечтали побывать на 3-м этаже и искали дружбы со мною,

- мне исполнилось 16, и – ура! – я теперь считалась «молодёжь». А если ты считаешься «молодёжь», то можешь гулять где угодно – хоть на *Иваносе* и *Трех Полянах*, хоть на озере *Иванча*. А на обратном пути ты обязательно встретишь *gens d'armes* (*жандармы полиции)* на кукурузном холме, как бы прогуливающихся тут без всякой цели. Ха-ха, при полном параде на кукурузном поле. Все умолкают под их пытливым взглядом, а я – наоборот. Мне нравится, когда на меня смотрят. Нравится быть «молодежью».

Но самое главное – я теперь могу ходить на вокзал.

А вокзал это еще интереснее, чем 3-й этаж.

Ждать, когда окаменеет воздух, упрутся животные облака и... *der-reichseinbahnen locomotiva* «Яссы – Кишинев», желязгающий, как кузня, вырастет на глазах, как большое дерево из малой косточки. Когда-нибудь он увезет меня в... нет, не скажу куда (чтоб не сглазить!).

Ещё мне предложила дружбу Изабелла Броди, королева класса.

Её дядя – тот самый коротышка, хозяин «*Comedy Brody*» на Торговой.

В детстве я думала, что он и есть *Шарло*[1], только переодетый.

Смешно.

Но сама Изабелла выскочка и задавала. Конечно, если я приму ее дружбу, то Шарло будет веселить меня, когда я захочу. Хоть каждый день. И у Греты Гарбо не останется от меня секретов.

Но я еще не решила.

Ещё мне нравится Нахман Л., футболист и казначей команды «*Халуц*» (*«Первопроходец»* – ивр.). Хотя он невоспитанный, рыжий и глотает слова, когда говорит. И хотя он мой троюродный брат, вот... Но мне нравится его бег, такой разболтанный, легкий – точно мы родились только сегодня утром.

Ещё родители поговаривают о том, чтоб повезти нас с Шуркой в Добруджу к морю, а я никогда на море не была ...

Но настали эти Ужасные Дни.

И всё остановилось.

Другим не запрещают ничего (взять моего папу – он как сидел, так и сидит над своими тетрадками), а мне всё-всё. Тренироваться с обручем и лентой в саду – и то бабушка запретила.

Бабушка была недобра. Не жалела нищих. Никого не любила, кроме нас. Но в Судные Дни она делалась пуглива. Уединялась у себя за шкафом и бормотала там по-древнееврейски.

Я спросила: *«Bunikuzo, dar kare din ferestrele nostre se uite spre Jerusalim?»* (*«Бабушка, а какое из наших окон смотрит на Иерусалим?»* – рум.).

Она рассердилась и назвала меня бездельницей.

Бездельница?..

Неправда.

Вот мой табель.

[1] *«Шарло»* – Чарли Чаплин.

Trigonometrie, Algebra, Literatura Romana, La Grammaire Francaise не снимают в нём униформы «отлично».

А если этого мало, то я еще и *tutore*.
Много вы знаете *tutores* в 16 лет?
Лично я не знаю никого (кроме себя!).
У меня три ученицы по 10 лей за урок! Две местные, а третья из Мунчен!
Вот я и спрашиваю: возили бы ее к бездельнице из такого далека?

И при всём том я верю в Иерусалим, в море, и в Грет Гарбо, на которую я похожа лбом и глазами.
А бабушка ни во что не верит. Даже в письмо от графа Толстого, полученное папой. Она понятия не имеет, кто такой граф Толстой, и все равно считает, что письмо поддельное.

Тем смешней показалось мне то гремучее внимание, с каким она в 1 000 000-й раз слушала Гершку Г., бывшего папиного компаньона. Вруна и грубияна. Про то, почему он в бога не верит.
Нашла кого слушать!
Этот Гершка давно покинул уезд. Никто не знает, где носит его. И только осенью, на исходе Ужасных Дней, он снова тут. Ест и пьёт у нас всю неделю! Храпит на диване в нашем шалаше. А ведь из-за него пасека погорела: клещ высосал её.

...Мама принесла обед: салат, селёдку, потом суп, жаркое, но Гершка заявил: «В животе перемешается!» и стал есть жаркое с селёдкой.
Ел он жадно, без удовольствия. Все десять пальцев в жиру. И лицо его оставалось нервным, серым.
Не понимаю, зачем мы терпим его.
Сейчас он всё съест и станет хвастать. Про то, что в Черновцах у него пасека на 1000 ульев. И клещ их не берёт. И гнилец ни разу не пошёл. И что в Европе едят только его мёд. И ничей больше. И из Америки уже заказы идут.
А следующий номер программы – почему он в синагогу не ходит.
Это про Гусятин[1].
Негодяй! Из-за него мы без ульев. Только борти в лесу. Да и там лесораму строят. И если б мама не научилась шить комбинации и лифчики, забирающие живот, то на что бы мы жили?
Уф-ф-ф!

Я сижу с конспектами и готовлюсь к уроку с девочкой из Мунчен. Пытаюсь сосредоточиться, но Гершка уже завел волынку про Гусятин.
Когда-то он держал буфет при русской батарее. Пил вино и ел трефное с казаками. И вот он увидел, как в Гусятине русские казаки согнали евреев на базарную площадь, потом приказали раздеться догола и танцевать друг с другом.
– Мужчин и женщин? – как и год назад не поверила мама.
–Угу! – Гершка стал ковырять пальцем в зубах. – Потом заставили ездить верхом на свиньях... у которых течки нет!.. потом стреляли!..
Я прекрасно помнила, какие ещё последуют «потом», но не верила ни единому слову. Просто Гершка ленив для Ужасных Дней. Вот и хватается за свой Гусятин – чтобы не поститься и в синагогу не ходить.

Следующие «потом» были про то, как:
–... поливали керосином еврейские дома,..
–... увозили телеги награбленного с тех пепелищ...

[1] *Гусятин* – город в Галиции, на правом берегу р. Збруч.

–... а одного еврея вздернули на виселице за шпионаж (чихнул – *апчхи*! – когда германский аэроплан в небе пролетал!)...

А в Сагадоре... якобы... женщинам отрезали груди (за то, что у свиней течки нет).

Но про Сагадор мне не придется услышать: меня прогонят из шалаша.

Тут я посмотрела на бабушку.

Слепое лицо её едва выгребало из темноты. Но с самых донц старческого её лица, обращённая на Гершку, завивалась мышца взгляда такой оголённой силы, что я испугалась.

Гершка сидел спиной ко мне, и спина его выдавала, что он утомлён, сыт. И что ему не терпится уйти. До следующего года.

Но тогда зашуршало в абрикосовых взвосях в нашем саду. Клеёнка на шалаше вздулась. Дождик прибился.

– А в Сагадоре они стали хватать женщин прямо на улицах... – добавил Гершка, и нахальные глаза его в обмаке сагадорских видений стали скучны.

– Шейндел, выйди! – накинулись на меня мама и папа.

Ну вот, что я говорила!

В саду мальчишки собирали расшибленный велосипед мануфактурщиков Тростянецких. Они нашли его на городской свалке и с восторженными криками закатили в наш сад.

Мой брат верховодил сборкой.

Дождь грыз колючую полсть акации. Кошелка зелёных орехов, ворованных в лесу, была спрятана за порожком сарая, мальчишки зубили их без остановки.

Мой брат сделал рукой широкий жест – чтобы и я грызла орехи вместе с ними (ага, чтобы вымазалась, как он, и его меньше ругали!).

Но я сказала: «Отстань, Шурка!» и отошла.

Бабушкино лицо, обращенное на Гершку из темноты, стояло у меня перед глазами.

Не сожжённые дома Гусятина, не отрезанные груди женщин... но лицо бабушки.

Я утешала себя тем, что бабушка неграмотна, а Гершка врёт.

Бабушке 60 лет, и за всю свою жизнь она ни разу не выехала из Оргеева!.. А Гершка такой врун, что, когда он говорит «Доброе утро», я иду на улицу и смотрю, что же там на самом деле: утро или ночь.

Разобранные педали, руль, колёсная цепь валялись на тёплой тряпке. Лицо моего брата в чёрных разводах от ореховой сажи было недовольное, но исподтайно-счастливое. И у мальчишек, его друзей, лица были злые, учёрпанные ореховой сажей, но всё счастливые, полные неистового ожидания.

Они обсуждали, как соберут велосипед и поедут на нем в Иванчу и кто первый съедет к озеру с лесного склона.

От волнения голоса их стали грубы. Их злило и пугало, что братья Тростянецкие, узнав свой велосипед, могут потребовать его назад. На что мой брат заявил, что в таком случае он отваляет обоих братьев в пыли.

Он такой драчун, этот Шурка. Хотя и с ангельской внешностью.

И вообще.

Одного взгляда на мальчишек хватило бы, чтобы понять: не было никакого Гусятина. Как не было Междуречья, Месопотамии, Эллады, Рима, про которые мы учили в гимназии.

Помню гравюру: виадук Карфагена, разрушенный римлянами. Её показал нам Пётр Константину Будеич, профессор истории.

Вот и Гусятин был как та гравюра.

Еще профессор Будеич показал нам греческую вазу: Ахилл оплакивает Патрокла.

Вот и Гусятин был как та греческая ваза.

А в нашем дворе воздух, точно взятый из-под сита, низко слёг после дождя, пахучий до коликов. Ястрая трава у сараев тытилась от свяжести. Безгрудое дерево осело, затяжелев от воды.

Нет, жизнь – была благом. Что бы ни болтал этот чумазый Гершка.

И хотя учебник истории твердил о бедствиях и разорениях, попалявших человечество в каждом веке... жизнь была благом даже с учетом Гусятина.

Міръ был сотворён заподлицо со мной, и не раньше, чем я родилась.

Если бы жизнь не была благом, то ни кино, ни море, ни бегущий футболист Нахман Л. не сделали бы меня счастливой.

А я без подсказки чувствовала себя счастливой.

И потому мне жаль было нескончаемых трёх недель осенних праздников.

2.

*Витя Пешков. Хроники. 1972.*

Мне было 10, почти 11 лет, когда случилось то, что случилось, и мы поменяли квартиру с Ботаники[1] в Центр – подальше от Долины Роз с ее проклятым *озером* в низких ивах и топких берегах.

Но зато с нами Лазарев стал жить.

Пока мы жили на Ботанике, Лазарев был только гость. А когда переехали в центр, то – пришел со спортивным рюкзаком и поселился с нами.

Да, теперь я его видел каждый день. Утром, днем, вечером, с понедельника по воскресенье.

Но он был такой изящный, весёлый, с светлой бородой и песочно-карими, всегда задерживающимися на тебе глазами, что всё равно как гость, а я люблю гостей.

Не отец, не отчим, я еще не разобрался, кто он мне. Но я доволен.

Например, он подкинул мне общую тетрадку марганцового цвета и велел делать в ней записи.

«Это хронограф! – пояснил он. – Просто перечисляй, что было! В двух словах! Но ежедневно!..»

«Зачем?» – не мог не спросить я.

«А чтобы от Геродота не зависеть!».

«Кто это? – не понял я. – Геродот?» – и посмотрел на маму.

– Это в том смысле, – предположила мама, – что человек сам ответственен за свои поступки, так, Лёша?..

– Нет, не так!– звонко, нервно отвечал он. – А только в том смысле, чтоб хроники остались!..

Ну и хорошо.

Хроники так хроники.

Тем более что он приз обещал: абонемент на «Нистру»[2] – если буду эти хроники писать.

Хроника 1.

(пока что только в уме, но скоро – и на бумаге!)

Красную цену себе в дворовом нашем футболе я не отважусь подбить и сегодня.

Апель и Гейка играли лучше, Аурел и Волчок – бесстрашнее и грубее, толстый Хас, Вовочка и Боря Жуков не превосходили меня ни в чем, но были уроженцы двора, а я пришел лишь в 1972-м, как одноклассник Хаса, когда мы переехали с Ботаники в Центр.

[1] *Ботаника* – микрорайон на юго-востоке Кишинева.

[2] *«Нистру»* – кишиневская футбольная команда мастеров.

Пока я жил на Ботанике, мы с Хасом не были друзья. А только учились в одном классе.

Но теперь я жил на 25 Октября, 67, а он на Ленина, 64, это через два квартала.

Стали ходить из школы вместе. Мимо политеха, планетария, художественного музея... мимо кинотеатра «Патрия», закусочной «Огонек»... мимо дома правительства, биржи болельщиков на Пушкинской... мимо главпочтамта и магазина «Военная книга»...

И тогда он спрашивает – а сколько пацанов у тебя во дворе.

Я признался, что всего двое: я и еще один малый из второго класса, правда, здоровый.

А у них наберется на три команды, похвастал Хас. Не считая малых. И они играют за ЖЭК-10 на «Кожаный мяч».

Вот это да!

Но и это еще не всё.

Каждый год ЖЭК выдаёт им форму с гетрами!

Врёт?

Или на самом деле?!?!

Надо ли говорить,что на Ботанике ни у кого не было формы.

Тем более гетр.

Заслушавшись, я проводил его до Ленина-Армянской, это целый лишний квартал, и тогда он говорит: приходи играть после обеда.

«А уроки?» – хотел спросить я, но постеснялся.

*23 апреля 1972-го, Кишинев.*

Бабе Соне я соврал, что уроков не задали.

Она с трудом усадила меня обедать.

...Хас поджидал меня на ступеньках Спорттоваров.

Издалека я увидел его.

В квадрате футбольных белых трусов с красными лентами по бокам и в шерстяных чёрных гетрах с белой поперечинкой на икрах он выглядел пугающе-спортивно для колобка и душки, каким я знал его по классу.

Мы двинули по 25 Октября.

Повернули на Армянскую возле Дома быта.

Беспорядочный людоворот повлек нас вдоль кремля центрального рынка, но Хас не растворялся в толпе.

Еще бы! Запусти его хоть в миллиард китайцев, он и там просиял бы в своей форме с гетрами.

Наконец мы нырнули в какой-то пролаз, где железная колодка торчала в асфальте – чтоб машины не ехали.

Там начинался двор.

Двор был истыкан тополями.

Тополя перерастали пятый этаж.

Фигурки в гетрах носились по росчисти, утоптанной до стука.

И – не во сне ли я все это вижу – голевая сетка малахаилась меж двух тополиных стволов!

Как бомбардир я не знал голевой сетки до той поры.

На Ботанике разведут два булыжника – и все ворота. А здесь настоящая голевая сетка. Я даже затрепетал от отпышки её ячей.

И играли не куча-мала, как на Ботанике, а один на один до гола.

У Апеля была тетрадка и стержень.
«Пешков» – назвал Хас, и Апель записал меня в таблицу.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *На Ботанике* | *никто* | *не чертил таблиц.* | *И я сейчас же* | *понял* |

*что футбол без таблицы – это просто возня в пыли.*

Я не знал, кто есть кто в дворовой иерархии, и обыграл Сергича и Волчка в 1/8 и 1/4 финала, хотя они оба были в гетрах.

Ну, Сергич, это ладно: он из 4-го класса. Но Волчок был старше меня на год. Тем более Аурел – тяжелоногий, рослый.

Но я обыграл и Волчка, и Аурела (в 1/2 финала).

Так желтки с сахаром не взбивают в миске, как взбивал я им плюхи в сетке.

Тогда Апель отложил таблицу и выбежал против меня.

С первых же его финтов было видно, что в футболе он умеет всё. Просто кувшинка и стрекоза футбола. К тому же все болели за него.

Вот так я попал во Двор.

На Ботанике – что в футбол играть, что в *свинчатки-чушки*, всё равные занятия.
А здесь футбол был *как факельное шествие*!..
На Ботанике – играли на поджопники.
А здесь – на воображаемый *Кубок богини Ника*!

На Ботанике – Пешков, которого я не помню.
А здесь... *Лазарев*. Который курит табачную трубку. Настоящую!

3.

*Chantal. Мальчики. Greta Garbo. 1932.*

Садовник Шор, наш резенский родственник, вернулся из Палестины и рассказал, что у молодежи там совместное обучение. Девочки с мальчиками.

Все мои подруги тотчас захотели ехать в Палестину.

А я?.. Ну, мне это не грозит. Из-за папы.

Дело в том, что Шор повез туда наш мёд... и не продал ни грамма!

С тех пор папа и слышать не хочет о Палестине.

*«Нем'н де кой аф'м бойден!»* («Не тащите корову на чердак!» – идиш). Так он отпирается.

Уф-ф-ф!

Свет не видал такого домоседа. Чтоб не интересовался ничем, кроме своих тетрадок (тетрадки, гм-м, Шор тоже возил... – с тем же успехом!).

Ну и ладно.

По-моему, это глупо: тащиться в Палестину ради мальчиков, когда у меня этого добра – целый гимнастический зал в «Маккаби».

Мои подруги утверждают, что все мальчики ходят туда из-за меня.

Не спорю: они неумелые гимнасты.

Особенно Унгар, сын богачей-коневодов. Этот вообще груша: зависнет на перекладине, и привет. Даже одного раза подтянуться не может.

Впрочем, мне нет дела.

*Оргеев, 1932, ноябрь*

Ещё мои подруги утверждают, что я завиваю волосы особым образом. Как у Греты Гарбо в «Анне Кристи».

Какая чепуха!

Еще не родился человек, ради которого я стану производить что-то особенное со своей внешностью.

И потом я реалист. Эти влюбленные мальчики, эти неумелые гимнасты уже сейчас планируют своё будущее. Самые толковые из них откроют врачебные кабинеты, адвокатские бюро. Они все до единого женятся на обезьянах с приданным. А меня Гершка разорил.

Ну зато...

Зато я одна из лучших учениц в женской гимназии.

Нет, я самая лучшая.

И потому:

- я «*Скутитэ де таксэ*» (*освобождена от платы за обучение* – рум.), а обезьяны выкладывают до копеечки, 2400 лей в год,

- тетрадки и учебники достаются мне за так, а обезьяны платят по полной,

- я готовлюсь в фельдшерскую школу в Кишинев, а обезьяны целый век скоротают в провинции.

А ещё у меня пальцы рук, как у Греты Гарбо: водорослевые, удлинённые.

И ещё...

... меня...

...выбрали...

... (я не шучу! Это правда!)...

...меня... выбрали...

...*королевой бала* в «Маккаби»...

Дело в том, что в городе давали бал (в честь какого-то *Lord Balfur*) и меня выбрали королевой! Честное-пречестное!

И вот что из этого вышло!

*2 ноября, 1933 года, Оргеев.*

4.

*Витя Пешков. 1972.*

... И вот наступил этот день!

(Хотя я не верил, что он наступит!)
Нас позвали в ЖЭК – получать форму!

Хроника 2.
*(Все еще в уме. Но скоро сяду и запишу!)*

Форму выдавала Аннушка-кастелянша.
«Ставь подпись за комплект!.. Ставь подпись за комплект!»
В жизни не слыхал такого писклявого голоса.
А кому какой номер – ей до лампочки.

Я мечтал о «9» или «11».
Но они достались Апелю и Гею.
«10» забрал кудрявый Крецу. Все знали, что он костыль и играть не умеет. Но он состоял на учёте в детской комнате милиции, с ним не хотели связываться.
«6» – Молдове, «8» – Аурелу...
Мне... *пятнадцатый* номер.

Поначалу я не расстроился. Не знал, что из этого выйдет.
*24 июня 1972 года. Кишинев.*

Мы переоделись у гаражей и – в путь!
Всей ватагой через вторую секцию.
Доминантные, как до мажор.
Видные, как конная милиция.

Утро было только-только с грядки, такое свежее.
У дворовой эстрады высоченные тополя сходились вгущь, укрощённое солнце едва доплёскивало сквозь них.
Было полно мамаш с колясками, все смотрели на нас.

Здесь же, в тени на лавочке, сидела одутловатая женщина с запрокинутой головой и тянула вязальную шерсть через спинку стула.
Это была *слепая Даша...*[1]
Все время она попадается мне!

Через арку мы вышли на проспект.
Перебежали на ту сторону и сели в «четвёрку» возле ДК «Стяуа Рошие» (*«Красное Знамя»* – молд.).
Только тут, в троллейбусе, я догадался спросить: а где играем?
.....
Что-о-о?..
Не может быть.
Вот ёлки!
.....

В троллейбусе опять все глазели на нас.
В гетрах я чувствовал себя как бог. Как Анатолий Бышовец в своем роде.
Жаль, никто из чувих не видит. Хотя сразу несколько чувих из нашего класса (Марьянка М., Наташка Ч., Ирка В., Стелка К...) живут на Ботанике.

[1] *слепая Даша* – родная сестра Лазарева.

Я даже поозирался по сторонам – нет ли кого-нибудь из них в этом троллейбусе.
Увы, никого.

И вот – Ботаническая горка.
Долина Роз.
Озеро с дамбой... (я боюсь!).

100 лет я не был тут.
И подписываюсь еще на 200.
Не жаль мне на Ботанике ничего. Ни кинотеатра «Искра», ни «чёртова колеса» в Долинке. Ни Вовы Елисеева, моего лучшего друга...
Хотя кинотеатр «Искра» самый современный в городе. Свет в нём угасает по углам, незаметно, зловеще. Точно сказочный яд вливают в ухо.
И с *чертова колеса* в Долинке видно, что Земля и вправду колыбель человечества.
И второго такого друга, как Вова Елисеев, у меня не было, нет и не будет никогда.
Но... покончено.
И не надо тянуть меня за язык.

*Через 2 часа.*
Играли на поле 28-й школы.
Столько команд в формах – аж в глазах рябило.

... Но я просидел полные 2 игры в запасе. Хотя Крецу только и знал, что костылить, и Аурел играл как ж-па. А уж Волчок в воротах какие пенки ловил, я молчу. И Апель только угловые подавал, вместо того чтоб вести команду за собой.
Наши сдули 0:4, 0:7. Добровольно никто не заменился.

Оставался последний матч.

Я решил не ждать у моря погоды и выбежал под шумок со всеми.
Такой футбол в моих гетрах надувался!

Мы построились полудугой.
Судья жевал свисток и переводил взгляд с секундомера (*...10...9...8... )* на нас (*...7...6 ...5 секунд до начала матча!..*).
Вот он уже не отрываясь смотрит на секундомер.
*...4... 3...*
Только бы дождаться свистка.
По свистку затеряюсь в общей куче.

*...3...2... оди-и-и-и-ин...*

«Двенадцатый!» – полохнулось в полудуге соперников напротив.
Возник злой переполох, и меня погнали с поля.

Наши сдули и последнюю, третью игру.
Всё, финита.
Построились «линейкой», сыграли туш.
...
Тогда и подвяла моя дружба с Хасом. Я перестал ходить к ним во двор.
А потом они с Апелем сподличали, выманив у меня мою форму с гетрами.
Но об этом – в следующей хронике.

5.

*Chantal. Королева бала.*

В «Маккаби» был вечер с оркестром.
Зал убрали в белое и голубое.
Тростянецкие, Глюсгольд, Воловский, M-me Резник с мужем... весь *bon monde* был тут.
Сам доктор Кучеровский – распорядитель.

Объявили сбор средств на Палестину...
...из оркестра выхлопнуло музыкальное пламя...
...прямо целый огненный язык тарелок, труб, литавр...
...доктор Кучеровский подал знак...
...мы с Мироном П. из выпускного класса выступили из-за портьеры...
...и двинулись со своей разукрашенной коробкой между столиков...

Мирон П. был такой красивый, белокурый, что за столиками все отвлекались от лимонада с пирожными и бросали деньги в коробку.
В ответ мы прикалывали бело-голубые флажки к пиджакам и платьям.

...потом закудрявились скрипочки перед тюлевым занавесом...
...я оглянулась на их взволнованный шум...
...«Выбираем королеву бала!» – объявил доктор Кучеровский...
...и почти сразу я услышала «*CHANTAL DAITCH*», произнесённое вслух...

...я?...
Я???!!!
...
Я подставила голову под венок.
...
Мирон П. стал отбирать у меня коробочку с пожертвованиями, но я вцепилась в нее мёртвой хваткой. Все засмеялись.

Только один человек не смеялся, не аплодировал вместе со всеми: *M-me Fleshner* из секретариата гимназии. Она протиснулась ко мне и зашипела не размыкая губ: «Посмотри, который час!.. Марш домой сию же минуту!..».
Действительно, я забылась, как Золушка. Шел 9-й час[1].

Но замешательство мое не осталось незамеченным.
Подскочил худощавый мужчина в смокинге. Азарт плескался в его глазах.
– *Ve rog, facée o excepție!* (Прошу Вас, сделайте исключение!.. – *рум.*) – затараторил он весело. И даже приобнял M-me Флешнер за плечи. – *Numai in chinstya deklarazie Bal'fur!* (Ну хотя бы в честь декларации Бальфур!)[2]
Он был такой самоуверенный, веселый, что я застыла в робком ожидании.
Бесполезно: она и слышать не хотела.

Тогда сам доктор Кучеровский вызвался отвезти меня домой.

[1] После 8 часов вечера гимназистам запрещено появляться в публичных местах.

[2] *Declaratie Balfour (Декларация Бальфура)* – «Правительство Его Величества Королевы Великобритании относится благосклонно к установлению в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все свои усилия, чтобы облегчить достижение этой цели...» (2 ноября 1917 года).

Но худощавый мужчина в смокинге опередил его.
...

Городок был тёмен.
Даже *une promenade* с городским сквером – и та оскорбительно-темна.
Подъезжаем.
Выпрыгиваю из двуколки.
Смотрю: Шурка на голубятне.
Я ему: ты кого тут высматриваешь в темноте?
Он покраснел как рак.

Двуколка отъехала от нашей калитки, и тогда Шурка заявляет: знаешь кто тебя подвез?.. Лесопромышленник *Иосиф Штейнбарг* из Бухареста!..
Наш спаситель.
Который убъёт нас, если обнаружит наши борти в лесу.

Вот никогда бы не подумала.

6.

*Витя Пешков.*
Хроника 3 (прощай, форма!).
Потом жирный Хас и Апель заявились ко мне и выманили мою форму: трусы, майку и гетры.
Вот как это произошло.
*1972, июль, Кишинев.*
Было 11 утра, они шли из «Бируинцы»[1] после утреннего сеанса, а я выскочил на балкон за какой-то дурацкой надобностью.

Они шли по моему кварталу той особенной походкой, как только летними каникулами ходят после утреннего сеанса: оживлённо-потерянно, с нервозной бесцелинкой. Это когда день только начался, а кино уже было.

С балкона я нырнул обратно в квартиру.
Почему-то я не ждал ничего хорошего от их визита.

Баба Соня вывешивала стирку на дворовом балконе.
И я хорошо расслышал Хасово «Витя дома?», обращённое к бабе Соне. Без «здравствуйте», без «извините»...

Мы уселись под виноградом напротив второго подъезда, и Апель показал мне лист бумаги с крупно выведенным «*ГДЕ БЫЛ ПЕШКОВ?*» якобы от руководства ЖЭК-10.
Нигде я не был, отвечал я. В своем дворе был.

Тогда форму отдавай, сказали они.
Мол, в ЖЭКе требуют. Раз я на тренировки не хожу.
А я и не знал, что были тренировки.

Как зачарованный вынес я им форму, уже отглаженную, теплую, собранную для отлежки в шкафу.

[1] *«Бируинца»* – кинотеатр за квартал от моего дома

Только кеды я им не вынес, но кеды без формы ничего не значат.

Позже я узнал, что они меня разыграли. Без всякой цели. Только потому что начало дня, а кино уже было.

Что сказать.
Это катастрофа.

Посмотрят на меня, допустим, издалека. Из какого-нибудь 40-го века. Или из мегазвездного скопления М13. Как я докажу – что я это я?

7.

*Chantal. Иосиф Штейнбарг. 1933.*
Год назад Шурку исключили из гимназии, и лесопромышленник Иосиф Штейнбарг ездил хлопотать за него в Бухарест.
Шурка хулиган, но до сих пор ему сходило.
Даже когда он до полусмерти напугал дочку примара (городского головы – *рум.*): наловил речных жаб и забросил ночью в ее окно... и то ему сошло (из-за его *ангельской внешности*).

Но год назад его (вместе с двумя дружками, такими же недоумками) исключили из гимназии. За стишок*, что они декламировали на перемене.
Их подслушал П.К. Будеич, профессор la katehizm, проходивший по коридору.

Оказалось, это надругательский стишок.
Об этом даже в газетах написали: «Молодые еврейские недоумки из Оргеева надругались над румынскими святынями!»

И хотя Шурка клялся, что они и слова такого не знали: *на-дру-га-ться*, и что стишок этот в полный голос распевают крестьяне на базаре, ничего ему не помогло.
*M-me Angel* осталась непреклонна.
«Неграмотным крестьянам на базаре – я прощаю!.. – объявила она Шурке. – Но только крестьянам! И при том – *румынским*!..»
И подписала указ об исключении.

---
*Вот этот стишок: «*Трэяскэ Романиа маре ши...*» (рум.) – «Да здравствует Великая Румыния *и...*»
Вторую строчку я не решаюсь воспроизвести, в ней-то и содержится глу-мле-ни-е.
---

Мама ни о чем не догадывалась.
По утрам Шурка «уходил в гимназию» с сумкой учебников. Гонять голубей на окраине.
Он умолял меня не выдавать его маме.
Я бы не выдавала, но мне приснился сон: про то, как цыгане заманивают его в лес.
Еще бы. Такого *херувимчика*.
Проснувшись в слезах, я объявила ему, что не могу более закрываться.
Шурка встал в дверях, но я оттолкнула его.

Тогда он обещал, что не будет уходить на окраину.
Сначала я обрадовалась. А потом...
«А куда ты пойдешь? – вздохнула я, вытирая слезы. – Где тебе околачиваться в самом деле?»

От безысходности он поплёлся в Талмутойрэ (*религиозная школа* – идиш). Хоть там и не дают аттестата.

Но через несколько дней я заметила, что грудь и плечи его избожжены солнцем, а на руках плесень и смола.

Оказалось, он ходит к мануфактурщикам Тростянецким. У них гостил женатый сын из Праги, студент-социалист. Молодежь роилась вокруг него. Он запретил папаше нанимать крестьян, но позвал молодежь для очистки колодцев и дробления винограда.

Я искала случай взглянуть на него.

Он оказался малого роста, но с калачовой мускулатурой.

Жена его, девочка по виду, была на сносях.

...И тогда к нам явился старший Хасилев (отец другого недоумка).

«Ура, мы спасены! – сказал он маме. – Сам лесопромышленник Иосиф Штейнбарг отправляется в Бухарест – хлопотать за наших балбесов!.. В Бухаресте у него связи. Ему симпатизирует *M-me Popalazar*, теща сами знаете кого!..»

И попросил маму – расписаться под ходатайством.

Мама расписалась.

Но после ухода Хасилева она как соляной столб выставилась посреди комнаты. Как если бы она застала папу за его тетрадками. А затем принялась щипать и царапать Шурку. Шурка закрывал лицо, голову, вырывался и плакал, но я видела, что он счастлив. А я еще больше.

С того дня «лесопромышленник Иосиф Штейнбарг» не сходил у нас с языка. Упоминания о нем были часты, как моргание век.

Хотя лучше бы он не знал о нашем существовании. И о наших бортях в лесу.

- - -

Еще о Штейнбарге.

Я думала, он *bon monde*. Как, например, Глюсгольд (банкир). Или братья Тростянецкие (мануфактура).

А он не толстый и не старый. У него блестящие глазки и носик с весёлыми кружочками-ноздрями, выправленными наружу.

Мне бы и в голову не пришло, кто он на самом деле.

В Бухаресте он добился Шуркиного восстановления в гимназии.

Надо же!

Поехал.

И добился.

Представляю себе рожу Петра Будеича. *Профессора...* ха-ха!.. *la katehizm*!

Но – увы. Он (П.К.Будеич) в Реуте утонул...

*1933, март.*

...под скальным монастырём, выручая двух гимназистов, оторвавшихся от экскурсии.

Говорили, что он из Братства Креста[1] и у него зелёное рубище под костюмной парой.

[1] *Братство Креста* – национально-религиозное движение, созданное в Румынии крайне правым политическим деятелем Корнелиу Кодряну.

Никогда не забуду лекцию «*Великая Румыния*», прочитанную им в середине курса.

Не забуду, как на словах «*Запомните, воры и прохиндеи...*» голос его перехватило от волнения и судорога страдания по лицу прошла.

Вот полная фраза*: «Запомните, воры и прохиндеи, что со времен траков и даков, не по суду людскому, а по священному установлению Божественному, земля Трансильвании есть наша, и земля Добруджи наша, и земля черноуцкой Буковины, и все однажды сотворенное Отцом Небесным от Прута до Южного Буга, – все это есть наше и наше!»*

Бр-р, как красиво!

Но он утонул, и я сослала бы его
в Карфаген,
в Гусятин,
в Трою.

Но он пролежал полных три дня в Успенском Храме – будто бы упиваясь своей смертью.

Евреев хоронят в день кончины. Человек не успевает побыть мертвым. Но переселяется из Оргеева в *Изкор (поминальная молитва* – ивр.*)*.

А этот – пролежал три дня.

Только в июне перестала я думать о смерти – когда «Маккаби» делегировал меня на слёт (в Кишинев!).

Я так много слышала про Кишинев, что боялась разочарования.

Но Зиновий Болотин, председатель группы, обещал, что после парада отвезёт меня в Фельдшерскую школу за анкетами (откуда он только узнал?!).

*21 июня 1933 года, Кишинев.*

Но Кишинев оказался ещё прекрасней, чем я себе представляла.

Мы шли колоннами.

Мальчики в бриджах, девочки в шортах-юбочках.

Барабаны с валторнами сопровождали нас.

Проспект был параден: тротуары выделаны по-столярному остро, остриженные деревья держат выправку.

Мы встали у Триумфальной арки. Солнце пело на её золотом циферблате.

Теперь я могла вертеть головой по сторонам, рассматривать колонны, формы, флаги.

Вот «Халуц» (*«Первопроходец»* – ивр.)... вот «Поалей Цион» (*«Трудящиеся Сиона»*)... Другие полотнища, с вензелями королевского дома, с круторогими буйволами и пучками колосьев – не были мне знакомы.

Любопытные толпы горожан обступали площадь.

Великаны *gendarmes* отлавливали за шкирки проказников-детей, искавших затереться среди нас.

И Триумфальная арка высилась в нашу честь.

А сразу после демонстрации подходит ко мне футболист Нахман Л. (бывшая симпатия! ха!) и с равнодушной миной протягивает конверт.

«Что это?» – я состроила ему такое же безразличное лицо.

«Зиновий передал!» – выдавил он из себя.

То был конверт из Фельдшерской школы при казённой б-це – с анкетами для поступления.

Как вовремя!
Ура!

До сих пор я понимала міръ как рамку. Гора, река, скороидущее небо над ними, косодеревый Оргеев, мощённый в торговой части, были сколочены по мне, как рамка (даже бегущий юноша-футболист – и тот приходился мне троюродным братом). Но профессор Будеич вышиб ее своею смертью.

Но – ура!

Скоро я перееду в Кишинев.

И... родюсь... рожусь там заново!

8.

*Витя Пешков.*

Хроника 4.

А город мой зелен был до того, что в обвое аллей, озерных плавней, дворовых олешников казался кривоул и провинциален. И хотя по проспекту тополя были отрёпаны во фронт и окублены, как пудели, у министерских зданий, всего-то полукварталом ниже косились акации-солохи да древние мощи шелковиц ходили под себя багрецовой ягодой, и асфальт был липок и лилов.

*Июль 1973, Кишинев.*

В дворик мой запахнуто было столько неусадчивого цветенья, фруктовых копн и ополченных тополей, столько виноградниковой мохны, астр, георгин, что и просластное солнце лишь выборочными врезками ложилось здесь и там, не задевая наземистые прохладу и тени...

И я старший из детворы!

Мы водили бесконфликтные тихие игры: войнуха, жмурки... футбол. Да, футбол... До сих пор мне хотелось его слабого раствора. Не интриг, не драк, не унижений «Кожаного мяча», а нового рывка, неизъяснимого разворота.

В том году вместо травмированного Бышовца в Киеве заиграл Блохин. Левша и лебедь советского футбола. Он был легкоступней, полетнее, разболтаннее в крепленьях. И был у него финт: не ждать, пока защитник набежит, а пробросить мяч и лететь вослед, как воздушный шар с газовым свистом.

Никто не мог сладить с этим его финтом!

И как поют под заграничные пластинки: под Тома Джонса или Энгельберта Хампердинка, так шлифовал я свои бег и обводку под блохинскую взмывающую игру.

Безмятежность моя была бы полной, если б не Шаинов из 12-й квартиры. Бывший милиционер. Инвалид с тростью. Он запрещал топтать траву под шпалерами. Только чиркнешь спичкой футбола, он тут как тут со скандалом. Хотя играл за *Динамо (Оргеев)* в молодости, если не врет. И сейчас, в изнурённой старости, оставался болельщик: всякое утро Вера-почтальонша подносила ему свежий «Сов. спорт» в росе. А киоскерша у «Бируинцы» откладывала «*Футбол-Хоккей*» по понедельникам.

До «Бируинцы» две минуты на «Орленке». Четыре минуты легким бегом. Но для Шаинова это мучительный поход. От ревматизма его аж закручивает на каждом шаге.

«Постой!.. Остановись, кому говорю!.. Не в службу, а в дружбу!» – заводил он по понедельникам, когда я как ястребок пролетал мимо на «Орленке».

Ладно, я не вредный. Сгоняю за «Футбол-Хоккеем» к «Бируинце».

Однажды я купил там «*64 – Шахматное обозрение*». Хотя и не думал покупать. Просто киоскерша вдруг нагнулась под прилавок и достает: «Нужно?.. Для своих держу!»

Я подумал, это тоже про футбол, и купил. А оказалось – про шахматы.

К удивлению моему, Лазарев обрадовался покупке («Ух ты, Ленинградский межзональный!») и кинулся в кухню за ножом.

«Аньк, смотри! – стал он разрезать сдвоенные полосы. – Ларсен, Таль, Корчной... (*вжик-вжик*!) Тайманов, Ульман, Карпов!.. (*вжик-вжик!*) Аньк, ты за кого?..»

– Мой жених! – вытерев руки об фартук, мама ткнула в одну из фоток на ободке таблицы. – Несостоявшийся!..

– Вот как?.. А я за Таля! – рассмеялся Лазарев. – А ты за кого? – спросил он и меня.

А я вообще впервые слышал эти фамилии.

Но теперь мы с Лазаревым стали ловить «Маяк о спорте» по радио и заносить результаты в таблицу.

Но «Маяк о спорте» это аж в 23.00.

Пока дождешься!

От нетерпенья я завел свою собственную таблицу (в тетрадке по арифметике). Результаты – по шестигранному кубику.

По обеим версиям (по кубику и по «Маяку») лидировал Анатолий Карпов.

Он был худенький, прозрачный. Весенний, как березовый сок. Серьёзность, юность, незатрёпанная талантливость светились в нем.

Но свеченье его колебалось от тяжких всхрипов *В.Корчняка (*это который «мой жених»*)*, колдыбавшего следом. Помятый, пожилой, бизонистый, с турецкими злыми глазками, налитыми удивлением и упрямством, он не желал отставать.

Я затирал его в моей таблице. Но он отыгрывался в сводках «Маяка». И как настойчивый ухажер-насильник, достиг своего в последнем туре.

Делёж 1-2 места.

Впрочем, тогда, в июне-июле 1973-го, Корчняк мог выглядеть и по-другому: благополучней и нейтральней.

Неприятностям его суждено было начаться годом позже.

Мое описание заимствовано из рассказа Лазарева, видевшего его вживую, и относится к 1975-му году.

9.

*Chantal. Мамаша Унгар.1933.*

Фельдшерское училище устроено аж на *Валя Деческу (*село Боюканы*)*.

В дороге я намерзаю, как вода в бочке.

Приходишь в класс – там печь с угаром.

*Ноябрь 1933, Кишинев.*

И Унгар тут. Этот жирный Унгар – в ветеринарной школе.

Притащился за мной аж в Кишинев.

Отшила бы его!

Но я делю комнату с Изабеллой Броди и Любой Пейко, а они обожают кататься в его фаэтоне со шкурами.

Он бывает у нас каждый день.

Вынуждая меня сидеть в училище до темноты.

Мало того.

Мама пишет, что в Оргееве меня уже выдали за Унгара.

И что-то я не слышу недовольства в её тоне.

Жаль, она не видит, как я топаю с Боюкан в ночи (грязь – хуже, чем у нас в слободке. И пьяницы голосят у заборов).

И ещё этот Унгар хвастается, что загипнотизирует меня (он берет уроки у гипнотизёра Маркова).

Я делаю вид, что не боюсь.

Последней каплей стали именины сестры Унгара.

Вся их мелиха прибыла из Оргеева: родители, сестры...

Я бы и не подумала идти.

Но – делать нечего – мама передала мне зимнее пальто с мамашей Унгар.

В воскресенье мы явились к ним на Садовую.

Молдавский жаркий ковёр лежал как задумавшийся на полу в прихожей.

Было натоплено до обморока.

И вдруг... мамаша Унгара...

Пропустив Белку и Любу по лестнице наверх, она задерживает меня возле скрипучих ступенек. Обнимает и говорит: «Вот такая мне нужна!»

И смотрит – точно гипнотизирует.

Ну всё.

Довольно с меня!

10.

*Витя Пешков. Мой Лазарев!*

Нет, Лазарев это вещь!

Вот мечтал я о велосипеде «Орлёнок». Он и приволок: не новый, с проржавью, но на ходу. Тросик ручного тормоза был сжёван, и мама запрещала мне выезжать со двора. Тросики продаются в *Авто-Вело* на базаре, и Лазарев обещал, что мы пойдем и купим.

Ещё он отвадил нашу Марью-домработницу. Клёво! Не люблю я этих марьиных уборок по четвергам: голизну стекол без занавесок, мокрый ветер в комнатах... Оказалось, что и Лазарев всего этого не любит. Р-раз, и Марья перестала приходить.

Ещё у него есть магнитофон «Юпитер-202» с записями Тома Джонса.

Еще он конькобежец, один из самых ловких на Ботаническом озере.

(Но только не надо тянуть меня за язык – про *это озеро*.)

Еще он разбирается в астрономии, говорит, что с Земли послан сигнал к звездному скоплению М13 и теперь всё зависит от того, будет ли ответ от братьев по разуму.

«А вообще-то блеф! – заявил он как-то за обедом. – Астрономия есть наука о наших телескопах! Не более того. Реальный же мир не познаваем в принципе. Да и есть ли он, реальный мир?»

«Новости дня! – попеняла ему мама. – Гегельянство какое-то!..»

Но она попеняла ему не строго. Не так, как она кидается на любого, кто только смеет ей возражать.

«И ничего не гегельянство! – обрадовался Лазарев. – И познать можно – только самого себя!»

«Ну тогда это эгоизм! – возразила мама. – Это малодушный побег от мира!»

Я ничего не понял в их разговоре. Но все равно интересно!

И классно!

Ведь Лазарев это снисходительность мамина, это сказочный аромат табака в комнатах, это вино и торт в будни.

Это первая мысль по утрам – нет ли новостей из звездного скопления М13, пока я спал? Не поступил ли ответ?

Эх, если бы он только предложил: «Будь Лазарев, а не Пешков!» – я закричал бы «Ура! Буду!».

Потому что выбор между Пешковым и Лазаревым это выбор между Ботаникой и Центром. А мне в Центре за...сь. Даже включая жирного Хаса.

Но не включая слепую Дашу, которая по целым дням сидит перед подъездом и тянет мотки шерсти через спинку стула.

Кого-кого, а слепую Дашу я боюсь: всегда она лезет обниматься с этими своими полузакрытыми и вывернутыми куда-то в сторону глазами.

Это так страшно, что я прямо не знаю, что с этим делать.

Наверное, я не должен вспоминать о ней. Решить для себя, что ее нет на свете! (Ну-ка... попробую!..)

Зато во всем остальном я просто счастлив на 25 Октября в Центре.

Я окончательно понял это во второе лето,

*Июль 1973, Кишинев.*

когда мама и Лазарев поехали с тургруппой в Югославию.

Полдня мы провожали их. Я бегал с уличного балкона на дворовой – высматривая такси.

А когда оно приехало, мы поторглись с чемоданами вниз.

От слёз у меня щипало в глазах.

Но я знал, что будет хорошо. Так хорошо, что навсегда запомню.

Без мамы режим дня расползется на нитки. Лето, остроптичья мохна дворовых тополей, велосипедное свиристенье в Соборном парке, телевизор до ночи... – перестанут быть пунктами распорядка. Но пустят свой собственный пьяный сок...

И еще:

- баба Соня не запретит мне ночлег на балконе,
- я не буду кушать, когда не голоден,
- не возьму ни одной книги в руки,
- рассмотрю голых тёток во «Всеобщей истории искусств».

Вот такие планы!

Такси уехало. Мы с бабой Соней остались у палисада.

И тогда цвет воздуха изменился.

Вокруг все потемнело – как в кинотеатре перед фильмом.

Это гроза выпахтывалась над сараями.

Она шла с Боюкан. И гремела так штутко, точно костяные шары вылетают за биллиардный борт.

Мы вступили в подъезд, и сразу обвально полилось снаружи.

В подъезде запахло замокшей пылью.
Мы поднялись в квартиру.

В то лето, как полевая тварь в логове, сложился я по образу квартиры, укрывшей меня с моими таблицами.
Она задакивала меня всяким порожком, плинтусом.
Дуплящаяся в стволе Центра, одним балконом в филармонию, другим в тополиный двор с стеной сараев по границе, она выдает градостроительный план моей личности.
Она – дворец моей грудной клетки, черты моего лица...

И хотя баба Соня утверждает, что *ул. 25 Октября* это на самом деле *str. Carol Schmidt* и «в 7-й квартире тут *Хвола* жила!» (бабы Сонина подруга по гимназии), я не возьмусь откапывать чужую Трою.
Мне только надобно, чтобы бурная каша *моего* воскресенья стартовала именно здесь – в этих комнатах.

В протяжении многих лет докучал мне повторяющийся сон: мы почему-то снова на Ботанике. Душевная тоска, поедавшая меня при этом, и с солнопольем пробужденья уходила не сразу.

II.

*Шантал. Трамвай. Хвола-страхопола. 1934*
Я сижу в концессии и пишу письмо в Оргеев.
О том, что мне... м-м-м... плохо в Кишиневе.
А до сих пор врала, что – сказка!

Ложки-миски черябаются за занавеской, там шофера обедают. Важные письма я всегда передаю с кем-то из оргеевских шоферов.
*Декабрь, 1934, Кишинев.*

Дверь с улицы хлопнула.
Н-да, культура. У нас в Оргееве неграмотные царане – и те придерживают дверь, когда входят.

Белые боты в калошах проследовали к занавеске.

Я подняла глаза – посмотреть, кто этот невежа...

Это был ... лесопромышленник Штейнбарг!
Ну *тот*.
Ну *бал в «Маккаби»*. Со смешными дырочками в носу.
Он скрылся за занавеской.

Я вытянула ноги под столом. Главное, что ботинок не видно (которые протекают).

– Королева бала! – обрадовался он, выйдя от шоферов. – Вы что здесь?..
– А вы? – я сидела перед ним враскидку, с вытянутыми ногами.
– Я?.. В шофера нанялся!.. Ха-ха!.. Шучу!.. – и посмотрел, проверяя впечатление. – Концессию выкупил!..

Он был в фуражечке с опущенными ушами. Как студентик какой-то.
Моя поза казалась мне теперь неприличной.

И пересаживаться поздно.
Я только свела колени под столом.

– Я изменю тут порядки! – поделился он зачем-то. – У *моих* автобусов будут имена – как у пароходов в океане! И, кажется, я знаю, какое имя будет у самого новенького из моих... автобусов!..
И засмущался отчего-то.

– Письмо?.. В Оргеев?.. – вытянув шею, он заглянул поверх моего локтя. – Хотите, могу передать!..
(Невежа какой – совать нос куда не звали! А с другой стороны... может, и вправду передать с ним письмо, он тогда с папой познакомится... и ... не тронет наши борти в лесу?!)

– Хорошо! – согласилась я. – Только одну минуту!..

«*Мама*! – вывела я, выправившись на стуле. – *Мне тут холодно. И одиноко. Скоро я оставлю учебу*!»

Отдала письмо и ушла.
Хотя он расположен был поболтать.

На улице пулевой дождь замерзал на лету. А я потеряла варежки, и у меня разболелся живот.
Возле «Одеона» извозчичьи лошади ели солому с грязного снега.
Я подрабатывала сиделкой, была бережлива, у меня нашлось бы 10 лей на извозчика. Но я не потакала себе в мелочах.

Тащась по Измаильской, я подсчитывала свои накопления в уме. С чем я в Оргееве появлюсь?.. Каковы мои действия?
Я в панике.

Чтобы отвлечься, я стала думать о лесопромышленнике Иосифе Штейнбарге, разбирать его странную внешность: глазки как весенний ледок, малиновый рот в светлой бородке. И выражение лица такое странное, будто он спал и отлично выспался, а тут еще и какой-то весёлый сюрприз с утра. Полагаю, что владелец автобусной концессии мог бы устроить себе другую внешность.
Но мне приятно, что он помнит про «королеву бала».

Но возле рынка я упала на нальдобище.
Чуть не заплакала от боли.
Встала у стены швейной фабрики. Как свинья в грязи.
Инвалиды, цыгане – и те уходили от черных будок, проклиная погоду.

Плача, я поднялась в трамвай. К чему теперь экономить.

Среди пассажиров я узнала Хволу Москович, мою младшую тетку из Резены. В гимназической форме «*Princesses Dadiani*».
Я не была удивлена, хотя мы не виделись с детства. Дело в том, что я ехала в трамвае в 3-й раз в жизни, и трамвай породил Хволу, как одна ненормальность порождает другую. Зато я тотчас вспомнила обиду детства: вальжоржетовое платье и то, что Хвола видела меня в одном белье.
Но в трамвае она кинулась ко мне как родная.
Через полчаса мы были в её комнате на *Carol Schmidt* с новыми обоями и пляшущим горячим газом под котлом.
.....
Я провела там четверо суток, первые из которых проспала целиком.
.....

После сидячей ванны подушечки моих пальцев стали промято-розовы, нежно-надуты.
И такое же покойное, крахмально-рассыпчатое солнце развеялось на *Carol Schmidt*.
Ледяной шторм выдохся.
За приоткрытыми ставнями солнце разминало пальцы на сугробах.

А потом Хвола повела меня в «*Orpheus*» – на новый фильм *G(reta) G(arbo)*.

В зале погасили свет.
Фильм как яичница заплясал на экране.
Я сидела не поднимая глаз. Уверена, я больше не похожа на *GG* – после этой мучительной зимы в фельдшерском училище.
*GG* появилась только на 29-й минуте! В гладком сером платье, с высветленным *collar* под горло!
И что же!
Хвола сразу стала вертеть головой – с экрана на меня, с меня на экран. Как переливают кипяточный чай из стакана в стакан – туда и обратно, пока не остынет – вот так она сверяла меня с экраном... А потом как засмеётся от восторга.
Злопамятная как 1000 старух, я тут же простила ей все обиды.
.....

Моя главная обида произошла в детстве, когда меня отвезли к ним в Резену на каникулы. В Резене жил Ревн-Леви, мамин брат. Он построил 2-этажную гостиницу с рестораном. К нему стали ходить румыны-пограничники, он разбогател и перестал нас признавать.
Но это позже, а пока нас привозили к ним на каникулы: Шурку и меня. Но Шурка не умеет себя вести. Он играл там в банки и разбил окно в зимней кухне. И потом он плохо влиял на Адассу, Хволыну младшую сестру: вдвоем они варили свинцовые битки на костре и швыряли куда ни попадя. И еще он дразнил Хволу «Хвола-страхопола», чем доводил ее до слез. Поэтому Шурку перестали туда звать...

Но и я там не задержалась – после случая с вальжоржетовым платьем.
Вот как это было.
Из-за дождя мы приехали в Резену в 10 ночи, но Хвола не спала и, утащив меня к себе, усадила перед ширмочкой. У неё был целый гардероб. Она исчезала за ширмочкой и открывалась передо мной всякий раз в другом наряде.
Я с послушным интересом разглядывала её, пока она не вышла в платье из вальжоржета.
Кажется, я перестала дышать – от восторга.
– Хочешь примерить? – предложила она.
Она была крупная девочка, настоящий кабанчик, но на мне лучше сидело.
– Снимай, снимай! – заторопилась она.
Я стала стягивать платье через голову, заколки полетели из волос. Понукаемая Хволой, я не додумалась уйти за толстую ширму и выстыдилась перед ней в одном белье.
Хвола посмеялась, и мне стало тоскливо.
Нас позвали перекусить с дороги, но я ушла в угол и стояла там спиной ко всем. Они подумали, что я злая.
Меня отвезли домой на вторые сутки – с каким-то одноглазым провожатым.
Мама изменилась в лице увидев нас.
Оказалось, это садовник Шор (Палестина, «совместное обученье девочек и мальчиков»).
Плевать.
Он пожаловался маме, что я щипала Хволу и не разговаривала ни с кем.
Врун одноглазый!..
Тогда я рассказала про платье.
Мама обругала меня, но хотя бы голова ее перестала мелко дрожать, как перед приступом д(иабета).

У них есть кому донашивать платья после Хволы, заключила она с гневом и унынием, у них Адасса растёт.

.....

Выйдя из «Orpheus», мы еще гуляли по парку.

Снег был приручён, и возле Благородного собрания каток залили.

В тот день на катке Хвола открыла мне тайну.

О том, что она посещает исторический кружок и – *«только тс-с-с, поклянись, что никому ни слова!»* – готов...ся к по... егу в ком...изм че...ез Дн...стр.

Вместе с какой-то Софийкой.

Все уши прожжужала – этой Софийкой.

«Это моя лучшая подруга! Таких как Софийка больше нет! Ее мама-социалистка в тюрьме родила!.. И если бы ты только слышала её доклад о Лаонской коммуне в нашем историческом кружке! Она такая храбрая! Даже сам adeveratul historii[1] господин Адам... (*тут она замялась*)... Короче, я уверена, вы понравитесь друг другу!..»

Я только хлопала глазами, с трудом одолевая всю эту груду сведений, пока Хвола не вернула меня на землю.

– Бежим с нами! – воскликнула она.

– Набегалась уже! – глаза мои наполнились слезами.

– Тебе только восемнадцать! – возмутилась Хвола. – А рассуждаешь как старуха!.. Ты вот скажи, есть ли у тебя *великая цель!..*

– Великая цель?.. Я пока не знаю!..

– Посмотри вокруг! – стала мне подсказывать Хвола. – Неужели тебе ничего не хочется изменить? улучшить?..

– Ничего! – вздохнула я. – Правда!.. А после практики по акушерству мне и замуж не хочется!..

– Господи, ну какое замужество! – расхохоталась Хвола. – Ты сама еще дитя!.. А вот что такое прибавочная стоимость, ты знаешь? Или что такое фаза первоначального накопления капитала?..

Я не знала.

Вместо этого я спросила о судьбе платья из вальжоржета.

До сих пор мне не безразлично было – кто донашивает его?

Но Хвола не помнила этого платья.

Она ходила в исторический кружок, учила русскую грамматику, обливалась ледяной водой по утрам.

Тогда я спросила про одноглазого садовника – все такой же ли он вредный.

«А-а, Шор! – сообразила Хвола. – Ну какой же он вредный! Так, вдовец без глаза. А теперь еще и Сёмка в матросы нанялся!.. Ну ты ведь помнишь Сёмку?..

Не помнила я никакого Сёмку.

– Странно, – удивилась Хвола, – это сынок его!.. Шор последнее с себя снял, чтоб Сёмка на инженера выучился, а он – в матросы сбежал!..

Тут она запнулась.

Подумала о своих родителях, наверное.

Что-то они будут чувствовать после ее побега?!

.....

Побег был назначен на Рождество.

Вот план:

[1] *Adeveratul historii* – преподаватель истории (рум.)

В каникулы Хвола поедет домой в Резену. И Софийка с ней (мол, просто так, у подруги погостить). Резена расположена лоб в лоб с русским городком. Один тонкий чулок Днестра между ними. Это так близко, что с мая по октябрь слышно, как играет духовой оркестр на русском берегу. Хоть целый день сиди и слушай валторны да трампеты. Но для побега лето не подходит: ночи коротки. Другое дело зима (когда жизнь замирает и дни сгибаются под шапкой ночи). Вот зимой-то все и пере-(бе)-гают в ком(...)зм. В белых простынях по белому льду...

И еще никто не возвращался назад – настолько там хорошо!!!

Слушая Хволу, я поеживалась от страха.

В одну минуту Кишинев сделался мне мил.

Не знаю я, что такое комму...зм. А знаю только, что никакая сила не заставит меня бросить училище и перейти реку по ночному льду.

Тем более что моя бабушка говорит: кто в молодости шастает по свету, тот на старость приплывает в богадельню...

## Часть первая (II)

1.

*Лазарев. Стажировка в Москву.*

Лазарев целовал Аню за колонной аэропортовского буфета.

Они были скрыты от глаз, и только буфетчица, когда отступала к зеркальной полке с печеньем-зефиром, могла видеть рыжие борты лазаревской дублёнки.

За буфетной стеной полигонный шум самолетов не смолкал.

Прислушиваясь к нему, Лазарев убеждал себя в том, что не боится отрыва от земли и тысяч метров воздушной пропасти.

Кишинев. Аэропорт. 1974, февраль

Он целовал... нет, скорее тыкался подбородком, ртом и носом в пятно Аниного лица. В общественных местах она была недотрога. Но теперь ему показалось, что его поцелуи и неспокойные руки делают свое дело, его плотское пламя перекидывается на неё, вот и плащик смягчается, и губы рождают ответный вздох...

Но, покосившись на её поднятое лицо, увидел открытые глаза, терпеливо глядевшие в сторону, и щепки помады на губах.

– Ну вот! – отстранился он. – В чём я виноват?..

В новой дубленке ему стало неповоротно, душно.

– Ни в чём! – отвечала Аня.

– Я ведь не развлекаться еду! – расстроился он. – Вот вредная!..

Помолчали.

Лазарев ожидал, она скажет: «А чего! Можешь и поразвлечься!»

Но она не сказала.

– Ты ведь знаешь, *что* для меня Москва! – сбивчиво заговорил он. – Для моего роста! Для всего будущего моего!..

И ничего не добившись этой глуповато-взволнованной тирадой, принужден был добавить:

– Обещаю, Аньк! В музей Толстого в первые же дни!.. А если хочешь – то прямо с самолета!..

Вот это было в точку!

– Найди *все* письма Льва Толстого в Молдавию! – захлопала она ресницами. – Ты понял – *все*?!. Не важно, какого года!..

– Найду все письма! – подтвердил. – С еще до нашей эры!..

– И с этим... Шлёмой поговорить, – прижалась благодарно, – про *харьковский период*!..

– Святое дело – *про харьковский период*! – согласился охотно.

– А это правда, – заулыбался, – что в детстве ты – никому не сказав – ездила в аэропорт?!. Посмотреть, как самолёты взлетают!..

– Было дело! – признала. – Возле той решётки стояла!.. – кивнула куда-то вбок.

Лазарев посмотрел, куда она кивала.

Глухая стена.

– А вообще-то неправда! – передумала. – Так, приезжала с папой за компанию – покупать автодетали у таксистов! Таксисты тут подшипники продавали, я в этом не разбираюсь, просто с *папой* любила ездить – все равно куда!..

«*С папой любила ездить*» было произнесено с нажимом, обидным для Лазарева.

И потому он мог бы себе позволить ответный сарказм. Что-то вроде: «Еще бы! С *таким* папой!»

Но не позволил. Пощадил.

– Подшипники? – спросил нейтрально. – Зачем?..

– «Победу» собирал! – рассказала она с холодком в голосе. – Купить – денег не хватало!..

И Лазарев снова почувствовал укол. Как будто он виноват в том, что папаша ее (вообще-то военный в чине и писательский секретарь) на «Победу» не накопил.

– Ну вот чего ты дуешься? – расстроился он.

– Простить себе не могу, – поделилась она, – что последнее с себя не сняла!.. Для папы!..

Наконец в ее голосе яда не было.

Потом, в самолёте, пока разогревались турбины, он вспоминал, как поразили его открытые Анины глаза, глядевшие в сторону, их терпеливо-скорбное выраженье.

Его затрясло от обиды.

«Хохотушка! – подумал с возмущением. – Баба-ураган!.. Мастер показухи, на самом деле!.. Мол, как ей важно всё, из чего я состою: мои мысли и вкусы, родители, друзья, Гурджиев и Сведенборг!.. Хм-м... Пока не прихлопнула, как комара, – штампиком ЗАГСа по голове! – а теперь и притворяться не желает!..»

Выехали на взлётную полосу.

Взлетели.

Пришлось отвлечься.

«Что держит самолет в воздухе?» – вопрос, неизменно лишавший его сна в ночь накануне вылета.

Помнится, даже конспект завел – с выписками из «Науки и жизнь»: что-то там про плотность воздуха, уравнение Бернулли, расчет подъемной силы крыла...

Фигня.

Животный ужас перевешивал.

Это когда царишь себе на земле, увлекаешься, мыслишь, пьешь лучшие марочные вина с друзьми и вдруг – вздёрнут в пустоту...

Давно он понял: одна его собственная воля к жизни (молодость, жажда славы, чувство будущего...) заставляет самолет лететь. Воля к ночным пляжам Планерского, воля к тартуским лекциям Лотмана о структуре стиха, воля к покорению Мунку Сардык в восточных Саянах...

И не приведи господь постареть.

Постареешь, потеряешь вкус к жизни – никакой самолет не долетит!
.....
Итак, взлетели.
(Пламя целой жизни заколебалось... и уравновесилось.)
Моя взяла.

Так на чем же я остановился...
Ага. Аня.

«Всё показуха! – возобновил свое ожесточённое размышление. – Прямота, крупность! Отчаянность и бесшабашность. С голой шеей в любой мороз. Прыжки с парашютной вышки в ЦПКиО. Выпуклый лоб, роговая гребёнка в волосах – всё на простаков!.. И сам голос, вечно охрипший от эмоций, щёки, надутые со сна – образ, не более того!.. Хм-м, и эта её искренность в интиме (вместе и темперамент, и целомудрие), так трогавшая меня... И как это ей удалось: что еще и не жили вместе, ещё не переспали ни разу, – а я уже в курсе, когда у неё месячные, хотя не спрашивал!.. Гипноз?.. И потом, когда стали жить, спать в одной кровати – всегда её тяжёлая нога на мне, куда ни повернусь: на правый бок, на левый!.. Ну и самое главное... этот ее папаша из озера, *третий Ша (*как по *голосам* Исаич[1] припечатал!), из-за которого теперь по архивам таскаться, письма Толстого искать!.. Надоело!.. Ну и ладно!.. Значит, все к лучшему: стажировка, отъезд, прививка разлуки в застоявшиеся... гм-м... отношения!»

Самолёт набрал высоту.
Из-за занавески возникла стюардесса с подносиком: газировка, леденцы «Взлетные».
Все пришло в равновесие.

Мысль о *прививке разлуки* понравилась ему.
Он повеселел, хмыкнул и, сунувшись в проход между креслами, стал делать знаки Виле К-ду, бывшему однокласснику, 2-му дирижеру Оперного, сидевшему в пяти рядах сзади.

В аэропорту Виля был с молодой особой, очень эффектной. И лишь кивнул издалека. А теперь запросто пришёл и сказал: «Привет, Лазо!»
Лазарев тоже поднялся, и они ушли в хвост самолета, где было два свободных кресла через проход.
Разговорились – кто, чего.

Вилю взяли в аспирантуру Гнесинки. Вот, летит.

– А я в «Известия» на стажировку! – поспешил отбить Лазарев. – Ну и еще там... в Ленинку да в музей Толстого *с тайным поручением*!..
Говорили пригибаясь друг к другу через проход, пока Лазарев не осознал, что подсчитывает, кто пригибается дальше. Выходило, что он.
Тогда он приклеился к подголовнику.

Виля был давний *кент*, хотя один на один дружили только в детстве, со 2-го по 4-й класс музыкальной школы. Пока отец не застал Лазарева занимающимся на скрипке... лёжа. Поверх заправленной постели (что *усугубляло*). И не перевёл в 3-ю мужскую на Садовой.
Ха! Наказал!
В 3-й мужской было в 100 раз интересней, чем в музыкальной.

[1] В какой связи Солженицын так припечатал ее папашу, было не понятно. Как и то, что означает это «третий Ша». Но Исаич и вправду так припечатал в интервью ВВС. Своими ушами Лазарев не слышал, но несколько знакомых подтвердили, что – да, было дело, припечатал.

Один Усов Иван чего стоил! Сын *того самого* Родиона Усова из ЦК. Прогульщик и хулиган, искатель тайников с немецким оружием на боюканской горке. Защитник уличных собак, предводитель *банды*, нападавшей на гицелов[1].

Благодаря Усову пересеклись вторично с Вилей – спустя двенадцать лет. На почве туризма. Усов теперь был скалолаз, боксер и жестокий бабник. Со сдвоенной *фатерой* на Ленина. Это 6 (*шесть*!) комнат в лучшем квартале города. И уже не дворняг бездомных, а красавца-дога держал для полной упаковки.

Усовский стиль жизни распространялся на Лазарева вплоть до женитьбы на Ане.

В браке Лазарев полагал себя счастливым, но теперь, давясь распахнутым Вилиным лоском, готов был пересмотреть итоги 10-летия.

Спасала стажировка в «Известиях». Она не уступала аспирантуре Гнесинского.

Виля не обязан знать, что стажировка выпала не за красивые глаза. А благодаря *третьему Ша* (посмертные связи секретаря Совписа и... подполковника КГБ!).

А вот про то, что Аня «англичанка» с ин-яза... как раз неплохо бы ввернуть.

Летели славно.

Самолет точно зашит был в небо.

Жгли анекдоты. Виля – два неприличных, потом политический. Значит, доверяет. Признает за равного.

Польщенный Лазарев чуть было не поделился про *харьковский период* и *музей Толстого*. Уже на языке вертелось. Но... не сболтнул, молодец.

Стал развивать про «The Catcher in the Rye» («Над пропастью во ржи» – англ.).

Дал понять, что читал в оригинале. Пускай и не без помощи жены-«англичанки» (выпускницы ин-яза).

Но Виля тронул за рукав.

– Почитать дашь? – спросил он понизив голос. – На одну ночь? – и даже поозирался по сторонам.

– Сэлинджера?.. – удивился Лазарев. – По-английски?..

– Тестя!.. – одними губами нарисовал Виля.

– Изъяли! – так же по-рыбьи неслышно отвечал Лазарев.

И еще не веря удаче, перевороту, подарку судьбы (исторически *третий Ша* никогда не был его тестем, просто не успел в этой роли побывать), дошептал:

– Копирки от пишмашинки – и те!..

И крест-накрест повел ребром правой ладони в воздухе.

В глазах Вили непонимание боролось с восторгом.

Он не понял, что означает этот секущий полет лазаревской ладони. А спросить – постеснялся.

Лазарев был доволен собой. Тем более что про копирки... ха-ха... придумалось на ходу. Бесконтрольный выброс фантазии!

А что?!

А если это случай такой: когда необходимо все козыри – и поживее – на стол!..

2.

*Хвола. По ту сторону Днестра. 1935.*

Когда в НКВД г.Рыбница Хволе Москович предложено было самой определить свою наци-

[1] *гицелы* – люди, нанятые для отлова бездомных собак.

ональность на основе национального самосознания, она назвалась молдованкой. Так Софийка научила (с которой вместе *переходили*). И впрямь – это ускорило процедуры (ИИП-42[1]). Численность молдован в Молдавской АССР уступала численности украинцев и русских. Местный НКВД был заинтересован в притоке коренного населения.

Записали в училище сахарного завода, поселили в общежитии.

Все другие учащиеся были из советских сёл.

Хвола пробовала завязать с ними товарищеские отношения, но поняла, что отпугивает их своим внешним видом: полнотой, рыжими волосами.

Даже спецодежда, единая для всех, не сделала её как все.

*Рыбница, февраль 1935.*

Софийку меньше избегали. Она была с гладким волосом, худая. В разговоре произносила слова быстро-быстро, чтоб утопить акцент. К тому же она стала называть себя «Соня», это имя знают и на левом берегу.

Не то, что «Хво-о-о-ола».

По воскресеньям Хвола уходила на рынок – говорить по-русски с молдаванами, русскими, украинцами. Подражать их разговору.

Софийка высмеивала её за эту старательность: мол, с ними не говорить надо!

«А что же тогда с ними *надо*?» – не поняла Хвола.

И... отвела глаза.

Столько пугающей ясности выступило в лице подруги.

.....

«С *ИИП-42*, – внушала она Хволе, – мы всегда будем *перебежчики*! Особенно в этой дыре! Но – рванули в Тирасполь, а?!. Там набор кадров на заводы, обучимся советской специальности! Получим паспорт СССР!»

«В Тирасполь? Без открепления? – ужасалась Хвола. – Нельзя!.. Нельзя!..

Тогда Софийка пригрозила: ты как хочешь, а я рвану!

Поражал ее авантюризм: наврала в НКВД, что ей 19 лет, чтоб в детприемнике не закрыли. Нанялась на поденку в дом советского инженера и все деньги тратит на духи-помаду. В суповой кастрюле варит тушь для ресниц. А теперь вот – в Тирасполь без открепления!

Хвола не могла без открепления.

Она оделась, привела голову в порядок, чтобы идти к секретарю за откреплением. Но, едва представив секретаря училища – в белой украинской рубахе, толстого, с бородавками по всему лицу, – охнула и не пошла. Такой он крикун.

Но Софийка права: нужна советская специальность! В училище всё не то. Обещали обучать технологии сахарного производства. А на деле? Буртованье свеклы в подвалах с крысами. Изо дня в день, из недели в неделю.

И насчет *ИИП-42* – Софийка опять же права: клеймо на всю жизнь.

.....

Поэтому послушалась ее.

Уехали *без открепления*.

[1] *ИИП-42* – спец.справка о временной регистрации перешедших (нелегально) в советское подданство из подданства капстраны.

3.

В Тирасполе не знали их прошлого. Но сюда съехались толпы из бывшего вольнонаемного состава армии. Этому контингенту всё доставалось в первую очередь: работа, профтехшколы, расселение по общежитиям.

Сняли комнату у сторожа кладбища, вдовца. Он был жлобан. Но согласился не брать денег за постой, а чтоб с поденкой помогали: стирка, огород. Угадал, что Софийка проворная. Сам он занимался незаконной выпечкой опресноков и открытым попрошайничеством. И не скрывал сионистских взглядов, неприемлемых для девочек.

...В марте город наводнили многодетные семьи с Украины. Про них распускали страшные слухи – будто бы они ели человечину в голодное время и с них взята подписка о неразглашении.

Обстановка в городе стала тревожной.

Тогда сын сторожа насоветовал: бегите в Харьков, я там учился на электромеханика и мечтаю вернуться. Это огромный город, в нём жизнь кипит.

Между тем он не отходил от Софийки.

Даже лица их делались похожи, когда рядом. Даже ресницами они хлопали одновременно.

Сын сторожа дал Софийке адрес своего дружка в Харькове. Некоего Семёна.

«Это золотой парень, тоже с ИИП-42, но выправил метрику и теперь *как все*!.. Попросите, чтоб и вас научил!..».

Перед сном в темноте Софийка заплакала тоненьким голоском и, дождавшись, пока Хвола встревожится и станет задавать вопросы, сообщила, что она и *Шлёма* (сын сторожа) теперь супруги и ее планы поменялись. Завтра она едет в Харьков, где выправляют метрики на *как у всех*, а послезавтра назад к Шлёме.

«Но только не оставляй меня, Хво!.. – разразилась она слезами. – Ведь ты мне как сестра!»

«И ты мне! – разволновалась Хвола. – Но только... как это ты так, а?!. Вчера – *господин Адам*... Сегодня – *Шлёма*!..»

«А вот так! – отрезала Софийка. – Вот так!..»

Бежали в Харьков в вагонах с фруктами.

Духота – в 5 утра дышать нечем.

*Харьков. Июнь 1935.*

Отыскали дом, где Шлемовский дружок живет.

Марля на дверях.

Блаженный дух сырости из темноты квартиры.

Стали стучать по дверному косяку в коричневой тусклой краске.

Косяк мягкий, стука не слышно.

Наконец Шлёмин дружок вышел.

Хвола... ахнула.

Это был Сёмка из Резены (сын Шора одноглазого).

Который в матросы сбежал.

– Теперь уже не Сёмка, а Пётр! – стал оправдываться он. – И не в матросы, а в судовые механики! Пока не увидел, что и в море на корабле имеет место эксплуатация человека человеком!.. Ладно, зачем пришли? – и выставил плечо, преграждая вход в квартиру.

Сбивчиво объяснили ему – зачем.

–...Ложь, я не выправлял себе метрику!.. – гримаса стыда прошла по его лицу. – Я закончил ФЗО автотранспорта и вам советую! Только автотранспорт даёт путёвку в жизнь, а также военное звание!.. Мой совет – езжайте в Ленинград, там женщин тоже мобилизуют!

А в дом не впустил.
Хволе передалась неловкость, исходившая от него.

Но Софийку так просто не выставить.
«Молодой человек! – пропела она. – Мне... нужно... выправить... метрику!..»
Есть в ней такая способность – заставлять считаться с собой.

- - - - -

Через месяц – с выправленными (*Место рождения – пос. Лидиевка, Богдановский р.* Круглая печать *Сов. хоз-во «Красный Виноградарь», УССР*») метриками и спецлитерой для получения паспорта СССР бежали в Ленинград.
Спасибо, Пётр (бывш. Семён)!

Хотя – редкий случай! – чем-то он Софийке не понравился («Не обижайся, Хво, но у меня прям колики в животе – от его резкого голоса!»). Надо же! Такая душка со всеми мужчинами, с ним она завела тон грубый, даже издевательский.

Зато Пётр на вокзал пришел. Губы дрожат. В глазах слезы. Не выпускает софийкину руку из руки: «Я знаю, мы будем вместе!.. Мы обязательно будем вместе!»
(Тоже мне. Шлёма №2. Господин Адам №3)
«Ну хорошо!.. ну будем вместе!.. ну чего распереживался-то?!» – успокаивала его Софийка (строя при этом – за спиной его – издевательские рожи!).

Эх, если бы он видел, как она в поезде себя поведет!
Все вагонные проводники ей мужья.

«Поступлю в ФЗО автотранспорта! – планировала Хвола. – Получу паспорт СССР!.. И – даже видеть эту *фреху* не хочу!..»
Потому что Софийка совсем потеряла стыд.
В поезде проводники ей покоя не давали. А она потешалась над Петром, над его любовью. И над тетрадкой стихов, которые он отдал ей на харьковском перроне.
Оказывается, он еще и стихи публикует! Под именем «Петр Ильин».
.....

Хвола не знала, верить или не верить, но Софийка утверждала, что... («*Только никому не говори, ладно?!*»), так вот... она уверяла, что (*по заданию ОГПУ*!) Пётр (бывш. Сёмка) возвращается домой, за Днестр, – для разведработы...

4.

*Лазарев. 1974.*
Для Вили зарезервировано было в поспредстве, а Лазарева ждала родня (или кем они нам приходятся?) – баба Дуня и Шлёма. Это в районе Площади Ногина, в переулках.
Но Виля позвал в поспредство, и Лазареву стоило трудов не выдать удовольствие, с каким он это приглашение принял.

*1974, февраль, Москва. Внуковский аэропорт.*

Виля придержал приглашение до последнего. Было видно, что рассказ об изъятых копирках произвел на него впечатление, но он желал перепроверить себя. Понаблюдать, как Лазарев поведет себя при входе в столицу. Не запаникует ли, как провинциал. Не затрещит ли крыльями по воде, как селезень.

В ответ Лазарев поскучнел, напустил флегму. Даже позволил себе пропустить 2-3 Вилины реплики мимо ушей, оставить их без внимания.

Угадал! В точку!

Вышли из аэропорта.

Сели в 511-й радиальный.

Поехали.

Лазарев смотрел в окно, в сторону.

Окраинные лесосеки в пепельном снегу были растрёпаны, как капуста. В берёзах, выдавленных из леса на шоссе, зияли черноты и прогалины. И за всем этим – сахарно и зубко – качанела Москва.

Во всю автобусную дорогу от Внуково до Юго-Западной Виля что-то говорил, острил, и время от времени понижал голос, чтобы забросить еще крючки на тему тестя, но Лазарев как бы ушел в себя.

Он знал, что не подкачал.

Прошел проверку.

И действительно: Виля позвал в поспредство.

.....

*В поспредстве МССР.*

Спальня была на 6 мест, с дебильно-высокими потолками.

Вечером выбежали в гастроном на Кузнецкий.

«Не мороз, а суповой концентрат мороза! – заметил Лазарев на бегу. – Разводить в пропорции чайная ложка на цистерну!» – и облизнулся от вкусности определения, от того, что выбил ещё пол-очка в глазах Вили. Не так уж мало очков за неполный день.

В спальне было слабо натоплено. Лазарев загодя подложил кальсоны под подушку, чтоб наживить в темноте. Не красоваться же в кальсонах перед Вилей.

Перед сном ходил на этаж звонить в Кишинев.

У Ани был слабый голос. Именно такой голос, от которого (и она знает об этом) у него портится настроение.

Она удивилась, узнав, что он ночует в поспредстве (*«А как же – с этим... Шлёмой поговорить – про харьковский период?!»*).

– Уф-ф! – вздохнул Лазарев. – Вот на днях зайду и поговорю! Про харьковский период!.. Но умоляю – обойдись без сарказма!..

– По-моему, я говорю своим обычным тоном!..

– Это только по-твоему!..

– Я говорю как умею! – уныло и по-прежнему с подвохом отвечала Аня.

Унылые тона ее голоса подавляли.

– Да прилетай же на каникулы! – загремел он. – Нюська – свистуська!.. А?.. Вот вместе и пойдем – в музей Толстого! Письма искать!..

– Я бы прилетела... – голос Ани зазвучал безадресно, тускло, – если б не... – тут она еще и запнулась, и Лазарев угадал, что она удаляется от посторонних ушей (теща Соф.Мих.? Витька?) в спальню, и телефонный провод путается под ногами, – ...если б не за-ле-те-ла! Уж извини за каламбур!..

И вот – надо же! – последняя часть фразы была произнесена ею совершенно по-другому.
Звонко. С твердой артикуляцией.
В голосе её краски проявились.
– Я рад!.. – выпалил он.
Он читал, что женщине важна первая реакция.
.....

...Он не разбирал, что в нём: восторг или удручённость.
Если восторг, то леденящий.
Если удрученность, то в блеске победы.
Подумать только – всего-то пару лет назад – влюбиться в какую-то женщину, с кучей каких-то своих, особенных, посторонних тебе свойств (при этом завуча школы и замужнюю) и добиться того, чтоб она целиком восприняла тебя, зачала твоего ребенка!

Он помнил, как влюбился в Аню.
Три года тому назад.
В Ботаническом саду на Боюканах.
Там, где огородные участки, закреплённые за школами.
Была осень, поход 9-х классов на огороды...

А до того – ну едва знакомы. Просто коллеги по педсоставу.
И вот – влюбиться, навеять ей свою любовную волю.
Я победил!

Вернувшись в спальную залу, он храбро извлек кальсоны (розового позорного цвета) из-под подушки.
Надел при Виле.
Плевать, что Виля подумает.
Аня зачала от меня. Черноглазая, смелая... Смешная! – до сих пор треть зарплаты – в фонд помощи Вьетнаму. Нет, теперь в фонд помощи Анголе и Мозамбику...
А походка! Всегда с разбега. Всегда из гущи дел, споров, битв за справедливость! Просто подойти и усесться на стул – и то с разбега! Столько искреннего наступления. И это синее платье на Новый год – выше колен. Роговая гребёнка в волосах!..

Спасибо.
Значит, придется все-таки задрать штаны и – в музей Толстого.
И на неведомого этого Шлёму – время убить. Расспросить про *харьковский период*. Выручать *третьего Ша*.

Ну, Нюська!
Нюська-свистуська!..
И ведь всего-то три года как знакомы!

5.
*«Нюська-свистуська». 3 года назад.*
Первый «Ша» – это Шекспир (1564–1615).
Второй – Шолохов (1905–... )
Третий – Шор (Ильин) Пётр (1908–1969).

Теперь понятно – откуда «*третий Ша*»?

Но в чем же смысл сей остроумной формулы?..

В проблеме авторства.

В том, что на всем выгоне мировой литературы именно эти три экземпляра: столбы шекспировских томов, донской горько-полынный эпос и, наконец, картонное, с тесемками, *ДЕЛО №* цвета стружки, нелегально вывезенное за рубеж...– взбесились и понесли, задурили и заплясали, сбросив с себя седоков, считавшихся их творцами.

Но если с первых двух – как с гуся вода, то третий – дорого заплатил.

Слух по обе стороны границы прикончил его. Запятнал и прижизненно, и посмертно.

«Николай Леонтьевич! Коля! – написала Маевскому (папиному воспитаннику) на домашний адрес. – Год и 3 месяца т.н. я безуспешно пробивалась к тебе как в рабочий кабинет, так и в письм. виде.

"*Задержите Фогла*! – написала я тебе (после того, как в кабинет не пустили). – *Через 3 дня их делегация покидает СССР, прошу досмотреть на границе его багаж и конфисковать рукопись моего папы!*".

В ответ – тишина.

Только через 2,5 недели мне позвонили и передали с твоих слов – что "*все под контролем*"!

Эх, если бы!

Но вот, прошло не так много времени.

В курсе ли ты, что с той не-конфискованной рукописью стало?

Я уверена, что – в курсе.

Теперь-то помоги. Пускай с непоправимым опозданием.

Сердце глохнет... – когда слышу это "*третий Ша...*".

Вспомни, Коля, как папа тебя любил (и какое участие в тебе принял).

Вспомни, что для меня ты не только офицер КГБ, но еще и друг юности, не дававший мне прохода весь 1-й курс, пока я замуж не вышла.

Короче, надо что-то делать!

Надо опровергнуть клевету!».

.....

Коля наутро позвонил.

– Не вопрос, – иронически пролаял в трубку, – будем опровергать!.. Архив-то остался после Петр Федорча? Бумаги там какие-нибудь?..

Аня: «Все пропало при переезде!..»

Коля: «Кто переезжал?.. куда переезжал?..»

Аня: «Мы переезжали!.. С Ботаники в Центр!..»

Маевский: «Зачем переезжали?»

Аня: «У сына травма – насчет всего, что с Ботаникой связано! Особенно с озером!..»

Маевский: «Что еще пропало?.. кроме бумаг?».

Аня (*вытирая слезы*): «Только бумаги!.. Они в картонке были!..»

Маевский: «А картонка – где хранилась? У тебя – хранилась? Или не у тебя – хранилась?»

Аня: «У мамы хранилась! В картонке такой с цветочками... от мужских ботинок...»

Маевский: «Мама не ликвиднула?»

Аня: «Мама?! Зачем?!.»

Маевский: «А развелись почему – отец с матерью... на старости лет?»

Аня: «Коля-а!..»

Маевский: «Так! Всё! Сегодня в 6 на Комсомольском! Ротонду над каскадом знаешь? Устраивает?.. Нет (*передумав на ходу*), сегодня футбол на Республиканском!.. На футболе в семь!..»

.....

Коля был большой, быстрый. И эта его хаотическая быстрота в движеньях, как и короткий точный разговор (остро нарезающий твои встречные фразы), – все это неизменно поражало тебя, сталкивало с рельс. Еще тогда, в университетской юности (он с юрфака, старше на курс), просто потрепаться, посмеяться, – и то нужно было заранее привести мысли в порядок. Сгруппироваться – для разговора с ним.

Но при этом он был свой. Трогательный. Один румянец чего стоит! Не понятно, как в КГБ (с их культом незаметности) держат офицера с таким румянцем! А что агрессор – так это наносное. Если обращаться «Коля... Коленька», то он оттаивает. Выходит из амплуа. И тогда в нем другое выступает. Беззащитность. Быстрая готовность к драке. Такое уж его детство было: детдомовское, жестокое (он сам рассказал). И не просто дет-домовское, но дет-*врагов народа*-домовское.

Короче, он славный.

Другое дело, что его по рукам бить нужно: «Коля, не наглей!.. Коля, руки убери!»

Такой он ловелас неисправимый.

.....

В шесть часов встретились на Бендерской, возле телефонной станции. Пересекли тонкий, под тополиным шатром, проспект. Достигли Дома офицеров с площадкой под фонарями. Сигаретный дым стоял там коромыслом: это роту срочников согнали, со штык-ножами поверх шинелей.

– Если черновиков нет, – заметил Коля, – то как мы его авторство докажем?..

И, не дожидаясь ответа, выступил первый.

– Есть газетка с ихним заявлением о плагиате!.. Есть перепечатки с той газетки в Англии и в Германии! Есть данные о подписантах! Всего семь человек, включая Фогла! Но где они и где мы! И отношений дипломатических нет!...

– Руки убери! – увернулась Аня.

Вот кадр!

– Чего – убери? – обиделся Маевский. – Нет, чего убери?..

Но руку – с талии – убрал.

– Я... замужем, Коль! – напомнила Аня самым примирительным тоном.

*23 мая 1971 г., Кишинев.*

И тогда народ повалил.

Много и густо.

До того не выдавали себя, шли по двое-трое, растворены в городской толпе.

И вдруг – сбросили маски!

У-у-хающей прорвой к стадиону.

Конная милиция выконилась на Подольской.

Строй солдат побежал от Дома офицеров.

– Идем отсюда! – Аня вцепилась в локоть Маевского.

– Страшно? – засмеялся.

И оттащил к темному тополю на поребрике тротуара (солнце еще каталось по миске неба, но тополя уже темнели).

– Я за-а-амужем! – передразнил Николай под тополем. – А с сыном скульптора кто встречается?..

– С каким сыном скульптора? – ахнула Аня. – С Лазаревым?..

– Ну!..

– Да ты что?.. Мы коллеги по работе!..

А народ все наступал.

С двух сторон обтекал их тополь.

– Просто коллегу по работе, – Коля усмехнулся, – на Новый год в семью не приводят!.. А потом еще и к Ивану Усову на квартиру!..

И, пока пораженная его осведомленностью Аня приходила в себя, добавил жалея:

– Этот Усов меня и интересует! А Лазарев *твой* так... – повертел кистью руки, – постольку-поскольку!..

– Он никакой не *мой*! – выдавила Аня.

– Этот Усов, – не слушал Коля, – это самого Родион Петровича[1] сын, а компании водит подозрительные!.. Ну вот при тебе... кто там еще был?..

– Ты... ты... – пролепетала Аня, – вербуешь меня?..

– Не надейся! – перебил Коля. – Женщин я использую только по прямому назначению!.. Но я не понял! – посмеялся в спину. – Мы клевету на Пётр Фёдорча будем опровергать?.. Или оставим все как есть?..

Аня замедлилась.

Подошел. Взял под локоть, крепко и сочувственно.

Втеснились в толпу.

Вот и стадион показался: крепость, обнесенная стеной, с бойницами кассовых окошек.

Крепость уже пала к этому часу, если судить по роковому *уууу*, доносящемуся из-за стен.

– Что касается Лазарева, – объявила Аня после продолжительного молчания, – то тут никаких секретов!.. А вот про Усова... извини!..

– Аня!.. – возмутился он. – Ради отца!..

От обиды его трясло.

– Нет! – повторила.

– Тогда хочешь знать, кто такой Фогл? – рассвирипел Коля. – И чего это он вдруг... с другого конца света... приехал твоего мужа спасать?

Протиснулись в ворота Республиканского.

Поднялись на трибуну.

Вид с трибуны был – врезка тропическая. Точно во всякую клетку мира – от игрового поля до зрительских сот – ампулы с краской впрыснуты.

– Ну?! – напомнил Коля. – Кто еще у Усова был?..

– Нет!..

И вот тогда – разверз портфель и показал ...

Подразнил на расстоянии!

– Говори! – ударил по руке (чтоб не тянулась). – Говори!..

– Я только про Лазарева!..

– Давай!..

– Подожди!..

Маевский: «Ну, что еще?..»

**Рапорт – РНО – 99904(14)**

А. Пешкова: «Подожди... я хотела спросить!..»

Маевский: «Что?!.»

А. Пешкова: «А эти семеро, включая Фогла, они что говорят? Кто настоящий автор, по их мнению?»

[1] Родион Петрович Усов – в то время зампредсовмина МССР.

Маевский: «Плевать на их мнение! Захотим – докажем, что в природе не было! Подумаешь, Лев Толстой ему написал!»

А. Пешкова: «То есть получается – он *был*!?.. Раз Лев Толстой ему написал!».

Маевский: «Я не говорил – что *не был*!.. Я говорил: захотим – докажем, что не было!..»

А. Пешкова: «Как его зовут?»

Маевский: «Твоя очередь рассказывать!».

А. Пешкова: «С Лазаревым мы в Ботаническом саду подружились! У нас там огороды, закрепленные за школой!»

6.

*Огороды, закрепленные за школой...*

**Рапорт – РНО – 99904(15)**

«Шли на разметку. Шеренгами по Подольской. Два 9-х и три 8-х класса. На перекрёстках, как при сплаве леса, сдерживали напор школярской толпы. Лазарев нёс зонтик над собой и маленькой Бертой-англичанкой. Зонт выворачивало от ветра. Лазарев был новый в коллективе. Да и в педагогике новый (до этого, кажется, он на радио работал). Он не знал, что можно, что нельзя делать педагогу школы. На Искре, возле зубной поликлинники, бросил Берту с зонтом, а сам ринулся через дорогу, в подвальчик диетстоловой за сигаретами. Когда, подкурив, вернулся к колонне, ему было сделано замечание. И указано выбросить сигарету. Он был разъярен. Потом шли через старобоюканскую магалу. Здесь всё как при царизме – немощённое, косое. Земля снимается под ногами от течи. В Ботанический вошли с тылов. Красные лоскуты стали попадаться среди травы: разметки огородов, выделенных другим школам. На горизонте молния. Близким громом оглушило. Какие-то 8-классницы плакали от страха, а мальчишки дразнили их...».

*Дождь стал опрокинуто-сильным.*

*Но за платановой рощей показалось каменная городня. Целый блиндаж, полузарытый в землю.*

*Завели всю школьную колонну вовнутрь. Объявили привал.*

*Теперь Лазарев вольно курил под стрехой, следя, как плывут зеленые медузы папоротника под дождём.*

*Небо задернело от влаги.*

*На холме в отдаленье парили Новые Боюканы: строительные каркасы, краны.*

*Взнузданная вода прибывала. Лазарев стал искать взглядом дуру-англичанку (обругавшую его на Искре, когда за сигаретами бегал). Она – старшая по полномочиям. Думает ли эвакуировать детей?*

*Увидел её в противоположном углу комнаты.*

*Она через голову снимала мокрый свитер. Свитер буксовал на лбу. Все её тело присягнуло усилию, и фуфайка, выбившись из рейтуз, оголила мясную полоску живота.*

*А далее произошло вот что: скорчевав свитер и угадав, откуда за ней подглядывают, она посмотрела на Лазарева. Посмотрела через всё помещение, через десятки голов, затылков, спин. И в лице её была одна смущённая женственность.*

*Всю жизнь Лазарев горевал над тайной женственности, как если б ему открылась уязвимость женской красоты. Женская красота доставляла ему страдание, если только не принадлежала ему. Вот и сейчас он был уязвлён и ранен[1].*

*– Возвращаемся в школу! – задиристым хриплым голосом объявила Аня.*

*Она объявила это всем классам, всем учителям. Но на самом деле это адресовалось Лазареву одному.*

[1] *Все, что выделено этим шрифтом,* – Коле Маевскому не рассказано.

Выбрались из низины. Дождевое водево отлегло.

*Лазарев заболел. Слёг в родительской квартире на Ленина, 64.*

*Только через неделю вышел на работу.*

*Перед дверьми учительской ему попалась Аня, и он улыбнулся ей в воспоминание о смятении, причинённом ею.*

**Рапорт – РНО – 99904(15)**

«Вот и всё, Коля. Как пришли, так и ушли из Ботанического, дождь нам все планы нарушил! А что на Новый год у Лазарева дома была, так это педагогический коллектив у нас такой: опекают меня после всех несчастий с папой, с Лёвушкой!..»

7.

*Левушка. Амнистия. 3 года спустя.*

Заскучали. Встали.

Перхоть между рамами.

Пешков отдал попутчикам газету, стал смотреть в окно.

Но заискрил ветер. Снега повалили.

Поезд стоял как распряжённый. Как будто телегу забыли в поле.

Наконец в метельной кожуре встречный показался.

Тронулись по-черепашьи.

*Через 1,5 часа.*

Кишинев белел как курятник.

Снегоуборочные «Зилы» заново чертили городской план в снежной непаши.

Ботаника была отрезана от города. Троллейбусы туда не шли. Останавливались на кругу перед «Комфортом»[1] и выпускали людей.

Целая ходынка горожан одолевала Ботаническую горку.

Пешков тоже пошел.

Но его бросило в жар после сотни метров. Лёгкие не качали.

Постоял.

Собственнная немощь озадачивала. Посмотреть со стороны: шея, грудь как у быка. А дыхалка дрянь. И чемодан руку оттягивает.

Вернулся в «Комфорт» погреться.

Здесь брали румынский гарнитур в 66-м. Витюшка плющил нос о тёмно-коньячную политуру буфета. Распилы-деки околдовывали его. Под блестящей политурой они казались деревьями в объёмном изображении... И у Аньки тоже был свой шиз: каждый месяц мебель переставлять. Буфет, подбуфетник, два кресла обитых розовым сукном... переставляли по квартире то так, то этак.

Ладно, проехали.

Пешков походил по залам с мебелью, пока – от запаха лака – не раскашлялся до колец в глазах. До тяжелой испарины.

Вернулся на ж.д. вокзал.

Там все запроблено народом, присесть негде. И чемодан мешает. Сбросить бы.

Вспомнил про Марью-домработницу. Она жила на Мунчештской. Это тут рядом.

[1] *«Комфорт»* – мебельный магазин-салон возле ж.д. вокзала.

*На Мунчештской. 25 минут спустя.*
Шел вдоль заборных штакетин, заглядывая во дворы
Он не помнил, где Марья живёт.
Печные дымки клонило на одну сторону. Тишина как в поле.
Вдруг смотрит: Яков Марьин! с папироской возле калитки.

Тот и бровью не повел при появлении Пешкова с чемоданом. Как будто Пешков каждый день тут мимо калитки ходит.

Вошли во двор.
Струны винограда в снегу.
Самой Марьи не было, она и в буреган на подёнке.
Яков рассказал, что она уж не убирается у Пешковых.
– Анька отвадила? – догадался Пешков. – Новая квартира, новый муж, к чему старая домработница?..

Вошли в дом.
Яков не проявлял ни радости, ни недоумения.
– Я пересижу, ладно? – спросил Пешков. – Пока троллейбусы пустят!..

Будь это не Яков, а кто-то другой, то одним только «пересижу, ладно» не обошлось бы. Надо было бы развернуть про амнистию: мол, так и так, в честь 50-летия МССР!.. А пока сидел, Анька обзавелась ё...м, затем и квартиру поменяла, сами в центре живут, а меня в 1-комнатную на Ботанике запихнули! Вот, зашел к вам пересидеть, пока троллейбусы в горку пустят.

Но ничего такого развертывать не пришлось. Потому что Яков и сам лишнего не спросит, и от себя не оторвет.

Молчание воцарилось.

– Вы сколько тут? – спросил Пешков (чтоб совсем уж не молчать). – С до-сорокового или спосле?.. [1]
И показал на потолок, стены.

– Э-э! – махнул рукой Яков.
– Что – *э-э*? – удивился Пешков. – А, ладно... твое дело!..

Чучело иконное темнело на комоде.
– Мыкола Угодник?.. – показал на него Пешков.
И – не поленился, встал со стула, подошел.
– Та-и-сий! – прочитал по слогам. – Таисий какой-то!.. А говорите, что Мыкола...
Хотя Яков ничего не говорил.

– А чья власть на дворе, вы хоть в курсе? – Пешков посмеялся его молчанию. – Никита Хрущев?.. Сталин?.. Маршал Антонеску?..
И выглянул в окно, скучая.

*Через 40 минут.*
Марья пришла.
Батрачка батрачкой. И глаза без грифеля. Из того же тонкого сукна, что и все лицо.

[1] Он имел в виду 28.6.1940 – когда Молдавия перешла от Румынии к СССР.

– Вот, освободился! – поприветствовал ее Пешков. – По случаю 50-летия МССР!..

Заварила ему терновник от кашля.

Яков спустился в погреб.
Принёс кувшин с вином. Струганину, брынзу, соленья на тарелке.
Разговор, взгляд в глаза, правила гостеприимства – в нём всё включилось с приходом Марьи.

– Тут в Молдавии русский царь Николай до какого года правил – до одна тыща девятьсот шестнадцатого, так? – Пешков и за кувшином вина не сворачивал темы. – До отреченья, правильно?.. Потом этот ваш Karol von Hohenzollern, так? – справившись с произнесением трудной фамилии, он даже пальцы стал загибать от удовольствия. – Потом Йоська-усатый, начиная с 28.6.1940, правильно?.. Потом этот снова ваш... Хория Сима, фашистский деятель, так?..
Хозяева только слушали.
Даже не отвечали «так».
Не говоря уж о том, чтобы отвечать «правильно» или «неправильно».
– Нет, мне нравится, какие вы скромные! – заключил Пешков. – Не то что Петр Федорч, тесть! Петр Федорча послушать, вы тут *sub jug** (под игом – *рум.*) боярским жили – до 28-го июня! Пока он вас не освободил!
И понурился. Не знал, о чем дальше говорить.

Он ушел в свои мысли и, конечно, не перехватил никакого там особенного перевзгляда между Марьей и Яковым после упоминания о бывшем тесте.
А между тем – перевзгляд такой имел место.

– Гриша, Зина?.. – поднял голову. – Ромка, Лена?.. Где все?..
Детей, он помнил, было шесть.
– Зина замужем! – Марья подала мясо с домашней лапшой. – Гриша поженился!..
– Поздравляю! – обрадовался Пешков, но примолк с угрозой. Теперь его черёд был рассказывать, а ему не хотелось.
Да и кашль не оставлял.
– Бронхи! – объяснил. – Варили шины, и всякая другая гальваника... там!.. – и ткнул пальцем в неопределенном направлении.
Тогда Яков, ни о чем не спрашивая, встал из-за стола. Вышел из комнаты.

– Так себе работа... отупляющая! – добавил Пешков. – Зато мозги отдыхают!..
С кувшином, наново наполненным, Яков из погреба вернулся.
По поверхности черного вина седые пузырьки плясали.

Из-за пляшущих этих пузырьков Пешков опять-таки упустил тот особенный момент, когда на табуретке рядом ним возникла обувная коробка.

Ну коробка – так коробка, Пешков не придал значенья.
– Давай всего хорошего! – Яков поднял чашку с вином.

Ели молча, без неловкости. Марья обработана чувством такта. Всё понимает, но не выносит сужденья.
Только один раз Пешков помнил ее сбитой с толку. Лет семь или восемь тому. Когда Витюшка вернулся со двора и сказал, что любит отца Вовы Елисеева больше, чем Пешкова, потому что елисеевский отец ходит с другими папашами пить вино в «Бусуйок»[1] а Пешков не ходит.

[1] *«Бусуйок»* – гастроном с винной палаткой на Ботанике.

– Марья, – спросил Пешков, – а помните, как Витюшка приходит со двора и говорит, что он другого папашу любит больше!.. из-за того, что я с соседями не бухаю!..

– Не помню, – сразу отвечала Марья. Хоть видно, что помнит.

Ещё попили-поели.

Снег рос. Тишина необзорная.

– В Бога верите всерьез или для порядка? – Пешков кивнул на Николу – Таисия.

– Всерьез для порядка! – отвечал Яков.

– Ясно!.. – Пешков потянулся. – А вот и снег... – он широко зевнул... – закончился! – встал из-за стола. – Троллейбусы наверняка пустили!..

Вышел под навес.

Темно. Курями пахло.

Во дворе Яков шарчил снег фанерной лопатой.

Лицо его было такое, точно Пешков уже три дня как уехал.

И у Марьи, прибиравшей со стола, лицо было такое же.

Как будто и не ужинали вместе.

– Коробку забрал? – спросил Яков, не поднимая головы от лопаты, от дворового снега. – Давай, коробку там забери!..

Теперь он и говорил как-то по-другому. Небрежно – повелительно. С заведомой нетерпимостью к отказу.

Хотя какой там отказ: Пешков даже не понял, о чем он говорит. О какой такой коробке.

– От Петра Фёдорча коробка! – опершись на лопату, Яков смотрел теперь чуть не с вызовом.

Он смотрел так, как, наверное, некрасивая девочка смотрит на мир, когда открытие собственной некрасивости уже произошло, и успело отболеть, и родило ответный колючий вызов: «А *вот* вам! А вот такая как есть!»

– От Петра Фёдорча?.. – не поверил Пешков. – С того света?..

– Давай, давай! – велел Яков. – Иди забирай!..

В одну минуту он стал неузнаваем. Сам разговор его стал таким волевым, таким недобро-повелительным, точно здесь и сейчас, под кровом его дома на ул. Мунчештской, присутствовали царь Николай и король Karol von Hohenzollern, Иосиф Сталин и маршал Антонеску, и, вынужденный кое-как, трудно и незаметно выживать под всей этой чередой сильных мира сего, под хищными этими орлами и совами, он в то же время отказывал Пешкову и в крупице подобного страха, отвергал и самый малый риск беды, могущей для него и его домашних из-за Пешкова произойти.

– А что там, в той коробке? – удивлялся Пешков, идя в дом. – Ботинки, что ли, мне свои завещал?..

– Бумаги! – отвечала из комнаты Марья.

Воинственная перемена в муже не укрылась от нее, отчего ее собственный голос звучал теперь виновато.

– Бумаги?.. У него дочка есть! – возразил Пешков, заглядывая под картонную крышку. – Мне-то его бумаги на что?..

Какая-то фотокарточка лежала сверху.

– Дочка мы теперь не знаем где живет! – сказал Яков из-за спины. – Забирай, забирай!.. А то выбросим!..

– Выбрасывайте, мне-то что! – пожал плечами Пешков. – А снег-то, – показал на окно, – по-новой сыпет!..

И пока, следуя его пальцу, Яков с Марьей поворачивали головы и смотрели в темное окно, он еще покрутил фотку в руках и... сунул в карман.

– А переночевать можно?.. – спросил.

Марья стала готовить ему постель.

– А кадр Анькин хорош или так себе? – Пешков подсыпал в голос всю иронию, на какую был способен.

Марья стелила по-городскому, с наволочками-пододеяльниками.

– Общительный? – еще спросил Пешков. – В театры-по музеям ходит с ней?.. Я это дело не любил!..

Здесь Марья закончила приготовление постели и распрямилась.

Пошел за нею в кухню к плите.

В кухне Марья брала сваренные яйца из кастрюльки и очищала от скорлупы. Занятость позволяла ей помалкивать.

– Ей всего семнадцать с половиной было, когда познакомились! – рассказал Пешков. – Ребенок совсем!.. Да и я только-только с флота – не знаю, что там тесть во мне нашел!.. Вцепился, будто я миллионер!..

Но тут его поразило, что Марья, перенося нагретую кастрюльку с плиты на стол, брала её голыми пальцами.

– Не горячо? – взял ее ладонь, потрогал сработанную кожу.

– Я быстро! – объяснила.

– Не важно! – хмыкнул. – Нервному сигналу хватит доли секунды – чтобы мозг перевел горячую температуру в сигнал боли!..

И отпустил ее руку.

Он обожал задумываться о физическом устройстве мира.

Оскорбленный дух его умягчался тогда.

– Там нейроны в коже! – объяснил он Марье. – Они прилегают друг к другу так тесно, что один моментальный сигнал «горячо!» – и мозг оповещён!..

Собирался еще что-то рассказать в этом духе.

Но вошел Яков со двора.

Встал на пороге.

– Коробку, – напомнил он, – забрал?..

8.

*Chantal. Оргеев. 1935.*

Всем кажется, что Иосиф Штейнбарг неравнодушен ко мне.

Он завел привычку подходить к нашей компании.

Нас целая орава, но все уверены, что это из-за меня.

Это потому что я выделяюсь: только-только из Кишинева, с *diploma ku disctinctie* («диплом с отличием» – *рум.*).

Ну, я не отрицаю: от Иосифа Штейнбарга исходит непростота.

Вот пример.

Собрались мы у гастрономии Франта. Вдруг разнеслось: «Жаботинский[1] едет!.. Жаботинский с конгресса возвращается!..»

Я не знала, кто такой Жаботинский, но не показывала виду.

Мы толпились у гастрономии, ждали, пока все наши соберутся, чтобы гурьбой на станцию.

За витриной «Франта» был кафейный уголок с единственным столиком. Хаим Лопатин и оба

[1] Владимир Жаботинский – легендарный деятель сионистского движения.

брата Воловские обедали там. Потом к ним Боберман подсел, заместитель мэра... Им не понравилось, что мы с улицы глазеем на них. Они подозвали Мойшу Франта, и он, не удостоив нас взглядом, но с важно откинутой головой и преувеличенно прямой осанкой, пришел к витрине и закрутил штору на струнах.

Я думала, что Жаботинский один из них. Откуда мне знать всех оргеевских мануфактурщиков или заготовителей зерна.

Вдруг шторка снова отъехала.

И в выпахе папиросного дыма Иосиф Штейнбарг выставился в витрине.

Щурясь, он папиросу курил.

Впервые я видела его задумчивым. Даже печальным. Без этого веселого удивления хорошо выспавшегося человека на лице.

Но задумчивость ему не шла.

Но не в этом дело.

А в том, что он стоял в витрине и курил, а все повернули головы на меня.

*Июнь 1935, Оргеев.*

– ...Но ты действительно *нравишься ему*! – заявила мне Изабелла Броди на обратном пути со станции (впрочем, какая она Изабелла?! Просто Белка, соседка по кишиневской комнате. Избалованная форсунья с вечно поднятыми бровями. Из-за этих полувыщипанных, капризно поднятых бровей всё хорошенькое ее лицо кажется туповатым. Но Белка далеко не тупица, и выгоды своей никогда не упустит. И мне даже нравится ее безразличие к тому, что о ней судачат. Вот пример! Гуляли мы у жирного Унгара на именинах, и, пока танцевали в холодной комнате перед десертом, кто-то надкусил все, я повторяю, все (!!!) яблоки на столе в гостиной. Бедный Унгар опомниться не мог. А Белка и запираться не стала: ну да, а что такого, подбирала себе по вкусу!.. Но – Кишинев нас навеки породнил. За одно это я терплю все ее фокусы).

– *Я... нравлюсь... ему*? – возразила я ей. – Тогда почему он не трудоустроит меня в больницу?..

– Хорошенькая идея! – Белка подняла свои недовольные брови. – А ты к нему обращалась?..

– Глупости! – отрезала я. – Я не нуждаюсь в покровителях!..

(Враньё! Трудоустройство в больницу занимало все мои мысли. Приехав из Кишинева, я на другое утро подала прошение в попечительский совет, но про меня забыли. Несмотря на *diploma ku disctinctie.*)

Тут мы поравнялись с грошн-библиотекой и – ... ну в самом деле, я не знаю, как это все время получается, хм-м... – Иосиф Ш. показался на крыльце.

Белка просияла.

Он спросил о Жаботинском, и я решила не отмалчиваться. Чтоб не разделять непростоту, исходящую от него.

Я стала рассказывать, что, когда дрол-фирер «Яссы – Кишинев» остановился у перрона, то разнеслось, что Жаботинский спит, но в следующую минуту – ах! – мы увидели его в открытом окне третьего вагона. Что тут началось! Поалей Цион засвистели «Бу-уз!.. бу-у-уз!» («позор!» – *евр.*), но бейтаристы не дремали. Встав цепью у вагона, они выставили локти с сжатыми кулаками над головой. Я думала, будет драка. Но вмешалась третья сила: «Jidanilor, căraţi-vă afară în Palestina! – закричали в головном вагоне («Евреи, убирайтесь в Палестину!» – *рум.*). – Să trăiască Octavian Goga!..» (Да здравствует Октавиан Гога!» – *рум.*). Там фашисты ехали...

Я трещала так, что забила Белку.

Иосиф Ш. слушал меня не перебивая.

Но слушал как-то очень странно. Как будто у меня цветные пузыри идут изо рта...

Но мы исчерпали тему Жаботинского.

Настала пауза и ... Белка в самых простых словах попросила Иосифа Ш. устроить её на работу.

Неслыханно, что об устройстве на работу говорили с такой простотой.

Моя мама плачет с утра до вечера о том, что я не устроюсь на работу. Она уверена, что папины неудачи в делах перекинутся на меня.

*Спустя 2 недели.*

Поэтому я утаила от мамы, что Изабелла Броди – со вчерашнего дня – рентген-лаборант в уездной больнице. По протекции Иосифа Ш.! Хотя у нее самые средние отметки. Просто ужасные отметки по сравнению с моими.

Я ушла в лес и плакала.

Мама считает, что если я не устроюсь на работу, то и замуж не выйду.

Испугала! Проживу не замужем.

И Иосиф Ш. мне не нравится.

Вертлявый, старый.

И этот нос с кружочками наружу – фу!

...Мама уже заговаривает о том, чтоб научить меня шить заказы вместе с ней – рейтузы, нижние юбки... Раз уж с медициной не выходит.

Ни-ко-гда!

Еще чего!

Не собираюсь хвастать, но профессор Бони, читавший нам анатомию и малую хирургию в Кишиневе, сказал мне по окончании курса: «Пусть этот разговор останется между нами, но с Вашей стороны будет ошибкой – застрять на фельдшерском уровне!.. Да – да, Mademoiselle Deitch, это будет непростительной ошибкой – с Вашей стороны!»

Вот такие слова.

Всякий день я вспоминаю их.

Всякий поздний вечер на сходе в сон...

И неизменно переношусь туда, где улицы так длинны, что загородняя даль – Яловены... Мунчешты... – поливает им на руки из своего наклоненного кувшина...

О кишиневолшебный!

Его фонтаны, его штормящие парки!

Арка Победы с золотым циферблатом... зверинец братьев Тонци со львами и тиграми... тревожные оперы Пушкина на летней сцене... армяне с улицы Армянской...

И вправду, кого тут можно встретить, в нашем Оргееве? Разве деревенских молдован в базарные дни, или русских гуляк в зимние праздники.

Так и проживешь – не узнав об армянах, не догадавшись об их существовании!.. И я уж не говорю о греках и одесситах!..

Вот что такое Кишинев!

Эх,

если бы не мамино больное сердце (и подозрение на наследств. диабет) и если б не папин больной пузырь... –

– только бы и видели меня тут!

Только бы и видели.

9.

*Chantal. Мнимая простуда Иосифа Ш.*

Но этот Иосиф Штейнбарг...

Точно фруктовая пыльца разносится он повсюду.

Вот сегодня, например... возле клумбы примэрии (городское управление – *рум.)*.
– Я простужен, – сказал он, – не могли бы Вы прийти поставить мне банки?..
*Июль 1935, Оргеев*.
«Изабеллу Броди позовите! – подумала я. – Пускай эта выскочка ставит Вам банки!»
Я с трудом сдерживала слезы.

Но... мама одолжила банки у соседки.
И я пошла.

...Штейнбарг снимал особняк у m-me Резник.

Жирный мальчик-денщик встречал меня на пороге.
И коротконогий молдаван вощил полы тряпкой с жиром.

В одних байковых шароварах Штейнбарг улегся на кушетку возле пианино.
Все позвонки выступили на спине.
Я запалила фитиль и... а-а-а!.. а накрыть затылок полотенцем!?..
Забыла, идиотка!..
А-а-а!..
Застыла с пламенем на весу.

На крик Штейнбарга – денщик прибежал.
Перехватил горящий фитиль.

И на этом испытания не закончились.
Банки – не прилипают.
Почему?..

Как раз полотер постелил коврики и засобирался домой. И денщика не слышно.
Не хочу оставаться тут одна!

Сгребла банки в сумку.
Убежала не попрощавшись.

*45 минут спустя*.
Денщик доставил мне конверт на дом.
Мама открыла и ахнула.
50 лей! (Красная цена поставить банки – 15 лей).
Мама: «Если бы ему каждую неделю нужно было ставить банки!»
«Но он нисколько не простужен! – дошло до меня. – Не кашлянул ни разу!.. Так вот почему банки не прилипали!..»

10.
*Хвола. Ленинград.*
После 8-часовой испытательной смены Софийку приняли в ФЗО автотранспорта, прописали в комнату к учащимся.
Хволе отказали.
Без работы и без прописки ей пришлось вернуться в Рабочий поселок-2 к Кушаковой.
*Март, 1935, Ленинград.*
Кушакова, бывшая перчаточница, жила тем, что брала на постой приезжих провинциалов. Отлавливала их на ж.д.перронах. Захватывала деньги вперед. Обещала работу: сшивать шпульки

для завивки волос из обрезков кожи. Врала, что Рабочий поселок-2 это близко, 30 минут от центра города (а оказалось 2,5 часа.). И что там прописаться можно. По приезду же стала пугать рассказами об убийстве Кирова и о бандитских нападениях. Показала двухэтажный барак из серого дерева, где изнасиловали и задушили молодую крестьянку.

Но она устроила Хволу на фабрику-кухню в ночную смену. Всё выгоднее, чем шпульки сшивать, на пятак 100 шпулек.

На фабрике-кухне Хвола и две приезжие девушки-башкирки мыли котлы и разборные детали хлеборезки. Чистили картошку в чёрной оцинкованной ванне. В помещении не было окон. Воздух проникал через вентиляционное гнездо под потолком. Смена – с 7 вечера до 7 утра.

Утром у водоколонки Хвола разговорилась с элегантным, но очень грустным блондином («Антон Козловский, 35 лет!») с тёмными глазами. Острая челочка молодила его. Видимо, он стеснялся своей юной внешности и потому называл возраст, когда представлялся.

Жил он в Ленинграде, учился в Пищевом. В Рабочем поселке-2 оказался из-за сестры, ослепшей после скарлатины.

Он попросил Хволу ночевать у сестры, пока мать из деревни не приедет (через две недели, когда посадит огород). В благодарность обещал устроить на конфетную ф-ку им. Самойловой. Чернорабочей для начала. Но с переводом в завёрточницы. А что такого! Уважаемо вполне. Он и сам начинал как чернорабочий. Но проявил себя. И вот – фабрика направила его в ленинградский филиал Пищевого на учёбу. А в Пищевом его в комсомольское руководство выбрали.

Хвола и одной минуты не колебалась.

Конечно, фабрика!

Но так, чтоб Кушакова не пронюхала.

Потому что Кушакова не хотела терять жильцов и угрожала заявить на Хволу в связи с убийством Кирова.

.....

*Конфетная фабрика.*

Мастером цеха был Лёва Корчняк, из дворянской семьи, но комсомолец.

Он выдвинулся из школы ФЗО. На фабрике ему сочувствовали из-за бывшей жены, психически неуравновешенной, вздорной. Она трепала ему нервы из-за их трехлетнего сына: то отнимет через суд, то приведет к проходной: «Забирайте, он мне надоел!» А когда горсуд лишил её материнских прав, стала писать доносы, что у Корчняков польские иконы в доме.

Но Корчняка все любили на фабрике. Не очень красивый внешне (сутулый, с узким лицом и большими ушами), он покорял добротой и деликатностью. Без него не освоили бы вакуум-аппараты, варочные котлы и другую новую технику.

Хвола оценила его добрые качества, когда из чернорабочих ее в заверточницы перевели.

Цех как раз переходил от ручной завертки к машинной.

Хвола очень старалась, но у нее не выходило.

Пальцы, локти, суставы плеч не умели выработать правильное движенье. Реакция подводила. Руки уставали.

Она была в отчаянье. Ждала, что ей вынесут порицание. Скажут, что не способна к советскому труду.

Но Корчняк покорил её своей деликатностью.

Он легко выговаривал «Хвола», но когда от фабрики оформляли представление на сов.паспорт, предложил перейти на «*Ольга*». Всем будет только легче.

.....

*Корчняк.*
В марте выезжали в Вырицу, где заводу выделили участки.
Жена Корчняка привела ему сына к грузовикам.
У неё была внешность смещённой королевы класса: красивой, но уязвлённой, растерянной.

...Ехали в Вырицу.
Сидели на узких бортовых лавках в кузове.
Проезжали над какой-то рекой.
Речной лёд шкварился в лучах солнца. Множественные дымки вились на нём, точно ботву жгут.
Над береговыми посадками солнце летело, как каток в блоке.

Грустный Лёва Корчняк с трехлетним сыном на коленях сидел рядом.
Хвола не могла отвести глаз от низких дымков надо льдом.
Еще бы! Ведь сегодня – ровно год с *того* дня (зима... Резена... в белых простынях через Днестр...). Мама-папа-Адасса! Увижу ли вас?

И тогда – что-то изменилось в мире.
Как будто прикоснулся кто-то... Как будто за руку взял...

Хвола похолодела.
Осторожно повела головой по сторонам.

Корчняк.
Одной рукой он придерживал на коленях сына Витеньку... зато свободная его рука ... нашла Хволыну-Ольгину руку.

Неужели это *он*?
*Тот*, кого она с детства рисовала в мыслях.
О ком папа говорил: «Хволэ, не переживай, *твой* человек уже родился!».
Случайное ли это совпадение – что именно сегодня... *его* рука?
Нет, не случайное.
Это *он.*
Хотя и с большими ушами.
Это для встречи *с ним* – я перешла через Днестр.

II.

*Витя Пешков. 50-летие МССР.*
Лазарев приехал из Москвы и привёз мне джинсы *«Miltons»* и приемничек «Спорт» на «кроне».
Но мы сели обедать, и он принялся выговаривать мне за скучные хроники.
*Кишинев, октябрь 1974.*
А я-то надеялся, он забыл.
Вот досада!

Знал бы он, что за жизнь тут у меня!
Начну с того, что мама перевела меня из 2-й английской в 37-ю, к себе под крыло.
Это жуткая, бесчеловечная школа *с математическим уклоном.* А также – с физическим и химическим.
Мама надеется, что и я стану химиком, как она. В химии, мол, перспектива! Полно белых страниц. Взять простую воду, например. Которой 4 миллиарда лет, а химический ее состав открыли совсем недавно.

Ну, я не против. Химиком так химиком.

Но если б я знал, как меня будут парафинить из-за мамы – в 37-й! Я бы упёрся рогами и не перешел. Потому что мама там слишком активная, лезет на рожон с хулиганами. Её грубый, вечно охрипший от скандалов голос гремит на всех этажах. И вдобавок у неё живот растет.

Вот тогда и Лазарев приехал.

«Известия» откомандировали его – освещать 50-летие МССР.

Пока они с мамой ехали из аэропорта, я заперся в комнате и наспех развёл пару страниц в хронографе.

Разными чернилами.

Все-таки я надеялся, что он забыл, но не тут-то было.

Чуть не с порога Лазарев потребовал тетрадку.

– Подделка! – пробормотал он, разлистав пару страниц. – Причем небрежная!..

Сели обедать.

– Всемирная история началась тогда, – сказал он, купая столовую ложку в бульоне с рисом, – когда ее записали!.. Поэтому, Витька, сам решай!.. Не будешь записывать хроники в хронограф,.. – растопырив пальцы, он полил на них бульоном с ложки, – останешься страной зыбучих песков!..

(Теперь понятно, за что я Лазарева люблю?!)

– Лёша-а! – возмутилась беременная мама. – Лёша!..

Но в её голосе злости не было.

– И уж на Геродота не рассчитывай! – еще добавил он. – Ничего он не напишет о тебе, этот Геродот!.. А если и напишет, то такую клюкву!..

Уф-ф, опять он с этим Геродотом!

К счастью, телефон зазвонил.

«Москва! – подскочил Лазарев. – Из секретариата!»

Заперся он в кабинете, а потом выходит и сообщает: «Из секретариата сообщили: Брежнев будет!.. Наместник бога на земле!»

И выражение лица такое деланно-глуповатое, точно он сам себе рожки ставит.

*Через 2 дня.*

Наутро всю школу сняли с уроков и выставили у парка Пушкина.

Проспект вздулся от безмашинья.

На фонарях ветерели флажки: союзный и молдавский.

Толпы людей как фальшивые усы были наклеены на тротуары.

Но мостовая была гладко выбрита.

По ней расхаживали мильтоны с шепталками-рациями.

День был расправленно-солнечный, без единой складки. Точно воротник белой рубахи выпущен поверх лацканов пиджака.

Ждали.

.....

Ждали...

.....

Я во 2-м ряду. В 1-м – Софа Трогун, Оля Даниленко и другие отличницы в белых фартуках...

.....

Ждали.

.....

Верзила Стрежень бил меня сзади по уху и прятался за других.
Я был новенький, но все знали, что моя мама та самая крикуха-завуч, и меня парафинили.
Но душонка трепетала от набывания праздника.
В последнее время все только и говорили о приезде Брежнева.
Кишинев стал неузнаваем в порфире юбилейных украс.

Брежнев был гость, а я обожал, когда гости.
Вот, даже бабы Сониных подруг с скрипучими голосами, и тех обожал.
А ведь Брежнев еще и знаменитость. То есть наместник бога на земле.
А я до сих пор видел только одну знаменитость: пугливого толстяка Кислярского из фильма «12 стульев» в доме отдыха в Иванче.
Нет, я также видел Николая Табачука, правого атакующего защитника «Нистру», кандидата в Олимпийскую сборную СССР. Но я не знаю, это считается или нет. Потому что я видел его три секунды, не больше. Да и то через зеленую кольчугу на окне.

Вот как это было.
После матчей на Республиканском мы с толстым Хасом всегда пролезали под Восточную трибуну к раздевалкам. Туда полстадиона сбегалось, не пробиться. Но однажды, после «Нистру – Шинник», мне повезло – я пролез к зелёной кольчуге.
Смотрю, а там (!!!)...
...голые игроки в креслах...
...полумертвые после матча...
«А вы чего?.. Мужские я-ца не видели?» – заорал пожилой дядька-мильтон и стал отпихивать нас от окон.
Но честное слово, я узнал Николая Табачука в кресле. В одних белых плавках.
И я бы хотел, чтоб это считалось.

Потому что, хотя я и не верю в бога, но все-таки это очень интересно... увидеть его наместника на земле.

12.
*Его наместник на земле. 1974. Октябрь.*
...Принаряженные мильтоны ходили вдоль волнующихся тротуаров и говорили в рации.
В их поведении был ленивый туск, усыпивший мое внимание.
Едва я главное не пропустил!
Как из под земли кавалькада накатила. Сначала – с брызгами сирен и мигалок – вал милицейских «Волг». За ними правильный ромб мотоциклов, плывший медленно и парадно. И сразу – в привстое улыбки и приветствия! – Л.И. в брюховине «Чайки». И как после прохода речного катера поднимается и плещет в берег волна, так милицейские цепи по-акульи впрокус приникли к приполоскам тротуаров, заветеревших приветственными флажками. В две секунды все произошло.

Я ещё провожал взглядом праздник... обаятельного стратилата страны моей, приглаживавшего растрепанный русый волос... ещё волна асфальта не сомкнулась над удаляющимся кортежем... как мильтонская белоснежная фуражка выставилась передо мной.
Глаза в глаза.
Крупным планом.

Я попятился, он за мной.

Я прободнулся в толпу, мимо Таисии-математички, толкнул Стреженя и схлопотал от него кулаком в грудь.

Побежал в аллею классиков.
Вокруг уже сдавали флажки. Пасха проспекта расслаивалась.

У фонтана я оглянулся.
Он за мной!
Подгорев от нового язычка страха, я – за кустарник, оттуда в каштановую посадку. Оттуда уже близко до ограды, там троллейбус зацеплю.
Но троллейбусы пока не пустили.

Тут меня и слапили.

Вот и все, страх посох, стало больно от одного единственного тубаха под дых.
Мильтон тубахнул мне под низ живота, накрутил ухо.
И... исчез, как не был.

Я не мог перекатить в себе ни единого двоха, все встало во мне, как помидоры в банке.
Одно утешало: своё я отхлопотал. Я ещё расскажу эту историю.
.....

*Вечером того же дня...*
...к нам Бортники пришли – с сыном Гришей.
Мы с ним утащили телефон на проводе и закрылись в детской.
Была у нас давняя игра: звонить чувихам из его класса.
А потом нас позвали есть сладкое на родительскую половину.

За столом баба Соня расписывала нашу встречу с Кислярским из «12 стульев» – этим летом, в д.о. «Иванча» под Оргеевом.
Я с восторгом вмешался, прибавив, что в жизни Кислярский выглядит точно как в фильме: пугливый толстяк с маленькой, как болотная кувшинка, головой.
«Да-да, у Вити с ним завязались свои особые отношения!» – подтвердила баба Соня.
«Просим!.. Просим!.. – потребовали Бортники. – Расскажи!»

Ну я и рассказал, как встретил его в безлюдной боковой аллейке после ужина. Время было 20.30, ну может 20.45, и было слышно, как музыканты настраивают аппаратуру на танцплощадке... И вот, гляжу – идет прямо на меня! В темносиней мастерке на короткой змейке. С графинчиком кваса в руках. Увидя его, я сразу вспомнил, как в фильме он бекает- мекает дрожащим голосом «*А сто рублей не спасут отца русской демократии*?», и чуть не заржал. Но я не заржал, а только сказал «Добый вечер!».
– «Заржал!» – фыркнула мама. – Что за выражения, Витя?..
– Не перебивай, пусть рассказывает! – Бортники вступились за меня.
Пришлось продолжать.
В Доме отдыха никто не подозревал, что с нами тут отдыхает киноактер: он не показывался ни в столовой, ни на пляже у озера.
На другой день после ужина я снова повернул в ту аллейку.
Колючая акация глушила её. Лесные голуби ухали.
И вот!
Опять он со своим графинчиком!
Мы поздоровались, как заговорщики, и он дал мне отпить прямо из носика: за то, что я тайну храню...
А потом он уехал.
Вот и все.

«Даже мне не рассказал!» – упрекнула мама, а Лазарев захлопал в ладоши и, улучив момент, увёл меня в кухню.

«Сочинял бы хроники в таком духе – давно бы имел абонемент на футбол! – сказал он. – А что! Я приятно изумлён! Тебе удалось не просто назвать событие – встреча с известным киноактером – но передать атмосферу! Сам посуди! Темная аллейка периферийного дома отдыха, вечер, лесные голуби!.. – и он показал большой палец. – Ещё ты упомянул о теплостойкой мастерке (в середине июля!), дав понять, что твой герой не молод!.. Ну и наконец, мне передался вкус охлажденного кваса в стеклянной посудке, легко предположить, что от директора дома отдыха лично!.. И поверь, я бы дорого дал, – он шумно сглотнул слюну, – чтобы отпить из того графинчика!..»

«Ха!» – хмыкнул я польщенно.

– И, главное, никакой Плутарх такое не напишет за тебя! – заключил он. – Не говоря уж о Геродоте!..

– Не напишет!.. – подтвердил я нахально.

Эх, лучше бы промолчал.

Потому что он ухватился моментально.

– В общем, не валяй-ка дурака! – ухватился он. – Берись за хронику! О чем? Не важно. Хотя бы о приезде Брежнева!.. А что? Будет тебе абонемент на «Нистру»! Причем на Западную трибуну![1]

Воодушевленный, я побежал в свою комнату.

Раскрыл хронограф.

13.

*Chantal. Осада.*

В Приюте требуется младший персонал, и я пришла наниматься.

М-me Тростянецкая из опекунского совета встретила меня там.

Ей понравилось мое замешательство при виде её: такая *grande-dame* – и в таком несчастном месте.

*Июль 1935, Оргеев.*

Она посочувствовала мне, но вид её был весел.

«Я кормлю этих несчастных с ложки, устраиваю ванны и сама купаю их, хотя и не обязана! – говорили её весёлые глаза, её увлечённая фигура. – Что же делать, если я *такая*!..»

Признаться, я тоже была рада встретить ее здесь. Её красивые руки, плечи, её рубиновые серёжки в маленьких ушах рассеивали скорбную унылость помещения. И разговор её со стариками был так весел, что и самые олежалые оживали в своих матрасах.

.....

Вечером того же дня я видела её в центре города.

Она была в собственном выезде.

С высокой причёской.

Другие серьги гороздились в ушах – теперь из матового золота.

Она помахала мне из экипажа. Её оголённая рука показалась мне бела, как субботняя хала. Трудно поверить, что двумя часами раньше эти руки вываривали гадкие приютские простыни в кипятке.

Ещё я отметила новое выражение её лица: при виде меня оно сделалось ласково и значительно. Как если бы ей стало известно что-то важное, имеющее отношение ко мне.

[1] *Западная трибуна* – самая лучшая на Республиканском стадионе (билеты – по 1 руб.30 коп.).

Придя на следующее утро в Приют, я повстречала там... Иосифа Штейнбарга.

Смущенно улыбаясь и глядя в сторону, он объяснил мне, что сегодня его день в опекунском расписании.

14.

*Витя Пешков и то, что Плутарх не напишет за меня.*

Воодушевленный, я побежал в свою комнату.

Раскрыл хронограф.

*Кишинев, октябрь 1974.*

Но, бойко принявшись за изложение, упёрся в мильтона. Без него и полстраницы связывалось с трудом.

– Лазик! – позвал я с порога.

– Слушаю! – откликнулся Лазарев.

«Лазик... ха-ха... Лобзик!» – Бортники принялись обыгрывать прозвище, которое я ему придумал.

«Всё лучше, чем "Лазо"»! – стал оправдываться он.

– Я не могу про это письменно! – сказал я глухо. – Могу только устно рассказать!..

– Устно не считается! – отверг Лазарев.

Бортники спросили, на какую тему сочинение.

– Хроники, а не сочинение! – поправил Лазарев и, привстав с чёрной бутылкой «Каберне», стал разливать по фужерам. – Меня вот не заставляли писать хроники в детстве – теперь не помню ничего!.. Как будто и не жил!..

– Ну прямо! – басила мама. – *Не жил!..*

– А кто их будет читать, – подколол Бортник, – ну эти твои хроники?..

– Читать? – удивился Лазарев.

И забарабанил пальцами по чёрной статуэтке «Каберне».

– Вот пускай «Каберне» пьют!.. – объявил он, отбарабанив. – Да-да, «Каберне» чумайского разлива!.. А читать... необязательно!..

– Согласен! Только чумайского!..–перебил Бортник.–Потому что если «Каберне» – не чумайское, то перевод продукта! Я вот в Туле для интереса заказал! Наклейка один в один! И что же – никакого сравнения!..

– А где это ты там «Каберне» заказывал в Туле? – спросила его жена. – Можно узнать?..

– В гостинице, мамочка! – развел он руками. – Заказчики с завода в ресторан повели!..

– *Заказчики с завода*? – переспросила она.

– Так вот, читать это лишнее! – напомнил Лазарев. – И пишут вовсе не для читателя!..

– А для кого? – покрасневший Бортник аж гакнул от смеха. – Для кого тогда пишут – если не для читателя?..

Но Лазарев уже стоял с запрокинутой головой и пил из фужера.

Бортник смотрел на него с ожиданьем.

Но Лазарев пил и пил с красивой алчностью.

Тогда мама вмешалась.

– Можно я отвечу?! Я знаю, что он думает!..

– Вот это жена! – восхитилась жена Бортника.

– Можно! Давай! – зашумел Бортник.

– Значит, Лешкин ответ на вопрос *для кого пишут*, – начала мама, – звучит так: а ручей в лесу для кого? А полевой василёк? Я права, Лёш?.. Правильно я идею передала? – и пихнула его локтем.

– Передатчица! – Лазарев допил вино и отложив фужер наконец.

.....

– А на какую тему сочинение? – спросил Гриша Бортник, едва мы в детскую вернулись.
Покосившись на закрытые двери, я выложил ему всё как есть.
О том, как в прошлом феврале я помирился с жирным Хасом. И о том, что дальше было...
.....

– А ...ся... только когда ребенка хотят? – спросил Гриша, когда я закончил. – Или не только?..
Он был только в 4-м классе. Что с него взять.

15.

*В приюте.*
Иосиф Ш. моет хлеборезку, подметает в саду... лишь бы со стариками не возиться.
Ну, мне-то все равно.
Хоть я и не одобряю такого поведения (брезгуешь – не приходи, а раз пришел – то работай как все!).
*Июль 1935, Оргеев.*
Но его аж корчит от брезгливости.

Вдобавок у него тут деловые встречи (нашел – где!).
Смотрю, устроился за плетенным столиком на веранде. С каким-то мужчиной, оч. важным по виду (кажется, я знаю его. Это Октавиан Попа, городской прокурор).

Из озорства я решила потревожить их. В 3-й комнате лежачий старик обделался. Я могла бы санитара позвать, но позвала богача Иосифа Штейнбарга из попечительского совета.

Он встал из плетенного кресла и пошел за мной.
Ноги не несли его.

В палате я попросила его усадить обделавшегося старика.
– Герш! – сказал вдруг Штейнбарг, рассмотрев несчастного.
Чудесная перемена произошла с ним. Решительность и доброта перекоренили страх и гадливость.
– Ге-ерш! – протянул он с нежностью.
– Гершка! – возразила я. – А не Герш!..
Гершка был в тяжелой стадии Паркинсона. По правде, его давно пора пересадить на поганое кресло. Рук не напасёшься – убирать за ним.
– Гершуня! – запричитал Штейнбарг. – Я не знал, что ты здесь!..
– Гершка, а не Гершуня! – зарычала я. – Он моего папу разорил!..
– Отвернитесь!.. – приказал мне Штейнбарг. – Отворите окна!..
– Не отвернусь!..
Раздетого Гершку я не видела!

Но происходило что-то неслыханное. Штейнбарг опустился на колени перед Гершкой и стал стягивать с него грязное исподнее.
– Этот человек спас меня в Гусятине!.. – объявил он мне. – Дайте полотенце!..

И стал Гершку обмывать.

– Не было никакого Гусятина! – вырвалось у меня.
– А-а? – не расслышал Штейнбарг.

Но потом до него дошло.

– Но я родился в Гусятине!.. – рассмеялся он.
– Не было Гусятина! – повторила я с обреченностью.

Как безногий, сидел он перед Гершкой на полу. И смеялся во все зубы.

– Что же тогда!.. – смеялся он. – Выходит, и меня не было?..
– Если вы... – крикнула я, – любите... меня...

Мы обмерли.
Даже парализованный Гершка охнул. Новозеленое выражение пробилось в прошлогоднем его лице.

– То... что?.. – отозвался Штейнбарг. И пересохшие губы облизнул. – Ну!.. договаривайте!..

Я выбежала из комнаты лежачих.
Испуганный санитар нёсся мне навстречу.
Взбешенный прокурор Октавиан Попа гнал его по коридору – вызволять своего делового партнёра.

16.

*Витя Пешков. О том, как я с Хасом помирился (незаписанная хроника).*
Я бы не мирился.
Но он первый подкатил.
До того мы не разговаривали год: не забуду, как они мою форму увели (с гетрами).
Но вот он подкатывает на перемене и как ни в чем не бывало: «Здоров, куда пропал? Приходи играть, у нас теперь тренер есть, угадай, кто!..»

И... выдерживает паузу.

– Ну, – спрашиваю нехотя, – кто?..
– Игорь Надеин!.. Первая тренировка – в воскресенье!

Что-о-о?!
Что-о-о-о?..

– Да, Игорь Надеин!.. – подтвердил он. – ЖЭК его пригласил!..

И, не дожидаясь, пока я выйду из столбняка (Игорь Надеин был самый техничный игрок «Нистру», прирожденный диспетчер с хитроумным пасом и великолепно поставленным ударом, не зря его пробовали в московском «Спартаке»!), подкинул еще козырь:
– И мы теперь ходим в 3-ю секцию по вечерам!.. Там новая семья в подвале, муж и жена! Через шторку *всё* видно!..
И... снова запускает паузу.
*Кишинев, февраль 1974.*

Я не искал с ним примирения.
Но во-первых, Игорь Надеин.

А во-вторых, я влюблён был в Т.Р. из класса и не знал, что с этим делать.

До того я влюблялся только в самых красивых: в Коровкину в 3-м классе, в Трачевскую в 4-м. Но в них разве что классные парты не были влюблены. Разве что портреты Ленина и Пушкина на стенах и ведро со шваброй в углу.

А вот Т.Р. не была красива. Но во мне восковые соты ломались от одного воображения ее.

Это подвигало к познанию.

И потому я помирился с Хасом. И ответил, что... – приду.

*Вечером того же дня.*

Никто из пацанов не спросил, где я пропадал целый год.

Мы дотемна рубились в хоккей у фотоателье.

А потом пошли к 3-й секции.

Темнота, и хвиль, и сумлунь, напитанные опасностью, всё было открытием в этот нетабельный час. Все было началом познания.

17.

*Chantal. 1935.*

Маме понадобилась почтовая открытка – написать своему брату в Резену.

Я вызвалась пойти.

В лавке на углу продается миллион открыток, и ни одна не подошла.

Ноги понесли меня в аптеку Ясилевич в центр.

*16 июля 1935, Оргеев*

Я прошла мимо витрины «Франта».

Занавеска была повёрнута на струнах, но я чувствовала, что *он* там, за занавеской. Обедает за кофейным столиком.

В аптеке я взяла первую же открытку с вращающегося шестка. Протягиваю деньги Лёле Ясилевич.

Поворачиваюсь.

У дверей – *он.*

– Извините меня за сегодняшнее, домнул Штейнбарг! – сказала я ему.

Мы вышли из аптеки.

– Извиню, но при одном условии! – пробовал он шутить. – Почему вы полагаете, что Гусятина не было?.. Объясните!..

Вся площадь обозревала нас.

Лопаты садовников перестали звягать у дома суда.

– Не знаю! – ответила я. – А только не было и всё!..

Прошли несколько шагов.

Остановились.
На крыше мужской гимназии кровельщики перестали стучать по листовому железу.

– Так вот, – сказал он своим веселым голоском, – несколько слов про Гусятин!..

Мы тронулись дальше.

– Я даже не был еще бар-мицва (13-летний – *евр.*), – рассказал он, – когда русская армия вошла! Русские несли потери, были озлоблены! Первым делом они сожгли дом ребе!..
Долгий пружинный зёв заглушил его слова.
Это в *«Comedy Brody»* дверки распахнулись. В одну минуту стало шумно под плющом. Целая банда гимназистов из зала выбралась. И Шурка среди них.
Они шли, выделываясь друг перед другом, паясничая напоказ, но, увидев *нас*, встали как вкопанные.
Я знала, что в гимназии Шурку дразнят (из-за И.Ш. и меня). Но до сих не придавала этому значения.
И вот...

Но у них достало воспитанности – не выделываться перед Иосифом Ш. и поздороваться с почтением.
Чтобы тотчас разбежаться с возобновленным смехом.

Один Шурка не убежал со всеми.
Вид его был грозен.
Мы постояли втроем.

«Как дела, Шура?» – спросил Иосиф Ш.
Но мой Шурка только пыхтел в ответ.
«До свиданья, Шура!» – приказал ему Штейнбарг.
И поправил шляпу на голове.

Лютая краска бросилась в лицо моему брату.
А глаза заблестели и стали белые.

Меня пугают *такие* его глаза.
В *таком* состоянии он способен драться один с пятью молдованами...

С ужасом я увидела, как его приземистый корпус отклоняется назад, как у гусака, – сейчас атакует.
Я схватила Штейнбарга за локоть.

– Ну вот... – обрадованный Штейнбарг тотчас повернулся спиной к Шурке, лицом ко мне. – Значит, русские солдаты сожгли дом ребе! Это был сигнал к началу убийств!..

Шурка стал бледен. Пот выступил у него на лбу.
Испепелив меня взглядом, он отошел на полшага.
Сомнения мучали его.
Зачем-то он посмотрел себе под ноги.

– Родных моих прибили! А меня Герш спас! – продолжал Иосиф Ш. – Он был маркитант казацкого полка. И он... выдал меня за своего сына!..

Слушая его, я следила за Шуркой.
Шурка направился к мосту.
Ускорился.
Побежал.

Я была готова бежать за ним – предупредить мамин нервный приступ.
Штейнбарг остановил меня.
– У меня назначен телефонный разговор с Кишиневом, – рассказал он. – Идемте!..
Как зачарованная, я потопала за ним.
– Я поговорю с Кишиневом и провожу вас домой! – пообещал он.

– И вот, как иностранный поданный, – рассказал он по пути, – Герш выдал меня за своего сына и вывез из Галиции!.. В Яссы!..

18.

*Витя Пешков. Ул. Ленина, 64. Третья секция.*
Луна горела так, точно ей пощёчину врезали.
Телевизионная программа «Время» курилась из всех окон.
Я шел за Аурелом.
Он не придерживал ветки, и они били мне по глазам.
Деревья налезали на подвальный этаж.
Но сквозь голосвисую их черноту я видел светящееся жилое окно в подвале.
Как назло троллейбус продудел на проспекте.
С остановки во двор какие-то люди запали.
Мы стали темнотою.
Потом троллейбус уехал.
Люди скрылись в подъезде.
Мы вышли из укрытия.
*Кишинев, февраль 1974.*

В очередь я прибился к окошку.

Впоследствии, перебирая действительную порнографическую картинку, представшую мне в том окне (Хас не наврал), я неизменно испытывал брезгливость и недоумение. Как если бы при мне желудок облегчали.
Но это после.

А пока что, раздвигая ветки, поднимался я к подвальному окну в третьей секции Ленина, 64 и готовился к великому раздвижению горизонтов.

Для пацанов это был четвертый вечер подглядыванья.
От скуки они стали земляные комья кидать в окно.
В комнате услышали.
Раз – и голый мужик у окна. Мы встретились глазами.
Он бросился к одежде на спинке стула.
Я увихнул вместе со всеми.

Но его лицо преследовало меня целые семь месяцев.
Оно было широкое, с пунктирными усиками.
И оказалось милиционером в парке Пушкина.

19.

*Штейнбарг прошел в комнаты не разуваясь.*
Я присела на стул в прихожей.
Входная дверь оставалась открыта. Дролфирер прогудел на станции.
И денщика нет.
Штейнбарг встал возле пианино.
Из мебели там был еще буфет – без посуды, без вазы. И телефоный аппарат на буфете.

– В Яссах он устроил меня в монастырский приют!.. – скороговоркой рассказал И.Ш., смотря на телефонный аппарат. – Там ко мне проявили сочувствие как к сироте. Дали работу на лесораме. Я проработал там 4 года – механистом, потом помощником управляющего. Моя первая сделка по аренде леса произошла при содействии ясской епархии. Затем я арендовал лес у Гербовецкого монастыря. И оказался в вашем уезде...

Полоса закатного света подгрызает ставни.

*16 июля 1935, Оргеев*

– Впоследствие, когда дела мои пошли в гору, – Штейнбарг убил комара, вязавшего в воздухе, – я решил отблагодарить Герша. Доллар тогда продавался по курсу 117 немецких марок в среднем. С моим австрийским паспортом я мог брать кредиты в Германии. Я предложил Гершу кредит! – Штейнбарг часто заморгал. – В Европе я знал место, где в то время курс был 7 марок за доллар! Вы только посчитайте!.. Но увы, он не захотел!.. А меньше чем через год повсюду в Европе курс был 4500 (четыре с половиной тысячи) марок за доллар!..

И он стал смотреть на меня, ожидая признаков арифметического потрясения.

– А на свиньях заставляли ездить? – спросила я.

– Что? – поразился он.

– Заставляли или не заставляли евреев ездить на свиньях в Гусятине?.. И танцевать голыми на площади?..

– Да! – отвечал он. – Заставляли!..

Телефон позвонил – болотным лесным звуком.

– «Buna Seara!» («Добрый вечер!» – *рум.*), – сказал Штейнбарг в косящатую трубку.

Я вышла.

Двор был голый, чисто выметенный.

И если Гусятин правда, то...

Штейнбарг появился.

– Маевский звонил! – объявил он так, будто это имя мне что-то говорит. – Есть мельница в Ниспоренах, какие-то русские отдают! – он поднял локоть и сдул гусеницу с рукава. – Проблема, что госакциз!.. Ну и что!.. Зато своя земля, а?.. – и посмотрел испытующе. – И значит, мои будущие дети не услышат «Jidanilor, căraţi-vă afară în Palestina!» («Евреи, убирайтесь в Палестину!» – *рум.*)».

– И женщинам груди вырезали? – я стала смотреть вверх, в сторону.

Глаза его округлились.

Он улыбался.

– Я круглый сирота! – сказал он наконец. – У меня вот тут... – он провел рукой по левой икре, – онемение тканей из-за плохого кровоснабжения!.. В нашей семье это наследственное по мужской линии!.. и это всё, что осталось у меня от отца, от старшего брата!.. И хватит! – он повысил голос. – Всё, что Герш наговорил вам про Гусятин, правда!.. До последнего слова!.. И хватит!..

– Нет, не хватит! – возразила я.

– Вас не учили, что бывают несчастья? – спросил он с угрозой.
Его тон был обиден.
Обида удерживала меня от обморока.
Кое-как я с духом собралась.

– Послушайте! – сказала я. – Мы малообеспеченные из-за папы! Это несчастье!.. У моей мамы больное сердце и высокий сахар. Это тоже несчастье! Но с ним я согласна жить!.. А с Гусятиным не согласна!..
– Но вы живете! – наседал он.
– Но я не согласна!..
– Но вы есть! – засмеялся он. – Куда же деваться?..
– Не знаю!..

Темнело. Я торопилась домой.
– А я знаю, куда деваться! – сказал Штейнбарг поспешно. – Выходи за меня замуж!..
.....

Я не давала согласия быть, но я есть.
Я не знала, куда деваться, а он знал.
Поэтому я вышла за него замуж.

20.

Т.Р. *пригласила жирного Хаса на день рождения*.
Это случилось на физкультуре в подвале старого здания.
Мы сидели на гимнастических скамейках вдоль стен.
Сигизмунд Антонович вызывал к брусьям по одному.

И тогда Т.Р. подходит к нашей скамейке и... приглашает Хаса (при мне!).

Я не знал, что у нас в классе чувихи уже приглашают пацанов на дни рождения. Упустил момент, когда это началось.

И вот, под шлепки чешек и кед о кожаные маты, под азартные хлопки страхующего Сигизмунда возле брусьев, под многолетний запах пота, настоявшийся в подвале, она подошла и пригласила.
В воскресенье, на 2 часа дня.
А на меня и не посмотрела.
*Кишинев, март 1974.*

Дома я подготовил открытку (без подписи, чужим почерком). Чтобы Хас ей вручил.
Но чувство шумело, гнулось. Передавило буквы.
Оставил бы как есть. Так нет, стал тереть резинкой, подчищать лезвием. Грязи развел.

- - -
*В воскресенье вечером*.
Я не мог дождаться, когда Хас вернётся и позвонит.
Места себе не находил.
Наконец, не выдержал – сам звоню ему (в 21.00).
А он дома давно.

И, главное, голос такой флегматический.
Я, говорит, открытку не вручил – из-за её помойного вида!
Вот гад!
Но – гора с плеч.

Ведь, если честно, то меня не наружность моей открытки смущала, а что назавтра будет.
Пока я эту открытку сочинял, мир по заведенному порядку обращался в маточке воздуха.
Но, отдав её жирному Хасу для вручения Т.Р., я приостановил мир – до тех пор, пока участь моя не будет решена.
А он и не вручил, гад.

И тогда я худоязыко, но прямо объяснился ей в л-и.

*Через 2 дня.*
Я звонил ей из автомата на Ленина – Армянской возле магазина «Ткани».
Впереди 8 Марта, три выходных. Это успокаивало.
К тому же толстый Хас пыхтел рядом.
*6 марта 1973, Кишинев.*
«Ты мне нравишься!» – сказал я ей.
«Я знаю...» – грустно отвечала она, и, пожав плечами, я повесил слезницу трубки.

...Три выходных прошло.
В школе я ожидал самого плохого, вплоть до публичной казни. Ведь там, в телефонной консерве, я раскрылся как есть. И кто знает, какой мощи противодействие мог разбудить самим фактом своего явленья!

Я вышел из троллейбуса, когда круглые часы под козырьком Политеха показывали 8.10 утра.
А на Берзарина за углом – целое шествие с портфелями и ранцами.

Полшколы покоряло парадную лестницу вместе со мной.

Наверху, в проеме дверей, торчала Галя Коровкина, подружка Т.Р.
Я сразу понял, что её отрядили как лазутчика.
Вот и она вызенькнула меня в толпе и... аж пятки засверкали – в сторону класса!

О, лучше б я не рождался на свет.

Но, скорбя и ужасаясь, я не мог не отметить и интригу, скрутившую спортивное тельце Коровкиной.
И уже одно то, что объявление моих чувств вызвало если и позор, то вдобавок и интригу, подбодрило меня, и я вступил в класс.

...Из мальчишек никто не знал, ну, может быть, Мотинов и Букалов, но они не были мне враждебны.

Первый урок.
Перемена.
Второй урок.
Перемена.
Третий урок.
Перемена...

Только на пятом уроке встретился с ней глазами.
Как баржи на реке – встречным курсом, без гудков.
Ура: она не оскорблена моим объясненьем!

А между тем...
...объясняясь предмету страсти... чего я искал-просил, каких призов добивался?
Ведь не женитьбы в двенадцать-то лет!
Не интимной близости – в 6-м классе!

А добудь я взаимность, во что б это выгнулось?
Борька Букалов, самый симпатичный и ловкий среди нас, прижимал *их* возле вешалки с куртками и плащами, даже целовался *с ними* в парке Пушкина после уроков и потом с блестящими глазами и взахлеб рассказывал про какие-то «засосы».
Я так не умел.

Куда же я рыл?..
Не знаю. Я только чувству внимал духозейно.

Штуф любви горел, множился.
«Ты мне нравишься!» – сказал я ей по телефону. Точно глыбу руды, душившую издревле, вынес наружу.
И вот – красивая, ладная *её* личность уже не причиняет мне боли.
«Ты мне нравишься!» – объявил я миру.
Это правда.
Так оно и есть.

Теперь я и заоконным дали и шири смогу объясниться в любви.
В верности и любви.
В любви и приятье.

*Конец первой части*

1996 – 2015

*Виталий ЗИМАКОВ*

## В КОРНИ ГРАЯ

***

на его лице деревья вырезают свои имена и клятвы
в день приоткрытых из спальни морей на террасу
бьются скалы о рёбра семи приоткрытых морей
оперение этих камней до седьмого пота
из-под обломков всего что доступно взгляду
выветривается всё и сразу
в отпечатках дыхания словно в кедровой смоле
до последней песчинки сбиваясь со счёта

***

до маяка зимой можно пешком в отлив
на побережье спутаны корни позёмки
миртом украшен дом на столе кутья
вечером они собираются за столом
о том как подснежен подсвечен лес изнутри
связкой ключей за пазухой на тесёмке
чуть слышно теплится вполоборота ручья
в доме пустом

***

их воспоминания о тебе становятся твоими пока они говорят
и детство как будто сон что ни вспомнить толком ни забыть
с клинической смертью незадолго до следующего января
кто уже научился ходить но всех слов ещё мяу и фьюить
того в этом сне будили скрип удаляющихся по снегу шагов
звон трамваев и запах хлеба выветриваясь за мостовыми
полуденного света их отзвуки отблески слов
становились твоими

---

*Виталий Зимаков родился в Москве в 1983 году. Автор книги стихотворений, составленной и проиллюстрированной Василием Бородиным (М.: Фонд Броуновского Движения, 2014). Публикации в журналах «Новый берег», «Волга», «Дети Ра», на сайтах проектов «Полутона», «Soloneba» и т.д.*

***

отвыкать от всего что не мог бы заглушить ливень
слушать будто сквозь сон как падают яблоки
дождливые ночи возвращают городам прежний вид
пусть ненадолго но связь эта прочнее и проще
светофоров мигающих жёлтым пунктирных линий
мерцающие на ветру бумажные фонарики
чем безлюднее улицы тем откровеннее город не спит
собирая себя по камням по крупинкам наощупь

***

...в корни грая пуская кроны
деревья искрили птицами

и скрип их донельзя уместен
и плеск костра в обломках речи
как бы то ни было ты честен
хотя от этого не легче

*Анатолий БУЗУЛУКСКИЙ*

# УЧИТЕЛЬНИЦЫ

*Повесть*

## 1. Школа рухнула

В телевизионных новостях два дня их городок выглядел неузнаваемым, захудалым, с низким небом. Объявляли о страшной беде, рухнувшей школе, гибели детей, трауре. Только на третий день сообщили о самоубийстве учительницы, классного руководителя. В интонациях ведущей сквозило невольное понимание трагического шага педагога, едва ли не благодарность от общества, людей, учительства, властей, страны, Москвы.

Городок плакал, плакала и русичка Марина Николаевна, с непреодолимыми рыданьями – о Евгении Ивановне, Женьке, коллеге и подруге.

Школа рухнула на перемене между вторым и третьим уроками. Обвалились лестничные пролеты между вторым и третьим этажами. В голове Марины Николаевны шумели эти числовые совпадения – «между вторым и третьим уроками и этажами». Как будто схождение цифр привело к катастрофе. Она даже хотела заговорить с математичкой Рыжовой о злосчастной нумерологии, но опомнилась: скажут, еще у одной училки от горя крыша поехала. Не крыша, стены поехали, раздвинулись, бетонные плиты низринулись на головы девочек – монолитные, хоженые-перехоженые глыбы-ступени. Пять одиннадцатиклассниц задавило насмерть. Между вторым и третьим уроками. Как будто если бы это случилось между первым и вторым уроками, жертв было бы меньше – две девочки или совсем ни одной. Мальчики-старшеклассники в этот день проходили медкомиссию в военкомате. Это спасло мальчиков. Спасло в военкомате, словно для будущей войны.

По телевизору говорили, что причиной обрушения здания, построенного полвека назад, стало проведение ремонтных работ в школе, которые не завершили летом и которые шли наравне с учебным процессом. «После демонтажа старых окон стены школы сразу начали трескаться, рабочие немедленно сообщили об этом директору школы. На место выехало руководство района, которое приняло решение об экстренной эвакуации учеников и педагогов», – обрисовывал картину случившегося прокурор. Старшеклассницы погибли потому, что спасали младших школьников. «Они выталкивали вперед учеников младших классов», – уточнял прокурор.

Фасад школы по телевизору смотрелся куда более разгромленным, чем был теперь наяву. Телевизионная картинка была с цементным налетом, лужицами крови, разорванной бордовой шторой на зияющем проломе. По телевизору около школы было людно, суетливо, тревожно, как будто главное еще не произошло, еще предстояло. По телевизору было много начальства в чер-

---

*Анатолий Бузулукский родился в Самаре в 1962 году. Окончил филфак Ленинградского госпединститута им. А.И. Герцена. Служил в армии, учительствовал. Член Союза писателей России. Автор книг прозы «Время сержанта Николаева» (СПб, 1994), «Антипитерская проза» (СПб, 2008) и публикаций в журналах «Звезда», «Знамя», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Нева», «Русская жизнь». Лауреат премий им. Гоголя и журнала «Звезда» за лучшую прозу. С 2008 года – постоянный автор журнала «Волга». Живет в Санкт-Петербурге.*

ном, в черных узких туфлях – выжидали, оглядывались и почти не переговаривались. На самом деле уже к вечеру возле школы было пустынно и темно. Здание было опоясано желтыми ленточками, стояла полицейская машина. Ветром сдуло даже остатки штор. В воздухе чувствовалась не пыль, а сырость. Марине Николаевне показалось, что школа стоит такой давно – не разбитая, а заброшенная. Пришла бы Женька сюда вечером, впотьмах, – думала Марина Николаевна, – увидела бы это долгое запустенье, быть может, и не решилась, осталась бы жива.

Двум погибшим девочкам русский язык и литературу до 10 класса преподавала Марина Николаевна. Три другие были Женькины изначально. 10 класс сформировали один, объединенный. Вела в нем литературу Женька. И в 11-м, выпускном, продолжала вести до этого страшного октябрьского дня. Марина Николаевна своих девочек помнила разными: Катя была хрупкая и неторопливая, Наташка была полненькая и беспокойная. Утихомиривалась, только когда кушала любимые бабушкины пирожки с картошкой. Откусывала по чуть-чуть, будто с размышлением и запоминанием.

Две девочки были мусульманками, татарочка и дагестанка. Их похоронили на второй день. Издалека, когда хоронили, Марина Николаевна видела слезы у дагестанской матери – крупные, больше глаз. Они не помещались в глазах, но и не лились – то мутные, то яркие, как стоячая вода в пруду лунной, ветреной ночью.

Марина Николаевна плакала не столько от жалости, сколько от несправедливости: убило пять невинных, по-настоящему невинных девочек. Она помнила, как Женька говорила, что без несправедливости не бывает справедливости, без несовершенства не образуется гармонии. Марина Николаевна знала, что древние и новые мыслители при такой трагедии вспомнили бы о Молохе, жестоких обрядах в истории человечества, приношении в жертву девственниц как символа высшей чистоты, о том, что этот зыбкий, порочный мир не может обойтись без невинной крови, без искупления. Может быть, и сама Марина Николаевна говорила об этом на своих уроках, обобщая, находя закономерности и оправдания злой воли. Но больше она этого делать не будет. Ее мучила несправедливость. Эти девочки не подопытные жертвы – они близкие, родные души. Она даже не знает, чью кровь она видела на асфальте у школы – Наташки или рыженькой татарочки.

Марина Николаевна думала, что если бы не пять, а хотя бы (Господи, разве можно так говорить?!) две, лишь одна, и Женька бы не покончила с собой. Но нет, ведь погибли-то пять – любимых, добрых, юных. Как после этого жить?

Женька была найдена повешенной в гараже собственного дома. Тело обнаружил поутру ее муж, Гришка. Он говорил, что весь вечер она не могла найти себе места. Так не находят места при нестерпимых коликах. Но при коликах сделаешь болеутоляющий укол, и жить опять хочется. А здесь какой укол? Вызывали скорую. Гришка сказал, что успокоилась Женька только глубокой ночью и даже заснула. И он вслед за ней заснул. «Она всегда у меня первая засыпала, – всхлипывал Гришка. – И первая просыпалась. Вот и проснулась первая...»

Марина Николаевна думала, что Женька собой, своей смертью закрыла не только учителей, взрослых, администрацию, но и детей, своих собственных детей, дочку-студентку и сына-десятиклассника. Горе родительское могло бы крикнуть Женьке: вот, твои-то детки живы и здоровы, а наших ты, классная руководительница, не уберегла, не спасла, погубила. Теперь не крикнет. И детей ее не упрекнут.

Женька была счастливой в семье, с Гришкой, в работе. Марина Николаевна думала: Женька пошла на самоубийство как счастливый человек, счастливая женщина.

### 2. Похороны

Спустя три дня после мусульманок хоронили русских. С девочками и Женькой начинали прощаться у их домов. От общей гражданской панихиды отказались и родственники, и городские власти. Посчитали, что объединенное прощание лишь повысит градус горя. Да и не было такого

общественного учреждения в городке, где подобное траурное мероприятие смотрелось бы теперь деликатно и умиротворяюще. Ни мэрия, ни Дом культуры не подходили для этого, ибо чрезмерная официальность таким страшным, детским похоронам, считалось, могла лишь навредить. Если бы ученицы погибли не в школе, то уместнее школы что-то другое для скорбной церемонии трудно было бы придумать. Но несчастную школу сейчас старались лишний раз не вспоминать. Решили проститься разрозненно, по-семейному.

Раздавались недовольные голоса: «Почему не в мэрии? Девочки совершили подвиг. Девочки ценой своей жизни спасли младших школьников. Что, они не заслужили посмертных почестей? Не заслужили, чтобы с ними весь город мог проститься? Разве они наркоманки какие-то, чтобы их по углам хоронить крадучись? Они – настоящие герои, героини! Какой-нибудь казнокрад скопытится, так ему, как полководцу, – лучший гроб, лучший участок на кладбище, торжественные речи, воинский салют. Это им надо салютовать, нашим девочкам, а не коррупционерам. Зала в мэрии не нашлось? Людей испугались? Народа?»

Перед выходом на улицу Марина Николаевна повязала платок. В очередной раз, глядя в зеркало, убедилась, что платки ей идут. Платок ее молодил. Кротость всегда молодит.

«Я тоже хочу с тобой, бабушка», – схватился за подол Марины Николаевны четырехлетний внук Антошка.

«Я на похороны. Маленьким туда нельзя».

«Почему нельзя?»

«Ты будешь бегать, кричать».

«Не буду. Я же в церкви не кричал».

«В церкви не страшно и покричать».

«А здесь страшно?»

«Страшно, Антоша».

Накрапывал теплый, словно все еще летний дождик. Марине Николаевне было приятно, что и природа в такой день плачет. Не ревет, а тихо плачет. Лица прохожих были усталыми. Все превращается в усталость. Марина Николаевна шла к дому девочки Наташки.

Наташка лежала в гробу в белой косынке. И была похожа одновременно и на старушку, и на младенца. Невинная и мудрая. Лицо у нее было такое спокойное и ясное, и словно восторженное, словно твердящее: обо мне не горюйте, у меня все хорошо, лучше друг о друге подумайте. Мертвые говорят лицами. Последнее выражение лица человека как икона.

В толчее Марина Николаевна слышала небрежный ропот о начальстве: «Не следят за городским хозяйством. Здания в аварийном состоянии. Школы рушатся. Куда это годится? Ремонт проводят во время уроков. За лето не успели, сволочи. Есть кто из начальства? От школы кто-нибудь пришел?»

К гробу протиснулась завуч школы Кондакова. «Я не от руководства, я от учителей и от себя», – сказала Кондакова. На ней была высокая рыжая вязаная шапка. «А где же директриса?» – спросили из народа. «Этого я не могу сказать, где Нина Ивановна. Я сама, как педагог пришла», – отчетливо говорила Кондакова. «Неправда ваша, – сказала Марина Николаевна. – Нина Ивановна сейчас на похоронах у Катюши. А вас просила от школьной администрации прийти сюда, к Наташеньке». Кондакова словно не слышала: «Я пришла попросить прощения от имени педагогического коллектива у родителей Наташи. Простите нас, что не уберегли вашу девочку», – озирала Кондакова людей у гроба. «Да нет у нее родителей. У нее только бабушка». «Хороши педагоги – не знали даже, что девочка сирота, не интересовались». «Простите нас, бабушка, – продолжала Кондакова, прямая, осанистая, твердая в рыжей шапке. – Мы виноваты перед вами. Виновато наше руководство. Я тоже завуч, конечно. Но на мне учебный процесс. Хозяйственные работы не на мне. Тяжело это все. Тяжело терять таких молоденьких девочек. У нас всё так в стране. Не заботятся у нас о людях». «Только о себе заботится наше руководство, – сказал учитель рисования Матушкин. – Им до народа дела нет. Вон какие особняки на том берегу. Крепкие, не упадут. Все начальство одно. А наши детки гибнут».

Вдруг оторвала голову от гроба бабушка Наташки: «Не надо, зачем вы? Она у меня была хорошая, веселая. Наташенька моя. Солнышко мое закатилось. Она и теперь хорошая. Посмотрите, какая светлая. И я скоро к тебе, милая. Чего мне здесь делать? Не надо, зачем вы?»

На бабушке платок был не повязан, а брошен на голову и плечи – огромный, тяжелый, шерстяной, пуховая древняя шаль. Бабушка снова уткнулась лицом в стенку гроба.

Кто-то за спиной Марины Николаевны произнес: «Давайте, люди, тише. Здесь же горе». Другой поддержал: «Действительно, здесь же не Москва. На похоронах не бунтуют».

Марина Николаевна пошла на кладбище в одиночестве, к Женьке. На мусульманских похоронах митинговать не решились, – думала Марина Николаевна о Кондаковой с Матушкиным. Митинговать против начальства для мусульман теперь не тот случай. Женька сполна за всех заплатила с нашими русскими девочками. К тому же, считала Марина Николаевна, когда страдают в одинаковой степени титульная нация и другие народности, апеллировать к начальству – дело титульной нации.

На кладбище переговаривались: «Учеников теперь распределят по другим школам, а эту снесут». «А где гарантии, что и другие не рухнут?» «Народ боится за детей». «Я сама три ночи глаз не смыкаю. Боюсь. Живем в многоэтажке на шестом этаже. Кто знает, вдруг обрушится дом, как когда-то в Москве и Волгодонске в чеченскую войну». «Тогда взорвали». «А сейчас кто знает?»

В церковь на отпевание девочек Марина Николаевна не пошла. Из церкви доносился теплый запах ладана. Марина Николаевна вспомнила, как говорила Женька: «А ты, Маринка, в церковь ходи, чтобы хотя бы вдыхать ладана. Я люблю ладан». Женька не так давно стала верующей, посещала службы и Маринку тянула. Но Марина Николаевна сопротивлялась, говорила, что не хочет стоять в церкви как дура.

В гробу Женька не изменилась, оставалась, как в жизни, по-доброму строгой и уверенной.

У могилы перешептывались про Гришку: «Жалко Гришку. Тяжело ему будет без Женьки. Она была ему и жена, и мать. Словно не овдовел, а осиротел. Посмотрите, как осунулся. Лица на нем нет. Держится, не плачет. Любили они друг друга. Да, идеальная была семья. Ничего, найдет кого-нибудь, еще не старый мужик. Конечно, найдет, но жалко ведь. Да, жалко».

Гришка неотрывно глядел в гроб. Марине Николаевне казалось, что Гришка, пока видит Женьку, видит ее как живую. Он поэтому и не плачет, что еще надеется. Марина Николаевна думала, что разлуку по-настоящему Гришка почувствует через месяц. Будет тяжело ходить, нежно улыбаться, смотреть без конца телевизор. Длинная Гришкина шея, некогда крепкая, сильная, красивая, теперь была как ветка дерева.

Женькины дети теперь напомнили Марине Николаевне ее собственных детей. Не маленькие, но все дети – растерянные и беззащитные.

Марина Николаевна вспомнила, что Женькина бабушка, баба Оля, двадцать пять лет отмаливала грех своего сына, Женькиного дяди, застрелившегося из охотничьего ружья молодым. Баба Оля постилась, подавала милостыню, помогала в церкви, молилась дни и ночи. Как-то промолвила: «Сынок освобожден от мучений» и вскоре умерла. А теперь (бабы Оли нет) кто будет отмаливать Женьку?

Марина Николаевна догадывалась, что через некоторое время Гришка (больше не сам, соглашаясь с резонами) попытается предложить ей сожительствовать как одинокой, лучшей Женькиной подруге. Марина Николаевна грустно ответит: «Не надо, Гришка. Причем здесь Женька? Женька – это Женька, а ты – это ты. А я – это я».

### 3. Женька

Иногда, помнила Марина Николаевна, они с Женькой рассуждали, как они по-разному преподают литературу. Они радовались, что преподавали литературу каждая по-своему, но при этом оба педагогических метода приносили свои результаты. Марина Николаевна тяготела к литерату-

роведческому анализу, поэтике да стилистике. А Женька ценила в текстах борьбу добра со злом, нравственное начало, жизненную достоверность.

Учительницы шутливо переговаривались. Женька: «У тебя каждый год кто-нибудь из выпускников на гуманитария поступает. И не только девочки, но и мальчишки».

Марина Николаевна: «А у тебя полкласса все программные произведения читают».

Женька: «Твои писателей любят».

Марина Николаевна: «А твои – их книги. Не знаешь, что лучше».

Женька: «У тебя Цветаеву наизусть шпарят».

Марина Николаевна: «А у тебя Григорию Мелихову сочувствуют».

Женька: «У тебя детки умненькие».

Марина Николаевна: «А у тебя сердечные».

Женька: «Да брось ты! У тебя тоже сердечные».

Марина Николаевна: «И у тебя умные».

Женьку больше других любили в школе – и взрослые, и ученики. Любили потому, что она не боялась двоечников отчитывать (теперь не принято особо ругать отстающих, чтобы, дескать, не травмировать лишний раз их психику) и любила в пример ставить отличников (теперь не принято нахваливать лучших, чтобы, мол, не зазнавались, чтобы их не портить). Любили Женьку потому, что она ни людей, ни себя не боялась. Ничего не боялась в людях и ничего не боялась в себе.

Марина Николаевна: «Как они у тебя так читают все?»

Женька: «Я им советую относиться к персонажам как к своим близким людям – как к друзьям, родителям, родственникам. Смотреть на Наташу Ростову как на свою одноклассницу, видеть Родиона Раскольникова как соседа – конкретную одноклассницу и конкретного соседа. Человек наблюдает за окружающими с насущным интересом, он словно читает их строка за строкой. А вы, говорю я деткам, наоборот, словно не читайте о Петруше Гриневе, а будто смотрите на него во все глаза как на живого, рядом с вами находящегося».

«Ты настоящая учительница, Женька», – говорила Марина Николаевна. «Да брось ты! – отмахивалась Женька. – Настоящая учительница литературы, литераторша, должна быть тонкой натурой, аристократичной. Это обязательно. Вот ты тонкая, настоящая, утонченная».

Марина Николаевна смущалась: «Помню, когда я поехала поступать в Ленинград в Герценовский, я думала, что еду в Серебряный век. Я думала, что мне навстречу выйдут Ахматова с Андреем Белым, а вышли Всеволод Вишневский с Демьяном Бедным».

Женька: «Хорошо, что ты вернулась после института».

Марина Николаевна: «В Питере все равно замечательно».

Женька: «И у нас хорошо. А Демьян Бедный тоже не плохой».

Марина Николаевна: «Да все они хороши». И учительницы рассмеялись.

Марина Николаевна была благодарна Женьке за то, что у той ни разу не сорвалось с языка и, быть может, ни разу не закралось мысли – бабьей, провинциальной, завистливой: «Тоже мне питерская штучка!» Женька никогда не говорила: «Будь проще – и люди к тебе потянутся». Не потянутся. Никто не скажет, почему одного хорошего человека люди любят, а другого столь же хорошего недолюбливают, одного хорошего учителя школьники боготворят, а другого не менее хорошего терпеливо уважают. У общественной любви, в том числе общественной детской любви больше общественного, чем любви.

Последние год-два Женька заговаривала с Мариной Николаевной о Боге. Не о церкви, а о Боге, потому что при упоминании церкви Марина Николаевна морщилась, вспоминала батюшку на джипе. Женька о церкви знала больше и подругу не переубеждала. Женька не говорила о Боге напрямую, а только когда говорили о литературе или о детях. Когда говорили о детях, Женька утверждала, что весь мир устроен педагогически, с обучением и воспитанием, как школа, как подготовка к главному. Когда речь заходила о литературе, Женька объясняла, что поиск себя – это, по сути, и есть поиск Бога, а поиск Бога – это, по сути, поиск себя. Ты, говорила Женька, прости меня за казуистику, но это не казуистика. Я не могу сказать точнее, но пойми меня без этой точно-

сти. Словно Женька все время хотела ей сказать: несмотря ни на что, мир хорош и люди хороши, будут хорошими, какими бы плохими они не были.

Марина Николаевна вспомнила случай с Женькой. Как-то Женька вернулась после работы домой, а там орудовал вор. Она рассказывала, что опустилась неслышно в кресло и наблюдала, как вор, молодой парень, копался в шкафу. Наконец он заметил ее, испугался и вытащил нож. От страха глаза у него были решительными, он был лысый, худой. Она говорила, что боялась узнать в нем кого-нибудь из своих бывших учеников. Нет, он был чужой. Она перевела взгляд на иконку Богородицы, и он перевел взгляд на эту иконку. Вдруг он спрятал нож, пошел к входной двери мимо Женьки и произнес: «Иконка как у моей бабушки». Марине Николаевне казалось, что про иконку молодой вор ничего в действительности не говорил, он увидел иконку, но слов про иконку не говорил. Слова за молодого вора придумала Женька. Придумала для нее, для Марины Николаевны. Придумала, чтобы это спасение Женькино не показалось бы Марине Николаевне напыщенно чудодейственным, а чтобы казалось психологическим: не иконку увидел и одумался, а иконку своей бабушки увидел и остановился. Женька словно хотела сказать подруге: хочешь, думай, что не Богородица меня уберегла от ножа, а бабушка вора, всего лишь вор бабушку вспомнил.

Женька говорила Марине Николаевне, что больше любит Толстого, нежели Достоевского. Хотя на самом деле больше любила Достоевского. Говорила Женька, что у Толстого ей нравится торжество обновления жизни, если в одной главе кто-то из героев умирает, в следующей обязательно кто-то рождается.

Марина Николаевна вздыхала: кто теперь народится на место Женьки?

Каждый Женькин день, размышляла Марина Николаевна, был правильным, и даже ее самоубийство казалось правильным. Иногда, думала Марина Николаевна, злорадствуют над самоубийцами, которые были верующими людьми. Не злорадствуйте! Не говорите, что они никакие не верующие, если наложили руки на себя. У некоторых самоубийц, у Женьки, самоубийство словно и не самоубийство вовсе. Это Женька вдогонку девочкам встала под рухнувшую школу. Не могла не встать вдогонку девочкам, вместе с девочками. Это – вдогонку, это общая смерть, а не ее смерть-самоубийство.

### 4. Педсовет

На педсовет собрались в гостинице. Мэрия временно отдала полгостиницы под школу.

Директриса Нина Ивановна была в черном пухлом двубортном пиджаке и темно-серой шелковой блузке. Шелковым светом сияли директрисины седые, с горестным тщанием прилизанные волосы, рыхлым стало ее белое, старое лицо, черными и слабыми были ее невыспавшиеся глаза. Марина Николаевна понимала, зачем Нина Ивановна надела пиджак покойного мужа: так ее скорбь выглядела простой, неприбранной, какой и должна быть скорбь, и по-особенному личной, непреодолимой, неслыханной – скорбью по близким людям и по себе самой, по своей судьбе. Может быть, она искала в мужнином пиджаке защиту для себя, защиту в умершем для живой.

Нина Ивановна теперь говорила непривычно тихо, монотонно, словно зачитывала текст. Смотрела она почему-то только на Марину Николаевну. Раньше, помнила Марина Николаевна, директриса не любила задерживаться взглядом на ком-то одном. Директриса сообщила о решении властей снести здание школы. Она не сказала «нашей», она не сказала «рухнувшей», она не сказала «того, что осталось от нашей школы». Она сказала, что новое здание воздвигнут на берегу реки к началу следующего учебного года. А пока старшие классы будут доучиваться здесь, в гостинице, остальных же распределят по двум другим школам города. Некоторым учителям, получается, придется бегать на работу по трем адресам. Нина Ивановна не говорила, что надо перетерпеть, выдюжить, справиться, что жизнь продолжается. Она боялась, что любое утешение из ее уст будет теперь жалким. Будут жалеть ее не как убитого горем человека, а как бесславную дирек-

трису. Марине Николаевне было странно, что Нина Ивановна, раздавленная понятным чувством вины, не находила в себе силы для ее преодоления, для преодоления страха перед этой внезапной, может быть, первой в ее жизни виной – неожиданной виной-участью. На Марину Николаевну смотрела другая Нина Ивановна, не дружелюбно властная покровительница, а отжившая свое старуха, которой хотелось теперь быть нелепой, больной, сумасшедшей, тихой.

«Дурацкое решение! – воскликнула завуч Кондакова. Она еще была в рыжей шапке, словно не снимала ее с прошедших похорон. – Вместо того чтобы всю гостиницу потребовать под нашу школу и всем вместе дожить здесь до новоселья, вы согласились, – обращалась она к директрисе, – по сути, расформировать нашу школу. Потом уже никого не соберешь. И неизвестно, кто будет учиться в новой школе, наши дети или чужие, и кто будет работать».

«Да мы и будем, – отзывались учителя. – Кто же еще?»

«Неизвестно. Знаете, как у нас бывает. Может быть, вообще и новое здание-то не будут строить. Скажут: всех разместили по другим учебным заведениям. И не нужна, мол, новая школа».

«Не скажут. Это теперь политический вопрос».

«Политический? А почему тогда никого из начальства нет на нашем педсовете – ни местного, ни из Москвы?» – нервничал учитель изо Матушкин.

Марина Николаевна заметила, что ее коллеги начали кривить губы в невольной усмешке. И она, и другие учителя понимали, что Кондакова с Матушкиным (эта Лиса Алиса с Котом Базилио) пришли дать бой директрисе, вернее, добить ее, Кондакова рвалась на ее место.

«Вам-то с Кондаковой, конечно, нужно здесь начальство», – сказала математичка Рыжова.

«Пять смертей, вся Россия гудит, а у нас никого нет из начальства. Как будто так и должно быть», – продолжал Матушкин.

«Шесть», – сказал молодой физрук Петя.

«Да, шесть. Тем более».

«Значит, больше надо, чтобы пришли», – сказала Кондакова. И словно ожегшись, добавила: «Куда уж больше?»

«Школу снесут, а на ее месте сквер разобьют», – ерзал Матушкин.

«Разве плохо сквер с часовенкой – в память о погибших?» – говорил физрук Петя.

«Нина Ивановна! Вам же сказали в тот день с утра: стена треснула, – не унимался Матушкин. – Надо уходить. А вы ничего не предпринимали, звонили в мэрию. И дети говорили, и Евгения Ивановна говорила».

«Не придумывайте, – перебила Матушкина Марина Николаевна. – Женька наоборот сказала, что не надо паниковать. Мол, ничего не случится, здание-то райкома партии, еще сто лет простоит».

«Как вы смеете так о покойнице? – вздохнула Кондакова. – Она же вам подруга была».

«Я лишь правду сказала», – ответила Марина Николаевна.

«Вот и я думала, что здание райкома партии. Прочнее ничего не строили», – вдруг подала голос директриса.

«Так райкомов уже четверть века нет. Вспомнили».

«Если уж здание райкома рухнуло, то чего ждать от наших хрущевок?»

«Да здание райкома к дате торопились сдать, то ли к шестидесятилетию Великого Октября, то ли к столетию Ленина».

«Райкомовский актовый зал переделали в спортзал. Потом признали аварийным и закрыли. Это в девяностые еще годы. Вот когда надо было бить тревогу».

«Так били, поэтому и закрыли спортзал».

«Разве можно было там, где коммуняки располагались, школу открывать? Разве это может быть к добру?»

Вдруг тихо, но ясно промолвила директриса: «Возбуждено уголовное дело».

Матушкин: «Только детей этим не вернешь. Нас убийцами народ называет, нас, педагогов».

Кондакова: «Не нас. Называют убийцей конкретно директора школы».

Директриса: «Я подала заявление об уходе. Я предложила вас, госпожа Кондакова, на должность директора».

«Не надо уходить, Нина Ивановна, – раздалось несколько голосов. – Не слушайте вы никого. Пусть следствие разбирается».

«Разве вы не знаете, как у нас следствие разбирается? Найдут стрелочника».

«Пусть я буду стрелочником», – стала тверже произносить слова директриса.

«Не надо нам жертв. Хватит нам жертв», – вытирала глаза математичка Рыжова.

«Мы же учителя. Именно теперь мы должны быть чрезвычайно справедливыми друг к другу, – говорила географичка Роза Петровна. – Мы должны не грызть друг друга, а быть справедливыми. Именно на нас сейчас с особенным вниманием смотрят дети и родители, не на городское начальство, а на нас: как мы поведем себя – будем выкручиваться, хитрить, обвинять во всех грехах директора школы. Надо быть справедливыми».

Кондакова: «Дети погибли, а она о справедливости разглагольствует. Справедливость – это когда о детях думают, а не руководителя выгораживают».

Директриса: «Я подала заявление. Возбуждено дело».

Марина Николаевна боялась, чтобы никто вдруг теперь не воскликнул: «Что нам теперь, всем повеситься?»

Географичка: «Не надо сейчас никого обвинять и использовать трагедию в своих целях. Мы учителя – на нас смотрят дети».

«Учителя тоже, знаете, разными бывают, – захихикал Матушкин. – Я на днях в интернете прочитал про одну учительницу, уже не молодую, сорокалетнюю, у которой были шуры-муры со старшеклассником. А когда парнишка решил разорвать с ней отношения, эта учительница попыталась организовать групповое изнасилование его девушки». «В Америке такую учительницу недавно посадили на двадцать лет».

Выходили из гостиницы группками. Марина Николаевна шла последней. Первыми неслись рыжая шапка с Матушкиным. Физрук Петя побежал к ним что-то растолковывать. Нину Ивановну вели под руки математичка Рыжова и географичка Роза Петровна. Казалось, не столько поддерживали ее, сколько закрывали собой от прохожих на всякий случай. Правда, улица на вереницу учителей не реагировала.

Директриса: «Я ведь хотела этот учебный год доработать и уступить свое место другому человеку. Я хотела, чтобы Евгения Ивановна стала директором нашей школы, Женька. Марина Николаевна, мне тоже почему-то хочется теперь Евгению Ивановну звать, как вы ее всегда звали – Женькой».

Вернулся назад краснощекий физрук Петя.

«Зачем вы к этим бегали?»

«Так. Что за люди? Не понимаю».

### 5. Близкие

Марина Николаевна, увидев с улицы, что занавески на ее окне раздвинуты, догадалась: дома была мать, хозяйничала. Мать наведывалась раз в неделю из деревни, где жила последние несколько лет при огородах. Мать приезжала без оповещения, ключи от квартиры у нее имелись. Визит матери начинался, как она говорила, с «наведения порядка», а, по сути, осмотра квартиры, которую она продолжала считать своей.

«Зачем ты всю жизнь распахиваешь мне шторы?» – спрашивала Марина Николаевна.

«Марина, надо любить солнечный свет».

«Пожалуйста, не трогай в моей комнате ничего. Сколько раз я тебя об этом просила?»

«Ну нельзя же так, Марина, вы здесь грязью заросли. Я ничего не трогала у тебя на столе. Я только вытерла пыль».

«Как ты любишь, мама, вытирать пыль и размораживать холодильник! Лучше бы любила мыть духовку».

«Всё им не так. Для духовки, Марина, я уже стара».

«Ты и раньше ее никогда не мыла. Меня заставляла».

«Вас здесь две женщины, а порядка нет. Я думала, хоть Аня будет хозяйственной – нет, такая же. Вещи везде разбросаны, обувь свалена в кучу».

«Не преувеличивай. Мама, нас все устраивает. А вещи Антошка разбросал, играл».

Мать – Марине Николаевне: «Приходил Гришка. Женькин».

Марина Николаевна: «Сюда?»

Мать: «Нет, стоял под окном. Шел куда-то и остановился под нашими окнами. Я говорю: заходи, Гришка. Нет, говорит, я пойду. А вы одни? – спросил. Я чуть не выпалила: нет, не одна, у меня есть Алексей Петрович. А вот Марина...»

«Мама! – оборвала Марина Николаевна мать на полуслове. – Человек о другом спросил: одна ли ты теперь в квартире? А ты все о своем».

«Нельзя быть человеку одному, – говорила мать. – Вот он один теперь после Женьки остался. И ты одна какой год».

«Мама, когда ты перестанешь меня сватать?»

«Я тебе добра, Марина, желаю. Я тебе мать. Это ненормально – жить одной столько лет. Вот посмотри на меня».

«Мама, не надо всех ровнять по себе».

Мать стала обнимать дочь и говорить вполголоса, с весельем: «Марина, любовь нужна. Хотя бы для здоровья секс нужен. Пойми. Зачем ты себя губишь? Посмотри, какая ты красивая, какое у тебя красивое, молодое лицо, какая кожа хорошая, Маринка!»

«Мама, перестань. У тебя одно представление о жизни, у меня другое».

Мать отошла от дочери к окну, опять обернулась на нее с улыбкой: «Ну, Гришка дает! Вы, говорит, Зоя Петровна, одна? Сейчас! Когда это я была одна? Нет, Марина, Гришка хороший мужчина. Тяжело ему теперь будет без Женьки. Шаркать ногами стал, как старик. Раньше с Женькой не шаркал».

«Подшаркивал и с Женькой», – сказала Марина Николаевна.

Из своей комнаты вышла Аня: «Бабушка, ты погуляешь с Антошкой часик, мы с мамой хотели на рынок сходить?»

«Ой, нет, – сказала бабушка. – Мне к Машке бежать. Месяц не виделась с подругой. Столько надо обо всем переговорить! Столько всего в городе стряслось! Горе-то какое со школой, Господи! Ты, наверно, знаешь, Марина, Машка по мужу теткой приходится одной из девочек погибших».

«Да, знаю, Кате».

«Вот так ты всегда, бабушка», – сказала Аня и пошла к захныкавшему сыну.

«Аня, завтра постараюсь погулять, – сказала бабушка. – Или в следующий раз. Я сегодня у Машки заночую».

Марина Николаевна хотела понять: как ее любит мать? Как мать любит Вовку, внука? Любит ли она его вообще? Аню любит, а Вовку? По-моему, если и любит, то так же, как и меня – с оговорками, другими, но оговорками. А Вовка бабушку не любит, не хочет любить.

Марина Николаевна вспоминала, как мать противилась Ленинграду. Мать не говорила дочери, что та провалится на экзаменах: где – ты и где – Ленинград? Мать твердила, как ты будешь одна в большом городе, дочка? Поезжай лучше в наш областной институт поступать. Мать боялась, что дочь вернется из Ленинграда ни с чем через месяц, как побитая собака. Только деньги зря потратит. Правда, деньги на дорогу в Питер дочь заработала сама, после школы вечерами мыла полы на заводе. Мать боялась от дочери позора для себя перед подругами. Когда же дочь благополучно поступила в Ленинграде в Герценовский пединститут, мать начала уверять не только своих подруг, но и дочь, и, вероятно, саму себя, что это именно она, мать, настояла на том, чтобы девочка поехала учиться в Ленинград, не в Москву даже и тем более не в «областное захолустье», а в Питер, культурную столицу и (почему-то добавляла) «колыбель трех революций». Позднее

подруги завидовали матери: «Маринка-то у тебя становится настоящей ленинградкой. Такая вся культурная, гордая». «Так есть в кого. Чье воспитание?» – подбоченивалась мать. «Трудно тебе, наверно, Зоя, дочь в Ленинграде-то учить?» – «А вы как думали? Каждый месяц ей денежки шлю да посылки. На моей шее сидит».

Мать помогала Марине только первый год. Потом Марина совмещала учебу с работой и получала стипендию. Да и не мать, думала Марина, шлет ей деньги, а материн новый гражданский муж, Геннадий Федорович. Как раз ко второму курсу мать с Геннадием Федоровичем расстались, и денежных переводов больше не было.

Мать гордилась, что дочь у нее учительница. «У меня дочь учительница! – радовалась Зоя Петровна. – Я в школе была двоечницей. Нет, я, конечно, умной была, а двойки мне ставили учителя за поведение, особенно по русскому языку. А теперь у меня дочь учительница русского языка. Это я им через дочь отомстила, доказала, что никакая я не дура и не двоечница».

Позором для матери казалось то, что, получив диплом, дочь вернулась домой из Питера с никудышным мужем. Мать вопрошала: «Ты чего, не могла себе ленинградца найти? Если уж искала никудышного, то нашла бы уж лучше ленинградца никудышного. Привезла в квартиру матери не пойми кого, гвоздя забить не может. Я, говорит, из-за вас, Зоя Петровна, готов повеситься. Так чего же не вешаешься, зятек? Неужели, Марина, никого в Питере лучше не было, неужели ни одного ленинградца, хоть плохонького, нигде не завалялось? Я бы нашла». Дочь возмущалась: «Мама, как ты так можешь говорить? Разве можно выходить замуж из-за прописки?» «Эх, Марина, а еще учительница!» – недоумевала мать.

Марина не отступалась от мужа Мишки. Через год мать свыклась с упрямством дочери. Видимо, подруги спрашивали у матери: а чего Маринка-то не рожает? Мать начала задумываться: кто из них бесплодный – дочь или зятек? Стала подначивать, рассуждая громко, чтобы молодые слышали: «А не завести ли тогда нам ребеночка, Сергей Иванович? Это-то дело, кажется, уж совсем не хитрое». Сергей Иванович был новым сожителем матери. Когда Марина забеременела, мать говорила, что будет девочка. Действительно, родилась девочка, Аня. Бабушка с отцом соревновались за нее. Когда Марина призналась матери, что ждет второго ребенка, мать была расстроена. Быть может, успеешь аборт сделать, говорила мать, зачем нам плодить нищету? Как бы нам было хорошо жить трем женщинам – ты, я, Аня! Никто нам больше не нужен. В это время Сергея Ивановича при матери уже не было и не было еще Романа Борисыча.

Иногда мать вспоминала с нежностью своего второго мужа Генку и даже ездила к нему, смертельно больному, в другой город навещать. Маринного отца, первого своего мужа, мать забыла давно. Марина Николаевна чувствовала, что любовь матери может еще пробудиться – и к ней, дочери, и к внуку Вовке, и к правнуку Антошке. Есть в матери какая-то душещипательность. Марине Николаевне казалось, что любовь матери может очнуться на жизненном переломе, в драматические минуты, когда она, словно в беспамятстве, отчаянно будет бороться за близкого человека. Вероятно, я идеализирую мать, потому что хочу ее идеализировать, думала Марина Николаевна. Хочу, чтобы ее любовь к нам стала нашей общей, долгожданной радостью. Вернется Вовка из армии, и бабушка первой его обнимет и расцелует. И Вовкина тоска по совершенству мира, по «свободе, равенству и братству» будет не только классовой, социалистической, но и наполнится личной и семейной теплотой.

Не нужно этого совершенства мира, скажет Марина Николаевна сыну. И без совершенства есть красота у мира. И нет никакого уродства в судьбе одинокой женщины, разведенной – в моей судьбе. Нет в одиночестве несчастной судьбы. Так и Женька говорила: не бывает вообще никакой несчастной судьбы.

### 6. Мишка

С Мишкой Марина Николаевна прожила десять лет. Все эти годы Мишка ей изменял. Он не заводил шашни в их городке, он уезжал изменять в область, а раз махнул в Питер. Блудил дале-

ко, чтобы щадить ее женскую и учительскую репутацию, чтобы его спорадические похождения она не принимала за любовные романы, а взирала на них как на необоримый плотоядный зуд, неизживаемую потребность в полигамии. «Я тебе не изменяю, потому что я тебя люблю, – умничал Мишка. – Других женщин я не помню – ни их глаз, ни их тел, ни их имен». Она бессильно ухмылялась, говорила, что его ответ чересчур литературный, чересчур дворянский, чтобы быть честным. «Я не верю тебе. Быть может, ты и не помнишь всех своих баб, но и меня не любишь».

На последнем курсе института он разрывался между ней и Людой Красновой. О других соперницах Марина и думать не желала. Слава у Мишки была ловеласа, любителя случайных связей. Опытные подружки ее утешали: «Это хорошо, пусть в молодости мужик перебесится, в браке будет спокойным. Девственники хуже, те после женитьбы начинают метаться». Сначала Мишка предложил руку и сердце Красновой. Та ответила отказом, она ждала своего парня из армии. Краснова не верила женским наблюдениям. Женские наблюдения похожи на уговоры. Марина согласилась. Марина видела, что Мишкина влюбленность в Краснову превосходит его симпатии к ней, Марине. Марина понимала, что повторного предложения от Мишки не дождешься. Оба хотели вскочить в уходящий поезд. Марина бросалась с головой в омут, Мишка сжигал мосты после своих девок, после Красновой. Марина Николаевна слышала, что и Красновой не повезло с ее солдатиком: расстались через год после свадьбы. Опытные подруги в таких случаях проповедовали, что первый брак в наше время не бывает удачным. Крепость уз дает второй брак, учитывающий ошибки первого. А по-настоящему счастливым может стать третий брак, в котором ничего не надо учитывать, кроме последней надежды, последней любви.

Первые годы Марина Николаевна боялась потерять, любила, прощала мужа. До сих пор в ней оставалась теплота от этой любви-прощения. Мишка тоже любил ее – томился, ждал, печалился о ней. Она полюбила в нем даже то, что поначалу ей показалось в нем смешным и страшным, нехорошим, – его улыбку. Некая одногруппница заметила: «Как он может нравиться? У него улыбка маньяка».

Нет-нет, эта одногруппница ошибалась, злилась, наговаривала: какой же Мишка маньяк? Улыбка не рождается одна, улыбка видится вместе с глазами. А глаза у Мишки были доверчивыми, совсем бесстрастными. Губы же складывались в улыбку слащавую, мокрую, умильно-галантную, словно не для улыбки, а для поцелуев. Целоваться Мишка любил. И Марина полюбила целоваться с ним, благодаря ему. Когда после очередного «плавания» она выставила его за дверь окончательно, когда он спросил, куда ему теперь идти, она опять возненавидела его улыбку – чужую, дурацкую, ненужную.

Теперь Марина Николаевна думала: сохранилась ли у него эта улыбка? Первые семь лет после расставания Марина с Мишкой не виделась и не разговаривала, а последние пять лет порой отвечала на его звонки – спокойней, отстраненней, мягче, когда он поздравлял ее с праздниками. Видела же она его только на фотографии ВКонтакте – лицо в сумраке, только глаза и череп сияют весело.

Марина помнила Мишкин голос. Мишка красиво, чисто, переливчато пел, то тенором, то баритоном. Ей нравилось, когда он пел «Это было давно». Он пел: «Белолица, бела». Но белолицым был он, Мишка, белолицым и с огромной лысиной, тоже белой, как у младенца. Совсем пьяненьким он пел скабрезные песни. Но даже грязные куплеты в его исполнении звучали негрубо, с похмельной душевностью.

Иногда, помнила Марина, Мишка был смешным. Порой после интимной близости он вдруг восклицал: «Ну вот, а ты не хотела». Марина смеялась: «Отчего же не хотела?» «Вот этого я не знаю, отчего». «Хотела, хотела», – радовалась она.

Мишка проживал теперь в областном центре – то ли в своей, то ли в съемной квартире. Стал индивидуальным предпринимателем, торговал семенами, купил машину, про литературу, похоже, забыл. Вовка гостил у отца перед армией, Аню и внука Мишка навещал сам. Вовка уверял, что отец живет холостяком, поэтому научился хорошо готовить, в особенности узбекский плов с горохом нут. Вся папина однушка, восхищался Вовка, завалена мешками, пакетиками с семенами,

фитолампами, бинтами садовыми. Теща не преминула высказаться: «Осеменитель хренов! После его семян вместо огурцов какой-нибудь сорняк жди». «Почему ты все время, бабушка, гадости говоришь?» – возмутился Вовка. «Вова, ты не так меня понял, – громко захохотала теща. – Мне как-то на рынке всучили вместо деревца яблони тополь. Коммерсанты – они такие». «Папа не такой», – заступалась за отца и Аня. «Анечка, я знаю, что как отец Михаил хороший. До сих пор помогает вам. Деньгами, подарками. Этого у него не отнимешь. И на алименты не понадобилось подавать. Не то что другие. Я грешным делом думала, не будет платить. Уехал, и ищи ветра в поле. Нет, в том, что касается детей, Михаил молодец».

Мишка и Марине, бывшей жене, все эти годы через детей передавал конвертики с купюрами к дню рождения, 8 марта, на Новый год. Марина Николаевна думала: может быть, он хочет вернуться ко мне? И мать стала твердить: «Мишка хочет вернуться к тебе». И дети, когда упоминали отца, смотрели на нее жалобно и вопрошающе.

Марина Николаевна думала о Мишке как об усталости, как о болезни. Она знала, что больше им не быть вместе. Ни ее не тянет к нему, ни его к ней по-настоящему – с вожделением и интересом. Он еще не научился существовать один (у него умерли мать, отец, старшая сестра), но научится, привыкнет, врастет в одиночество. Как она вросла. Ей было неловко разговаривать с ним по телефону. Они говорили о детях, внуке, очевидном. Общие фразы умножают усталость. Недавно, когда рухнула школа, он позвонил, и ей вдруг стало любопытно его слушать. Он не спросил: «Как дети?», а спросил: «Как ты там теперь?» Мишка говорил: «Ничего-ничего, мы поднимемся, мы все переборем. Да и не надо нам как-то чересчур подниматься, возноситься, нос задирать. Будем жить тихо, ровно, без рывков. Как говорил наш Пушкин (нет, твой Пушкин): “Воды глубокие плавно текут. Люди премудрые тихо живут”. Зачем плакаться или радоваться? Хотя что значит зачем? Это и есть жизнь. И следует именно так жить – заблуждаясь, со слезами». «А не холодно так, без огня?» – вдруг спросила Марина. «Холодно», – ответил Мишка и замолчал.

Марина Николаевна вспоминала, что Женька никогда не заводила с ней разговор о мужчинах, Маринином возможном новом браке. Она спрашивала у Марины Николаевны: «Как твои, как семья?» Как будто муж – это еще не семья. Женька говорила, что каждый человек, даже самый одинокий, живет в семье. И боженька тоже ведь не бывает один.

Теперь по телевизору, замечала Марина Николаевна, известные люди с удовольствием размышляют о любви. Начало положили батюшки: «Бог – это любовь». «Что главное в жизни?» – спрашивают телезвезду. И популярный артист, режиссер, писатель без запинки отвечает: «О, главное – это, конечно, чувство долга, духовные ценности, свобода. Но важнее всего в мире – любовь».

Неужели каждый об этом должен высказаться, не забыть? – недоумевала Марина Николаевна. Торжественно не сказать о любви в конце интервью значит не поставить точку. Может быть, думала Марина Николаевна, культурологические рассуждения о любви – это не только дань телевизионной моде, красивые протокольные слова, но и сама жажда любви, озвученная, разрешенная себе. Как приятно, наверное, говорить о том, что цель и смысл жизни найдены, опознаны, что они – в любви! Или – в надежде на любовь, борьбе за нее, первом шаге к ней.

### 7. Ученик

Ученик опоздал к Марине Николаевне на полчаса. Накануне позвонила одна из мамочек и попросила Марину Николаевну позаниматься с ее сыном-выпускником, подготовить к итоговому сочинению. Она сообщила, что Марину Николаевну в качестве репетитора ей порекомендовала еще Евгения Ивановна, до трагедии. Мамочка сказала, что Евгения Ивановна назвала даже цену Марины Николаевны за час, только вот не конкретизировала, за какой час – школьный (в сорок пять минут) или астрономический. Марина Николаевна научилась разговаривать с напористыми родителями. «Уверена, что вы что-то путаете, – произнесла Марина Николаевна. – Не могла Ев-

гения Ивановна вместо меня назначать цену за мои уроки. Это было не в ее правилах». Марина Николаевна уточнила, сколько будет стоить ее полуторачасовое занятие. Родительница начала было торговаться, но Марина Николаевна оставалась непреклонной: «Как хотите. Меньше я не могу». Мамочка вздохнула и согласилась.

Ученик, звали его Максим, был из другой школы. Учеников своей школы Марина Николаевна за деньги не натаскивала. Максим не извинился, что опоздал, а лишь пробормотал, что заблудился во дворах в потемках. Он был рослый, массивный, с большим лицом, румянец на котором полыхал сквозь наметившуюся щетину. Такими крупными, подумала Марина Николаевна, от сытной, удобной жизни мужские особи становятся лишь годам к тридцати. Ее удивили ранние складки у его рта, словно заведомо порочные. Несмотря на то, что выглядел Максим взрослым, озирался и говорил он по-детски: смотрел исподлобья с наивным беспокойством, а говорил с застенчивой обидчивостью. «Я с тренировки еду», – сказал Максим. «Ты, наверное, тяжелой атлетикой занимаешься?» – «Не, греблей». «На каноэ?» – переспросила Марина Николаевна» «На каноэ», – мальчишески улыбнулся Максим, и складки у рта не углубились, а растаяли.

Марина Николаевна поняла, что перед нею не Калиныч, а Хорь. Она доверяла тургеневскому разделению русских мужиков на две категории – хозяев и скоморохов. Интеллектуала-интеллигента и офисного хипстера из Максима не выйдет, даже если он отучится в Москве (Максим сказал, что будет поступать в Московский юридический университет) и обоснуется на госслужбе или в Газпроме. Он и там, в правовом департаменте, будет кряжистым, неторопливым, расчетливым, вспоминающим в первую голову о букве закона и только на всякий пожарный о его духе. Марина Николаевна не сомневалась, что и папа у Максима твердо стоит на ногах, да и мама, несмотря на свою вероятную миниатюрность и взволнованность, еще тот Хорь в юбке – хлопотливая, памятливая, домовитая.

Максим писал мелко и убористо, от края до края, без полей, почти без интервалов между словами и строчками. Некоторые ученики, знала Марина Николаевна, придумывают специальный, только им понятный почерк. Упрек учительницы, не сумевшей разобраться в работе школьника, парируется хитрецом: мол, у меня такой почерк, право имею, ничего не могу с собой поделать, но письменное задание я выполнил верно, даже на «отлично». Марина Николаевна помнила, как Женька порой сетовала: «Пора вводить уроки чистописания в школе».

Марина Николаевна решила посвятить первое занятие с Максимом гоголевской «Шинели». Хорь с Калинычем, думала Марина Николаевна, любят друг друга. Благополучным людям бывают интересны неудачники и доходяги. Максим записывал за Мариной Николаевной. Когда не успевал, обидчиво поднимал на нее глаза. Меньше всего Максиму хотелось записывать рассуждения учительницы, но когда дело касалось имен, дат, терминов, выдержек, цитат, Максим досадливо переспрашивал.

Ему понравилось, что план сочинения подобен проекту будущего дома. Введение – фундамент (экскурс в ту историческую эпоху, когда создавалось литературное произведение). Основная часть – стены, комнаты, атмосфера существования, раскрытие темы. И, наконец, заключение – кровля. В заключении, поясняла Марина Николаевна, наше время соотносится с художественным миром повести, наши современники с ее персонажами. Крупно Максим записал рекомендацию Марины Николаевны, что заключение неплохо украшать каким-либо уместным афоризмом, как крышу дома флюгером. «Будет хорошо, если вы поставите в финале вашего сочинения слова Достоевского: «Мы все вышли из гоголевской шинели».

О жизни Гоголя (для вступительной части сочинения) Максим слушал, позевывая. Марина Николаевна помнила, что и сама девочкой не понимала некоторых душевных терзаний писателей, особенно связанных с богоискательством. Юной такие мучения ей казались бутафорскими. Другое дело богоборчество у писателей – это ученики чувствовали всегда. Женька говорила (словно нарочито современно-буднично): «Не надо педалировать с Богом. Вырастут – определятся». Рассказывать в деталях историю перезахоронения Гоголя, полную слухов и домыслов,

Марина Николаевна посчитала не нужным. А вот то, что на место погребения писателя Михаила Булгакова положили надгробный камень-голгофу с могилы Гоголя, было полезно для сочинения, для переклички судеб двух русских классиков. Максима эта информация так удивила, что он вместо подробной записи оставил в тетради лишь две писательские фамилии с плюсиком (или крестиком) между ними.

Максим старательно записывал необходимые вещи: кто такой «маленький человек», что имя «Акакий» переводится как «беззлобный» и, значит, Акакий Акакиевич дважды беззлобный, что он, ничтожный и вечный титулярный советник, винтик государственной машины, что смыслом жизни для Башмачкина стала шинель.

Максим, соглашаясь, кивал головой и улыбался, когда Марина Николаевна говорила, что шинель сделала Акакия Акакиевича человеком, что он, надев новую шинель, выпрямился и приосанился, ходить начал не бочком, а горделиво (она прибавила – гоголем), начал поглядывать по сторонам на молоденьких женщин и даже отправился на злополучную вечеринку.

Когда же Марина Николаевна сказала, что шинель стала для Акакия Акакиевича своеобразным охранительным пологом, куполом неба, Максим недоверчиво взглянул на учительницу: «Как это куполом неба?» Марина Николаевна сообразила, что сказала лишнее, как в таких случаях говорила Женька – преждевременное. «Это не надо записывать», – улыбнулась Марина Николаевна. Она попросила его записать и запомнить другое: когда над Башмачкиным подтрунивали, посыпали его голову клочками бумагами, он говорил весельчакам: «Зачем вы меня обижаете?». И одному из обидчиков вместо этих слов слышалось: «Я брат твой».

Марина Николаевна спросила Максима: «А вы кого-нибудь из своих одноклассников так не обижаете, не посыпаете бумажками?» «Не-е, – сказал Максим. – Мы только плевались из трубочек. Давно это было, в седьмом-восьмом классах». Вдруг Марина Николаевна сказала: «В ком труднее признать брата, того надо сильнее любить. Вот об этом повесть Гоголя».

«В заключении, – говорила Марина Николаевна, – надо написать о том, чему учит нас это произведение, о чем заставляет задуматься образ Акакия Акакиевича. Первое, чему учит: надо сострадать другому человеку, надо сочувствовать и помогать слабому человеку, так называемому маленькому человеку, надо к каждому человеку относиться по правилу: он брат мой. И второе, чему учит повесть: надо сопротивляться быть маленьким человеком».

Марина Николаевна заметила, что Максиму понравилось именно двуединство извлеченного из повести урока: и сострадать другому, и быть сильным самому. Максим даже как-то по-мужицки крякнул от ясности этой мысли.

После занятия Максим складывал вещи с излишней медлительностью, в прихожей копотливо одевался. Может быть, он находился под впечатлением от урока, – предполагала Марина Николаевна. Затем ей показалось, что Максим был озадачен дилеммой: платить или не платить учительнице-репетиторше? Видимо, мама посоветовала ему: если не понравится занятие, если пользы не почувствовал, не плати. Другую найдем. А эта ничего с тобой не сделает. Будет возмущаться, капнем на нее в налоговую инспекцию за незаконную предпринимательскую деятельность.

Уже вцепившись в дверную ручку и заметив усмешку учительницы, Максим спохватился, стал рыться в карманах, достал деньги и передал их Марине Николаевне, смущаясь. Ей показалось, что он начал улыбаться благодарно. Ей показалось, что он испытал облегчение, что расстался с деньгами, заплатил учительнице.

«Если надумаете прийти на следующей неделе, позвоните заранее. И прошу, Максим, обязательно напишите сочинение по “Шинели” по нашему плану. Мы его разберем».

«Хорошо», – сказал Максим.

Марина Николаевна задавалась вопросом, придет или не придет он еще. Пожалел меня, заплатил. Маме, наверное, Максим скажет: «Нормальная учителка. Много непонятного говорила, но выкладывалась». Мама подытожит: «Еще бы – нам ее Евгения Ивановна порекомендовала».

**8. В сети**

Марина Николаевна зашла на страницу Красновой ВКонтакте. Учительницы из-за учеников предпочитают эту ювенильную сеть интеллигентскому фейсбуку и «Одноклассникам». Фотография Красновой украшала только аватарку, другие фото, видимо, были доступны лишь «друзьям».

Понятно, Краснова нарочито выбрала фотографию, на которой она получилась словно вне возраста: ей можно было дать здесь и двадцать пять, и сорок пять. Благородство и твердость излучала ее миловидная женственность, эти сдержанно насмешливые голубые глаза, хрупкая юная шея, изысканная прическа, неизменно девичий носик, который и теперь, верно, продолжал жалостливо морщиться при смехе. Руки Красновой были в замке перед лицом. Она кого-то слушала с педагогическим поощрением. Узенькие, нежные плечи Красновой были как всегда под палантином. Марина Николаевна помнила, что палантины Краснова любила лиловатые, большие.

Красновой к лицу были выбранные ею ВКонтакте группы – всё, что касалось садов и ландшафтов. Марина Николаевна полагала, что Краснова (то ли в одиночку, то ли со вторым мужем) обустраивала теперь свой загородный домик, дачный участок под Питером. Марине Николаевне понравилось, что никаких «Это Питер, детка» или «Питер suka стильный» среди сообществ Красновой не значилось – даже в угоду этим самым деткам.

Среди «друзей» Красновой Марина Николаевна вдруг обнаружила и своего бывшего благоверного, его наполовину размытую фотографию, якобы подернутую флером времени. Какой он все-таки бабник! – взмолилась Марина Николаевна. – Даже не бабник, а старый кобель! Ей стало смешно и противно, потому что на какой-то миг она испытала давно забытую ревность. Она вспомнила, как неслышно, гордо, терпеливо ревновала Мишку к Красновой. Господи, я ревную его до сих пор. Чего больше в ревности – инерции, самолюбия, любви, недоумения? Ей было обидно и противно, что Мишка все еще имеет виды на Краснову. А мама талдычит, что он хочет вернуться к тебе.

Марина Николаевна решила отправить запрос в «друзья» Красновой. А, может быть, и к Мишке постучаться в «друзья»? Пусть в сеть попадет наш любовный треугольник. Она закрыла глаза, откинула голову на спинку кресла, вздохнула и выпрямилась. Нет, не нужны мне больше друзья. Не нужны в «друзьях» ни бывший муж, ни Краснова.

Марина Николаевна думала, что у Красновой судьба тоже учительницы. Все судьбы учительские разные, но есть общее у нас, учительниц: все равно мы – учителки, все равно только у нас среди друзей – дети.

Осталось ли у меня желание для супружеской любви? Нет. У меня – моя усталость, моя телесная пустота. Мне ни к чему теперь молодость, молодое тело. Как хорошо, что скоро мое тело станет старым женским телом! Как хороши целомудренные тела старушек! Я, наверное, буду веселой старушкой. Женька бы ее одернула: «Что еще за упаднические настроения? Не смей себя хоронить заживо, Маринка!» Женька никогда не толкала ее шутливо в бок при появлении «подходящей кандидатуры», не говорила и о Мишке пренебрежительно. Иногда Женька восклицала: «Как хороша ты, Маринка!» Женька никогда не произносила: «Ты создана для любви, подруга». Но теперь Женька могла бы так сказать и сказала бы так. У самой Женьки было замечательное женское тело – простое, крепкое, полноватое, белое. Ей шли простые платья, голые руки и туфли на низком каблуке.

Марина Николаевна нашла в своих закладках сообщество памяти учительницы Евгении Ивановны. Женькин мемориал в сети создали ее ученики. Он не утихал, кровоточил в несколько лубочных картинках со свечами и розами. Скорбные записи теснились на странице, как венки: «Помним, любим, скорбим», «Без Вас плохо», «Спасибо за всё», «Светлая память», мальчишеские «R.I.P.». Кто-то написал: «Господи, прими Евгению Ивановну, душу добрую, незлобивую, заботливую, даруй ей Царство небесное». О ее самоубийстве упоминать воздерживались. Кто-то, видимо, из взрослых оставил надпись «Зачем? Но Бог милостив».

Марина Николаевна об умершем человеке всегда говорила: «Вечная память», а Женька –

«Царствие небесное». И словно специально для Марины Николаевны по-учительски повторяла: «Да, Царствие небесное».

Школьники, видела Марина Николаевна, знают, как должна выглядеть настоящая учительница. На аватарку они нашли фотографию Женьки, где она смотрелась действительно как настоящая учительница – со строгими губами и ласковыми глазами.

Марина Николаевна знала, что Женька никогда не ревновала. И не потому, что Гришка не давал повода. Она не ревновала ни к педагогам, ни к детям. Быть может, потому, что не держала в душе тайн. Окажись на моем месте, Женька и к Красновой бы не ревновала.

### 9. Прогулка

Раньше Марина Николаевна прогуливалась по окрестностям вдвоем с Женькой. Марина Николаевна полагала, что Женька это делала ради нее. Но Женька как-то уточнила: «С Гришкой гулять не интересно – говорю я одна. А с тобой наши моционы превращаются в малые педсоветы».

Теперь Марина Николаевна выбрала другой маршрут, не по опушкам леса, а вдоль реки. Природа была темной, осенней, воздух сырым, густым, река печальной и пустынной. На взгорках дремали большие, терракотовые особняки – местных богачей и областных. В некоторых вальяжно лаяли собаки. Марине Николаевне нравились эти дома на возвышении. Она не могла согласиться с сыном Вовкой, который чертыхался на эти дворцы, говорил, что они ранят горизонт, который он любил с детства, уродуют пейзаж, народные вольные виды. Каким вернется Вовка из армии? – думала Марина Николаевна. – Таким же марксистом-ленинцем? Или станет взрослее, спокойнее? Вовка говорил: «Я не против хороших домов. Но хорошо, когда такие хорошие дома не у одного и не у двух, а у всех, у каждого». Она улыбалась: сын клеймил и ее как подкулачника. Он твердил, что она со своей привязанностью к изящной словесности, к Серебряному веку находится на службе у эксплуататоров, что на таких, как она, держится идеологический каркас буржуазного государства. «Ах, Вовка, Вовка, мой чистый и честный мальчик!» – скучала Марина Николаевна по сыну.

Марина Николаевна вспоминала Питер, Неву. В ее памяти Нева, даже летняя, была мрачнее, строже, суровей их реки. Может быть, мне уехать из нашего городка и уйти из учительниц? Может быть, я способна зарабатывать деньги? Иногда хочется быть богатой, быть замужем за богатым. Прав Вовка: порой я мечтаю о красивой жизни, бархатном платье и шляпке с вуалью.

Марина Николаевна дошла до кладбища, до Женькиной могилки. На кресте в маленькой рамке Женька была молодой, такой, какой ее хочет вспоминать Гришка, словно не учительницей, а ученицей – смешливой, румяной, с челкой.

«Здравствуй, подруга!» – произнесла Марина Николаевна и улыбнулась Женькиному портрету.

«Вот и я где-нибудь рядом буду лежать, и будем разговаривать с тобой о школе, о детках. Как в «Бобке» у Достоевского. Две учительницы, педагогини. Литература – разве это так смешно и незначительно? Если я посвятила этому жизнь, если это я люблю всю жизнь – и Толстого, и Цветаеву, и Гоголя – разве это зря, разве это пустяки, разве это бессмысленно?»

Марина Николаевна долго смотрела на радостную Женьку.

Марина Николаевна вышла из ворот кладбища. Ей навстречу спешила стайка детей из ее класса – три девочки и три мальчика.

«А мы к девочкам. И к Евгении Ивановне зайдем», – говорили дети.

«Хорошо, что вы их навещаете. Не забудьте про завтрашнее сочинение».

«Марина Николаевна, Колька сказал, что поэты-мужчины стреляются, а поэтессы вешаются».

«Коля, а как же тогда Есенин?» – смотрела Марина Николаевна на мальчика Колю.

«Вот-вот. Но Колька говорит, что это как раз и доказывает, что Есенин не повесился, а Есенина повесили».

«Ой, ребята, давайте не будем о грустном. Готовьтесь к сочинению», – сказала учительница.

«Как вы думаете, Марина Николаевна, новую школу построят?»

«Я не сомневаюсь».

«И мы не сомневаемся».

«А кто же сомневается?»

«Да Колька».

«Коля?» – удивилась Марина Николаевна.

«Я не сомневаюсь, – опустил голову Колька. – Мне просто нашу жалко».

Марина Николаевна попрощалась с подростками и направилась к автобусной остановке – сил идти пешком до дома не осталось. Ей рассказывали, что некоторые мальчишки-старшеклассники винят себя за то, что в день трагедии были в военкомате, что не смогли спасти девочек, что не могли вместо девочек выводить младших школьников из затрещавшего здания. Марину Николаевну начали душить слезы. В городке до сих пор кто-нибудь из прохожих плакал.

Марина Николаевна догадалась, почему теперь так пытливо смотрели на нее, свою учительницу, дети из ее класса. Они словно спрашивали ее: «А вот вы, Марина Николаевна, если бы мы, ваши воспитанники, погибли под завалами школы, смогли бы, как Евгения Ивановна из-за своих учениц, покончить жизнь самоубийством?»

«Нет, – рыдала Марина Николаевна, – я бы не смогла. Как жутко об этом думать! О моей смерти, о том, что все кончится. Нет, я бы не смогла. У меня нет этого Женькиного порыва, исполненного чести и честности. У меня слабость, усталость, страх».

Марина Николаевна думала, что современные дети прямо говорят о любви, самозабвенно признаются в любви, не боятся любить. Они лучше нас в любви, лучше нашего поколения. Мы много стыдились, втихомолку грезили, отдавали себя служению. Разве можно стыдиться любви?! Дети наши размышляют о семье, как мы не размышляли, размышляют о счастье в семье.

### 10. Внук

Марина Николаевна, бабушка, брала в руки фигурки персонажей из «Черепашек-ниндзя» и спрашивала внука, как кого зовут. Антошка без запинки отвечал: «Это Шреддер. Это Крэнг. Это Леонардо. Это Рокстеди. Это Сплинтер, да, крыса. А это таракан-терминатор». Марина Николаевна невольно привыкала к тому, что маленьким детям и ее внуку Антошке нравятся теперь монстры – мультфильмы с ними, игры, рекламные ролики. Она не могла понять, почему светлые существа, дети, любят уродливое и страшное, она лишь могла догадываться, как эта любовь аукнется и нам, и им в будущем. По законам педагогики – должна аукнуться. Быть может, эти игрушечные мутанты совсем не страшны и только кажутся страшными? А то, что не страшно, а лишь представляется страшным, неплохо воспитывает и хорошо развивает. Мы ведь тоже, вспоминала Марина Николаевна, симпатизировали не только Коту Леопольду и Бременским музыкантам, но и внешне монстрообразному Чебурашке. Детям во всем надо видеть доброе – с доверием. «Ведь зла самого по себе нет», – вспоминала Марина Николаевна Женькины слова.

«А это кто такой непотребный?» – интересовалась бабушка. «Кожеголовый», – говорил внук. «Всех знает, – удивлялась Марина Николаевна. – А это?» «Кроктик». – «А это?» – «Пондогон». – «А это?» – «Перепинчик». – «Какой еще Пондогон, какой Перепинчик? Что-то здесь не то». Антон сидел у бабушки на коленях и болтал ножками.

«Это он сочинять начал. Придумывает свои имена», – пояснила Аня, дочь. «А он не пугается всего этого?» – спросила у дочери Марина Николаевна. «По-моему, пугается. На днях проснулся и ревет, говорит, крысиный король приснился».

Игрушки маленькому Антошке покупал отец, Лешка, когда возвращался с заработков издалека. Но и бабушка, бывало, дарила внуку очередного инопланетянина.

«Может быть, пойдем гулять на улицу?» – спросила Марина Николаевна у дочери и Антошки.

Вдруг Антошка спрыгнул с бабушкиных колен, забрался на колени к матери и вырвал игрушку из рук бабушки. Антошка заплакал визгливо, резко. Лицо его покраснело и сморщилось от плача, словно от негодования. Такого сердитого лица Марина Николаевна ни разу не видела у внука.

«У него теперь такое бывает, – виновато шептала Аня. – Утомился. Пойдем, сыночек, спать». «Нет, не хочу», – закричал Антошка.

Марина Николаевна помнила, как говорила Женька: «Человек рождается ангелом, с абсолютно чистой и доброй душой. Хоть мгновение каждая душа бывает такой – чистой и доброй. Ученые выяснили, что все люди, вне зависимости от расы и национальности, появляются на свет голубоглазыми. Хоть на мгновение каждый из нас голубоглаз. Затем от солнца и сумрака, воздуха и пищи, генетики и впечатлений цвет наших глаз меняется. И даже те, кто остаются голубоглазыми, не совсем так голубоглазы, как при рождении. Правда, наш батюшка со мной спорит: не обязательно все, мол, появляются на свет добряками, некоторые – злыднями».

Антошка затих. Аня прошла с телефоном на кухню. Улыбчиво разговаривала с Лешкой, мужем. Марина Николаевна боялась, что их союз будет не прочным, что поспешает Лешка в чужие края не только за деньгами, но и от жены с сыночком. Марина Николаевна не могла привыкнуть называть Лешку зятем и Аниным мужем. Иногда по забывчивости Марина Николаевна называла его, как привыкла, – Анькиным парнем. Прабабушка, мать Марины Николаевны, заводила свою старую песню – про семью из трех одиноких женских сердец.

Марина Николаевна чувствовала свою вину перед дочерью, словно мало любила ее маленькую, словно начала любить с удвоенной силой только теперь. Для любви нужна верная картина мира, думала Марина Николаевна. Она помнила, что ее раздражал плач маленькой Ани, что ей хотелось скорее отойти от детской кроватки – к своим книгам, к стихам Цветаевой и Ахматовой. Марина Николаевна видела, что Аня любила своего Антошку кротко, ответственно, с сияющей радостью.

Марина Николаевна заглянула в комнату, где спал Антошка. Она услышала: «Бабушка!» «Чего, маленький? Ты не спишь?» Она в сумерках не различала его лица, но знала, что он ей теперь улыбается. «Улыбаешься, маленький. Чему улыбаешься?» И она заулыбалась, видимо, так же, как внук, – понятливо и шутливо секретно. «Бабушка!» – повторил улыбаясь всей возможной детской нежностью Антошка.

*2015*

*Николай ФОМЕНКО*

# ВЗЯТЬ ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ

*Рассказ*

Внешне город почти не изменился. Даже реклама висела с прежними процентами, и стрельба слышна только в районе аэропорта. Её можно было принять за поздний летний гром или взрывы в карьере, где добывают доломит, если бы они не звучали так часто, если бы выстрел не сопровождался далёким разрывом снаряда. Гаубичная батарея, видимо, стояла на Лидиевке, на пустыре за терриконом. Когда стреляли сразу несколько орудий, улица возле террикона вздрагивала, словно от испуга.

Во дворе на бельевой верёвке остались висеть прищепки, в траве лежал детский мяч. Доцветали розы. Увядающие цветы были в каплях дождя...

...Дождь шёл всю ночь и всё утро. С плоского железного навеса на перрон скатывались блестящие струи воды. Они разбивались о чёрный асфальт. Иногда струи сносило ветром, тяжёлые капли долетали до брошенной на дороге пивной банки и барабанили по ней. Люди молчали, в утреннем сумраке все казались в сером...

...Экран телевизора успел покрыться пылью. На спинке стула висели детские штанишки, на подоконнике цвела орхидея.

– Ты не выключила холодильник?

– У меня там замороженные ягоды.

Со звуком сыплющегося из самосвала щебня улетели в аэропорт реактивные снаряды. Их разрывы отозвались толчками в пол. Отец сидел на стуле, опустив голову, и гладил ладонью волосы.

Вскипятили чайник, позавтракали. Отец переоделся и вышел во двор. Под орехом стоял стол и два стула. Давно помутнел и потрескался лак. Ножки в грязи. Летом за столом обедали и пили кофе с булками. Для Андрея на широкую табуретку поднимали детский стульчик. Получалось что-то вроде трона. Ветер закидывал на стол углы скатерти, поэтому ставили всегда тяжёлую вазу с полевыми цветами. Их рвали на пустыре, откуда теперь стреляют пушки.

Поздоровалась соседка, баба Катя. Она стояла на пороге своего дома, и ей было видно полдвора. Баба Катя старая, но не глухая. Ей не нужно кричать в ответ.

– Как ваши дела? – спросила она.

– Как у всех, – ответил отец.

– Надолго приехали?

– По обстоятельствам, – уклончиво ответил отец.

Семейство бабы Кати состояло из женщин. Её муж погиб в шахте, муж дочери погиб в тюрьме, внучка в семнадцать лет родила тоже девочку. Что-то было в этой семье и во многих соседних

---

*Николай Николаевич Фоменко родился в 1953 году в г. Россошь Воронежской области. Окончил театрально-декорационное отделение Ростовского художественного училища им. М.Б. Грекова. С 1978 года живёт в Артёмовске Донецкой области. Рассказы публиковались в журналах «©оюз Писателей», «Esquire» (Украина), «Новый Журнал», «Крещатик», «Отражение» и др. Лауреат литературной премии имени О.Генри «Дары волхвов» (2011), литконкурса «Русский Stil» (2012), лонг-листер «Русской Премии» (2014).*

семьях нездоровое, словно неблагополучие, как проказа, заражает каждое новое поколение, и все, кто здесь появляются, рискуют заразиться их неблагополучием.

– У вас не стреляют? – спросила баба Катя.

– Пока нет.

– А у нас, слышите, что делается. Я вам скажу – это киевская власть во всём виновата. Мы всегда жили тут дружно, кто бы откуда ни приехал. Говорят, нас уже продали американцам.

– Вы думаете, мы нужны американцам?

– Мы-то, понятно, не нужны – земля наша, шахты.

Отец досадно крякнул. Не хватало ещё спорить с бабой Катей.

– Как, по-вашему, надолго война? – не унималась соседка.

– Надолго.

– Вы думаете?

– Слишком много желающих повоевать, – сказал отец зло.

– Поля теперь с вами живёт?

– Да.

– Вот ведь как! Достаётся всем. Охо-хо. А мне, наверно, на роду написано: детство на войну пришлось, и вот опять стреляют.

Потоптавшись на месте, баба Катя вошла в низкую дверь. Просторнее стало в её дворе, словно убрали большой серый камень.

Отец на корточках собирал орехи. Вчера был сильный ветер, и орехов натрусило полно. Вышла из дома Поля. В куртке мужа она была похожа на девочку.

– С кем ты разговаривал?

– С бабой Катей.

– О чём?

– О чём теперь говорят – о войне.

– Она сепаратистка.

– Я знаю.

– Она тебе об этом сказала?

– Нет. Кем она ещё может быть? Обиды на жизнь много, а мозгов мало. Знаешь, я иногда всерьёз думаю, что мне в моей жизни помешало имя отца. Мне не дали собственное имя и назвали в честь отца. Это лишило меня индивидуальности. Правда, бред? Но иногда я так думаю.

– Имя можно было поменять, – сказала Поля. Она подняла несколько орехов и бросила в ведро.

– Вот и они думают, что можно поменять страну. Но я-то точно знаю, что дело не в имени.

– А в чём?

– А ты думаешь, в имени?

– Нет, не думаю.

– И правильно делаешь. Всё дело в требовательности к себе.

– Что толку, если один человек требовательный к себе, а остальные живут, как идиоты, – сказала Поля. Она собирала орехи в карман, потом перекладывала в ведро. – Ты вот всю жизнь был требовательным к себе, и не продал ни одной картины.

– В том-то и дело, что я не был по-настоящему требовательным. Я, Поля, наверно, проиграл в этой жизни, как многие.

– Почему же ты не сепаратист?

– Потому что мне винить некого. Я даже в бога не верю.

– Тебе не страшно не верить?

– Нет.

– И я не боюсь.

– Тебе рано об этом думать. Я старик.

– Мы с подругами ещё до университета ходили несколько раз в церковь. Всегда нас встречали какие-то злобные шипящие бабки. Даже вспоминать неприятно.

– Я как-то в Киеве видел священника на скамейке возле духовной академии. С тех пор не могу забыть. Вера, наверно, то же, что любовь или талант в искусстве. Она не всем доступна. Верующих по-настоящему, правдиво и глубоко очень мало. Тот, возле духовной академии, точно был верующий. Знаешь, я ему тогда позавидовал и, кажется, завидую и теперь.

– Нет, бабки не были верующими. Я это сразу поняла и решила, что мне в церкви делать нечего. Молодой был священник?

– Лет под пятьдесят.

– Что в нём было особенного?

– Несуетливость. Понимаешь, он был над всем. Но не от высокомерия, а от знания. Что-то он точно знал, что позволяло ему быть совершенно спокойным. Я всегда чего-нибудь жду: удачи, неудачи, беды, оскорбления, позора, а он ничего не ждал – он всё знал и ко всему был готов. Так мне показалось.

– Ты с ним не разговаривал?

– Нет.

– Почему?

– Вокруг были одни туристы. И я, наверно, был похож на туриста. О чём бы мы говорили? Нет. Мне и в голову не пришло заговорить с ним. Это всё равно что заговорить с деревом или закатом.

– У тебя много было в жизни таких встреч?

– Нет, не много. Таких встреч много быть не может, потому что они производят слишком большое действие.

– С тобой тогда что-то произошло?

– Так чтобы кто-нибудь заметил – нет. Но, конечно, произошло. Я понял, что надо или верить, или не верить. Всё, что посередине, трусливое суеверие или невежество.

– И ты решил не верить?

– Да. Потому что верить я не способен. Я в этом убедился.

– Когда ты в этом убедился?

– Я убеждался много раз.

– И всё же ты считаешь, что верить лучше?

– Да.

– И никак нельзя себя заставить или научить?

– Думаю, никак. Я же не стал художником, хотя и понимаю, как нужно рисовать.

– Для меня ты настоящий художник.

– Не продавший ни одной картины.

– При чём тут это.

В аэропорту поднялась стрельба. Ветер донёс автоматные и пулемётные очереди. Крупнокалиберный пулемёт звучал солидно, как контрабас. В ответ на пулемётную стрельбу снова бабахнули гаубицы.

– Из чего они палят? – спросила Поля.

– Наверно, из гаубиц.

– А если начнут стрелять в ответ?

– Кто-то должен корректировать огонь.

– Как это?

– Кто-то должен рассказывать, куда падают снаряды, попадают они в цель или нет.

– Значит, этот кто-то должен быть здесь?

– К примеру, я мог бы залезть на этот орех и передавать по рации.

– Перестань, ты мог бы залезть!

– Я пошутил.

– Что мы будем обедать? Давай я приготовлю рыбный суп.
– Из чего?
– Есть банка ставриды.
– Приготовь, а я подниму орехи на чердак.
– Смотри, чтобы тебя не приняли за корректировщика. Может, всё это потому, что мы не верим в бога?
– Чепуха. Это всё от плохого воспитания.
– Всего лишь! Так просто?
– Двенадцать заповедей не религия, а норма поведения воспитанного человека.
– Пап, Андрей просил, чтобы мы его красный кран привезли.
– Не выдумывай.
– Почему?
– Лучше взять что-нибудь полезное.
– Микроволновку ты не хочешь брать.
– Она слишком тяжёлая.
– Кран лёгкий.
– Он очень большой.
– Андрей так бы обрадовался.
– В первую очередь надо взять тёплые вещи.

Поля не ответила. Она повернулась и пошла в дом. Отец смотрел ей вслед. Поля сняла куртку, протянула руку с курткой к крючку. Куртка не зацепилась за крючок и упала. Поля возвратилась и повесила куртку. Набрала в кастрюлю воды, очистила несколько картофелин. На кухонном подоконнике лежали наручные часы мужа...

...Это был её подарок, и муж долго носил их, пока искрами от болгарки не испортил стекло. С тех пор часы лежат на кухне. По этим часам он собирался утром на работу. Уходил в шесть. Поля вставала и клала ему в рюкзак еду, приготовленную с вечера. Он старался, чтобы она не проснулась, и несколько раз забывал еду. Поля решила, что будет обязательно подниматься и класть еду в рюкзак сама...

...Почистила луковицу. Щёки в слезах. Вошёл отец.
– Не подумай – это от лука, – сказала она.
– Конечно, – сказал он и, взяв ключи от чердака, вышел.

## *Елена СУНЦОВА*

***

Ласточка на хайвее
Мечется, бьется в стекла,
Верю тебе, не верю,
Куртка насквозь промокла.

Так меловые скобы
К берегу льнут отвесно,
Прячется осколок
Там, где одно железо.

Или тяжелым грогом
Поит Цитера на ночь,
Вязким, как Сумароков,
Падающий навзничь.

***

А ты, смешной прибрежный памятник, очнись,
Ладони в окиси вот так вот повернуть,
Летают в воздухе, садятся на карниз,
И темя медное поманит как-нибудь.

У них, в холодном пегом мраморе небес,
Одни прожилки рассекают темноту,
Одна дорожка через самый черный лес,
Там хлопьев вылущенных будет им картуз.

И перепутает усталая вода,
Совсем как ты ее со всем, что наверху,
Тебя и тень твою, слюда, и нет следа,
И я тобою, как русалочка, теку.

---

*Елена Сунцова родилась в 1976 году. Училась на художественно-графическом факультете Нижнетагильского педагогического института, на факультете журналистики Санкт-Петербургского университета. Окончила факультет «Литературное творчество» Екатеринбургского театрального института. Стихи публиковались в журналах «Воздух», «Волга», «Дружба народов», «Новый мир», «Урал», Homo Legens и других. Автор девяти книг стихов. Главный редактор издательства «Айлурос» (Ailuros Publishing). Живет в Нью-Йорке.*

***

Каждый день лисенок Лисин
На закат в окно глядит,
За рекой рысенок Рысин,
Серый друг, совсем один.

Луч последний на мгновенье
Шубу сделал золотой,
Черных кисточек антенны
Принимают: помню, твой.

Кто бы мне себя доверил,
Лишь цепочкой, как гавот,
Тихо пляшут ночью звери,
Не укроешь никого.

***

Быть одиноким плохо.
Одинокие опасны для общества,
Их следует изолировать.
Попробуй только скажи одинокому,
Что он одинок,
Попробуй только понравиться одинокому,
Все, как минимум несколько лет
Спартанский лисенок будет грызть этого смельчака.
Или еще можно провести параллель с орлом и Прометеем,
Тогда есть надежда, что спустя тридцать тысяч,
По другим подсчетам, миллион лет
Весь этот зоопарк все-таки прекратится.

Ошалев от любви и усталости,
Первый раз в городе,
Где все люди должны быть счастливы,
Я, спотыкаясь, брожу по темным улицам,
Нет, никаких воспоминаний,
Никаких фильмов, литературы,
Всех этих голубей, пугливо несущихся от ног возлюбленной,
И даже роуминг,
Чтобы сообщить тысяче френдов об одиночестве,
Не работает.
Быть одиноким плохо,
Приходится самому набирать эти строки,
Самому ненавидеть, любить, верить,
Самому открывать и читать письма,
Ржавеющие у входа,
Просто читать,
Самому,
И далее до бесконечности.

Члены общества изучения Арктики
С помощью воздушного корабля,
Создатели нового международного атласа облаков,
Исследователи влияния древесных опилок
На количество и силу заморозков,
Наблюдатели явления, необычайного по силе и разрушительности,
Утратившего интерес
В силу органических причин,
Все вы, вне всякого сомнения, одиноки.
И я протягиваю вам руку,
Руку, набравшую эти строки,
И говорю:
Вы опасны,
Вы очень смешны,
Вас следует изолировать,
Вы мне нравитесь.

***

Никакие мы не грабли,
На которые сто раз,
Ты кораблик, я кораблик,
Мачтам-стрелочкам указ.

В сети легкие попалась,
Метеор морского дня,
Иглокожая усталость,
Половиночка меня.

Я к тебе, звезда-сестрица,
Выше, выше, и сиять,
Знай, имеет вкус водица,
Вкус соленый, как не знать.

***

Цепь кованая ну раскуйся чем
Плечом или пылинкой на плече
Билетом лотереи в кошельке
Владельцем кошелька раскуйся кем

Пожалуйста смотри на мертвый вяз
Упал не удивляясь не боясь
Не постил о грядущем холодке
И ветви не протягивал руке

Лежит как будто ласточка над ним
Кружа вернула жизнь его и дым

Над ним колеблясь дышит и дрожит
И я бы так жила как он лежит

***

Мне мало огненной реки
Вот лисий хвост пророс
Сквозь паутину помоги
Сбывающихся ос

Мне прыгнет рыжая на грудь
Как имя в темноту
Смотри вон светится забудь
Я обниму и ту

Мне чудо этого плеча
Нужнее ночи всей
И утра шкуру волоча
Я поплыву по ней

***

Как тот пионер с неистлевшим значком,
Стоит наша общая память торчком,
И ей не лежится, неймется,
Как будто бы что-то найдется.

Все вынуто, спето, употреблено,
Ан нет, раскрывается с треском окно
И молит: смотри в меня снова,
В кроссворде пропущено слово.

Какие, к хвостатому, могут слова
Быть там, где давно колосится трава,
Где ходит блондинка с косою,
Аральской колючее соли.

Ну разве что это, как ты замолчал
В ответ на ой, кажется, кончился чай,
Ты спал, я несла одеяло,
От ветра окно закрывала.

***

Холод его подруга
Вот он куснул за ухо
Вот распластался тапком

Кем бы он ни был лаком

Этот ожог и память
Если смогу добавить
Что-то прижаться щечкой
Но мимолетной дочкой

Холоду не хвалиться
За морем та синица
Или верней Снегурка
Пепел с его окурка

Жизнь его это книжка
Что ты ему так льстишь-то
Твердая запятая
Ну же вот-вот растает

***

Соткешь и распустишь веселый лоскут,
Что выдумать рану мешал
И самый тернистый и колющий путь
В пути неспроста украшал,

Мой новый, летучий, свободный, пустой
Стекла голубого клочок,
Пушистый без пуха, беги за собой,
Себе утыкаясь в плечо,

Кожурка спасения, воздуха змей,
Которому жарко держать
Смеющийся шар на ладони своей,
И он улетает опять.

***

Самый бедный, милый голос
Я упрячу побольней,
Ради этого, такого,
Что погонится за ней.

Ради льдинки на ладони,
Слова южного люблю,
Ради нулика в фотоне,
Марсианки мурлуу.

Слушай радио, частичка,
Четки высуши, волна,

Отражай себя, водичка,
Спи, холодная страна.

***

Вот он стоит со сжатыми кулаками,
С играющими на скулах желваками,
Смотрит ей вслед, прощай и не смей обратно,
Если вернусь, сама же не будешь рада.

Вот она цокает к поезду, дирижаблю,
Лодке, повозке, ракете, и ей не жалко,
Не понимаю, зачем мне к нему обратно,
Если вернется, я же не буду рада.

Вот между ними страны и континенты,
Звезды, галактики, моря эквиваленты,
Нежной соленой воды, что терзает берег,
Хочет, не хочет, верит или не верит.

***

Ветер угас, видно, дуть устал,
Отдал покой волне.
Рыбу нечаянно кот поймал,
Спавшую на дне.

Утка дорогу перешла
С выводком утят.
Смотришь на стаю: как тяжела,
А как легко летят.

Вот, раскрывая себя, цветок
Муку простил всем.
И не увяз еще коготок,
И океан нем.

## *Лев ОБОРИН*

***

Темнот всего семь, и седьмая
шестую во сне обнимая,
мечтает о солнечном дне,
где тени становятся резче,
и взрыв происходит, и вещи
сливаются в общем огне.

Себя уподобив лавине,
там жители в пасть котловине
несутся с насиженных гор
(тела их как небо в прожилках)
и знают, что в мягких опилках
укрытый лежит физраствор.

Иные темноты как сестры,
у них сновидения пестры
и только бодрят кровоток,
их папа сотрудник таможни
он прячет продукты надежней,
чем может унюхать каток.

На звук их дыханья неясный
мы целим прибор инфракрасный,
отстроив по нужной волне –
и вот, созерцаем эриний,
лежащих на тонкой перине,
обнявших друг дружку во сне.

***

Йон серебра в воде.
Сал блестит в бороде.

---

*Лев Оборин (р. 1987) – поэт, переводчик, критик. Стихи в журналах «Октябрь», «Воздух», «Волга», «Интерпоэзия», Poetry, International Poetry Review, газете Gazeta Wyborcza и др., статьи в журналах «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Воздух», переводы в журналах «Иностранная литература», Prosōdia и др. Книги стихов: «Мауна-Кеа» (2010), «Зеленый гребень» (2013). Шорт-лист премии «Дебют» (2004, 2008). Премия журнала «Знамя» (2010). Шорт-лист Милошевского переводческого конкурса (2011), вторая премия Ружевичевского переводческого конкурса (2013). Соосновательпоэтической премии «Различие». Редактор серии «Культура повседневности» издательства «Новое литературное обозрение», редактор журнала Rolling Stone. Стихи переведены на английский, польский, немецкий и латышский языки.*

Рош колосится в поле.
Бер ворчит над колодой
с медом; вольному воля,
Ленин такой молодой.

Но, как тот самолет,
что ревнивца несет
к лестничным маршам неверной,
взгляды хотят перемены:
больше не будут безмерны,
станут применены.

Взгляд влетает в окно:
Тело за ним давно
в созидательных вихрях
доведено до бессилья
и трудовой свой выкрик
отдало стенам жилья.

Человек в темноте.
Огоньки на плите.
Ленины на рояле.
В чем лампадные свечи
красное растворяли, –
стало устьем печи.

***

Кто ты, кто ты, дорога

сорвавшаяся с катушек

водяная змея

когда мой пожар потушен
ты прикинешься шлангом

пожарный расчет придется
заменять компетенцией лозоходца

где столбы расставлены
в поле
в палеоконтакте

много миль идти
но дышится полной грудью

ход часов набирает вес
начинаясь там где
ты возможность показанная безлюдью

***

Заслужил ли я двойника
на холсте или в камне
или в чьих-то словах?

Если да,
станет ли он
частью удивительного,
камнем ландшафта
или плодотворным нулем?

***

Мир рассудит где я был неправ
громко стучал о стену переплетами книг
ставя на полку обратно

Упражнял бесполезный сустав
не подумав будил остальных
и зачем непонятно

А тем временем жизни извне
ходили в музеи осваивали сноуборд
выбирали надгробья

Как в янтарном, молочном, жасминовом сне
бесконечность трудов и забот
имена адмиралов, кормление воробья.

***

Делить или не делить
21 на 10?
Выводить или не выводить
10 из 21?
Дожидаться нулей или
сломаться подобру-поздорову?
Бедный Тантал с нервным тиком,
двоеточие Шредингера.

***

Не зациклено на себе
чудо зеркала на столбе:
добросовестно отражает выпуклую шеренгу
муравьев: мелкотоварный транспорт, белки-насосы,
обеспечение организма.
Ошеломленных четырьмя пятилетками секса работниц,
возвращающихся в объятия серого ворса.
Малозаметный осмос летучих голландцев,
ненужных,
знающих,
что игольные уши сегодня гуманны:
пропускают слабослышащих, слабовидящих, остроумных
вместе с верблюдами; вместе с запасом воды в горбах;
вместе с пряностями; вместе с нитями их историй:

Отражает шеренгу и бледный
с другой стороны караван,
направленные противоположно;
сообщает им в центре максимальный разнос.

Добросовестно искажает их параллельность.

*Валерий ВОЛОДИН*

# ТАМ, НА КРАЕШКЕ БЕССМЕРТНОГО ЛЕТА

*быль*

Незамысловатый лепеток воды все наговаривает призрачным языком о призрачном неком бессмертии. А его и не надо, этого безликого и неприступного бессмертия, овевающего из безвестных краев нелюдною пустотой, пусть иногда и восхитительною. Всего-то и нужно: почти безымянная речка, и оторопь лета, и жарынный медлительный полдень, суть которого вызрела из запаха спелых, отсиявших недавно трав и прикосновений воды. Всего-то и надо: чуть-чуть да слегка, по кромке разнеженной блажи. Благо если случится тут к месту песчаный пустынный во весь великий огляд бережок, встревоженный лишь давними, почти неживыми, уставшими цепенеть, быть людскими, быть людным на всем еще протяженьи следами. Остальное – дело речки, петлисто бредущей средь полдня, влекущей из далей в даль свою огромную свободно льющуюся пречистую речь, с которой так и подмывает перекинуться речисто-ручьистым, во всю мочь безвестным и до скончанья веков бескрайним словцом.

Давнюю светлую грусть, затерявшуюся нетревожную память легонько твердит эта бессловесная, но предельно внятная и соприкосновенная речь, хоть и в смущении пребывает она как будто уже за краешком закосневшего среди привычек слуха, вне всяческой приемлемости ощущений – там, где смутно царить сокровению, изнемогшему в немоте, средь безбрежных и шатких, средь неотзывных безмолвий, которые и не окликнуть, до них никому не дозваться.

Речные речи бесхитростны, умиротворенны, с ясностью высшей, быть может, нездешней они вершат своей влажною молвью вторую – бесценнейшую – тишину, шествующую сторожко и изящно в неторопком, плавном раздумье вдоль тишины основной, за которой приставлен смотреть всяк окружающий день (по причине потакающей всему лени он весьма посредственно справляется со своими прямыми обязанностями, зрит куда-то всегда мимо), и только беглое слияние той и этой, только неуловимое их совпадение способно дать емкую и достоверную картину летнего дремотного часа, истощенного собственным дленьем, не тяжко уставшего от себя и тронувшегося мал-мала рассудком: вот-вот залепечет из небывалого и иного или языком вековечного камня, сумрака девственной – миллиарды уж лет пребывающей в девах – глины в вольном переводе на птичий, а возможно, и в переложении на диалект рассветной росы, на выговор местный (что невинно ладит притвориться всеобщим) закатного зоревого румянца, излагающего вечеру свою последнюю волю зябким, дрожким, неопровержимым шепотом предгибельного завещания.

С этой неисчислимой, плавно-избывной, блаженно нетолпливой водой, мерно проваливающейся сквозь бездонный и попустительский полдень, не имеющий никакой обнадеженной

---

*Валерий Володин родился в 1956 году. Закончил Саратовский госуниверситет (отделение психологии биологического факультета). С 1989 года постоянный автор журнала «Волга». Автор книги «Повесть временных лет» (Изд-во «Библиотека альманаха "Слова, слова, слова"», 2015; https://www.createspace.com/5783953). Живет в Саратове.*

тверди, целиком состоящий из неопасных пропаж и величественных щедровитых исчезновений, готовых богато, чем бог послал, поделиться с тобой в любое мгновенье любым облюбованным в мгновенность мгновением, – с этой бегущей мимовольно водой так чудесно побыть наедине и ни о чем поразмыслить той чуть внятно журчащей, утешительно перед взглядом влекущейся мыслью длиною в реку, препоручив себя благосклонной летней праздности, пока под вздрогом беспричинно очнувшихся чувств не сместится в резкой странности солнце, как будто отмерив махом одним час или два небосклона; и ты поймешь, что – ловким влияньем неизвестной причуды – очутился уже в другом и других странностей мире, больше не похожим на себя, чем собою являющимся. Отсюда, из этой прельстительной ловушки странности, надо еще думать и думать, как без особых потерь да пропаж выбираться, как сделать недействительными ее вязкие, длинные чары, чтоб не поисчезнуть, не отпасть насовсем от того, кем ты был час вековой обыкновенный, час пропащий назад. И как сохранить по дороге из крепко объявшей пропажи себя, сомнительно уже прежнего, в наличие которого верится с удрученным, противным трудом, – того, кто, пользуясь старыми минутами, их светлым, доверчивым благорасположением, впав в легкое безумие прошедшего времени, все еще сидит, смутно потерянный, на песчаном, древне сыплющем струйками мудрой напрасности бережке и, прочно, будто навеки забывшись собой, неутоленно внимает усеянной солнцем воде, сносящей вместе с крупными затяжными секундами (норовящими всласть покружить в омутках и обмануть, вконец исхитрив, легковерное время) свою завораживающую плавную массу, наспех, правда, да кое-как одетую в блики беглые, прытким, лукавым веселием вздорные, – речка упорно кажется нагой и смеющейся, ей надоело блюсти несвойственные приличия и все-то время ходить по струнке береговой или на волновых, а то и песчаных, ежели порой мимо себя занесет, вышколенных вкрадчивых цыпочках.

Не про эту речку сказать: ровная приязнь равнины, ровная участь безучастья.

Это не про нее. Она далеко-далеко не такая.

Эта речка смеющаяся и нагая. Она от веку такой природилась. От веку с ней внешне такая случилась судьба – и вот происходит наглядно.

Она проказничает, она едва ли не в открытую озорничает своими исподтайки рвущимися, распирающими ее желаниями, своим вроде бы деловито, цельно устремленным, как бытовой дядька сугубо тверезый, потоком, вдруг ни с чего замелькавшим переменчивой и блажной немножко улыбкой: понятное дельце – нахлынуло настроение и наплыв бодрецы просто некуда стало девать, хоть слегка, для степенности пущей, припрятать, смех из реченьки выпирает, она того и гляди прыснет, и будет совсем-то уж неудержимо и во всех поступках пространно; станет тотчас престранно. Она, конечно, прилично лукавит, снося эти многие воды с огромной, где-то даже судьбинной серьезностью, с видом неуклонимой природной работы, но – по всему, по всему же ведь совершенно ясно! – ей ничего не стоит от личного бега в любую причуду отлынить и выкинуть непредсказуемое коленце, спроказничать странным поступком, почти непохожим на реку, не влезающим, с людской точки зренья, ни в какие лихие, полные смутным людным ворота. От нее всего ожидать можно, от этой скрытной, славной-плавной тихони! В тихом омуте ее наше сердце водится. Там оно давным-давно обитает. Не свое ли сердце проведать втайне мы приходим на всякую речку, отыскивая ее повсюду, где б ей хоть фата-морганою сухощавой, виденьями полупьяной средь пустошей или пустынь ни взяться?

Она как будто купается вольготно в себе самой, то и знай превышая, переплескивая свое разыгравшееся плывучее тело вырвавшимися из одной игры и... не уследить, глаз своих не поймать, разбежались всесветно глаза... уж в другую улепетывающими плесками, водоворотцами, задорно

возникшими из ниоткуда и залихватски пустившимися в крошечное пиратство волнами, бесшабашными и нередко насмешливыми – не то для виду, не то для отвода глаз (хотелось бы знать поточней – чтоб правильно выстроить с ней стратегию дальнейшего своего речным все более становящегося поведения). Без устали бодрые, живчиково резвые, подчас даже нескрываемо безумненькие частицы реки, будучи под влияньем восторгов каких-то строптивых, неукротимых сил, действуют вперебой да внахлест (это похоже на ропот или толпяной беспорядочный гомон), словно бы подбивая умеренную и благонравную воду на пропаще отчаянное, но счастливейшее разорение, выводя из последних терпений угрюмого духа пучин – давно отставного, за штатом вод, водяного и разрушая рутинный ход остепенившегося без малого миллион еще лет назад потока, все норовящего, точно нешуточный ездовой, сосредоточиться посуровей на угрюмости стрежневой заботы. И потому-то речка в разноречье и разногласье, в очаровательном хаосе бегло ликующего, бликующего блажью тщеты легкомыслия, только отчетливей создающего чудесное впечатление целиком, без изъятий веселой, как-то возвышенно возвеселенной воды – пенящейся разудалой, а местами и буйной, вряд ли утратой какой укротимой любовью; водица дразняще смеется всей открытой своей и утаенной жизнью: скрывать ей, оказывается, нечего – даже темноватым немного, подспудно щемящим чувством она безупречно так-таки чиста. Ни в заднем уме, ни за влажной душой попрятать украдкой, легонечко даже потайничать ей нет ничего – все как перед богом, до донышка сутей прозрачных открыто, унеженное пространной Его, точней и ценней всякой речи молчащей ладонью.

Все проникнуто в приречном тихости и милости исполненном мире вволю блаженствующим утверждением собственной как бы беспричинной данности – и бывания низачем. Солнечное всесилье, мреющее блаженство нежно господствуют в этой песчаной одревневшей еще в немыслимые поры местности, поросшей изумленными собственными явлениями лопушками мать-и-мачехи; и без тени сомнения лучится река простодушным весельем, непрерывная в легком, почти уж воздушном, прозрачнозримом на всю округу смехе, ни хитринки, ни умышленного уклонения, ни извилинки некой психологической непрямоты, за ее душой не кроется ничего тяжкого, в ее переувлажненную безмерную душу не втаиться никаким разрушительным, враскорячку да врастопырь подживающим сроки свои мракам. Она явлена во всей сияющей наготе, во всей наготе зыбкого ее, множественного, плавно сносимого вниз по течению и вспыхивающего вновь отовсюду смеха, во всем проказничающем смехе пленительной наготы, и оттого отвергает реченька любую тяжелую мысль, как напраснейшую из всех напрасных напрасность, как неприемлемо отвратную тщетность. Яснее ясного: река не станет ни с чем враждовать, ничему перечить, не принято у нее и неволить – она попросту не заметит сторонних злоб, взгляд потупив ко дну, таинственно и хорошо улыбнувшись чему-то, пусть и отчасти смутно. И лишь проносятся по ребристому водосвейному дну прозрачные и окрыленные тени, вспугивая стайки оводеневших солнечных зайчиков: это вскользь читает вода смутную, неопределенную душу все-таки невыносимого в целом песка – эту пасмурную бездыханную душу, которую ей до конца не дочитать, так никогда и не осилить: она нечитабельна, депрессивная проза... н-да, выходит, зарыта и здесь эта заглубленная сверх всякой меры, глупо урытая в придонный чумазоидный ил плачевно русская на всем протяжении дна проза (а лучше по ней, что ужасней для всех расступающихся в дикой панике стран, в плесневелом нутре обитать, в сопревшей утробе всякую розу мира норовящего угнобить, реально говоря, навоза). Увы, как ни избегали, как ни откручивались мы от нее, опять она тут как тут, ровно лист, волшебствующий ложно, перед в сказке травой... и мгновенно вот втюхалась, нагло впарилась нам эта высокоопустительная русская проза, отвратней которой невесть даже что и бывает, грязи отборной, мысли злосчастной не хватит равную ей мерзавность уляпать. Такая уж вот природилась дурында, от одного только явленья которой невыносимо длинно страдать охота и на весь мир стенать без цели практически беспардонным образом – как бы в превратно увеселенном припадке вселенную охватившего небытия...

Мертвенно охватившее забвенье длится иногда еще с несдвижимой в чувствах зимы, и тогда обнаруживаешь, что очутился в немыслимо странных – с морозного взгляда – пределах лета, очнулся вне чуть ли не намертво привыкших к тебе снега и белизны, влюбленных в тебя втихаря и безответно морозов, – снулая жизнь, которая покинула твое зимнее измедленное запустенье и непоправимо как будто бы отдалилась, внезапно возвращается прояснившей волной, долгое время тобой пустовавшей, а теперь спохватившейся щедростью с лихвой затопившей, – средь речисто, пречисто звенящего, кузнечиково стрекочущего, неумолчно лепечущего полынным прогорклого лета, едва ли не наугад сотворенного из страстных избытком своим видений, на древнем от песчаной вечности бережке незатейливо осмысленной речки, тщетно все пытающейся уже давно и бережно и безбрежно привести тебя в чувство своим драгоценнейшим разговором ни о чем, а точней – обо всем, что ни есть, что только ни бывает в этом с потайной изнанки прекрасном мире. Который час, день, которую жизнь, которую вечность, водной зыбучей речью толкаясь в потерявшее себя сознание, ставшее еще одним несущественным призраком, спрашивает она тебя ненавязчиво, отрешенно о чем-то? – но ты все не слышишь, привычно зимним мертвея, ты внешне таинственно-странно глух (узнается лишь словно б наружность звуков, но не бесценная их подоплека), внимая вязкой, темной, ничего не разрешающей беседе-беде в себе, которая, может быть, невозвратимо далеко увела тебя от того, кем ты мог бы с полным правом прочно назваться: точка личного невозврата пройдена... неужто уж и она миновалась – последнее, что у тебя надежною твердью было? Возможно, речка спрашивает самое обыденное, житейски простое: ну, как ты жив, мил-человек, как ты сущ, хил-человек, бедненький мой отстраненный от людного мира курилка? Но даже и этот предельно ясный вопрос, будь он ручьисто изъявлен, до времени тебе не по силам, не по разбродному духу, мятущемуся призрачно и ничейно, точно это самой безыменности дух, разгулявшийся с брезгливою силой, не ведающей, как щадить, в мать-и-мачехиных местах, небольшою пустынькою взявшихся, на первый живой, убежавший зимы погляд: кроха сбежавшей сюда еле разжившейся, растлевшейся из небытия вселенной. Как же здорово она, умудрившись в речное въютиться, жизнью оборотилась и самой себе средь нечаянности живной своей вон как ярко удивилась!

Речка окликнет прильнувшею речью своей, растормошит – и вдруг, вынырнув из глубинной давнишней смерти, чудом каким-то отмертвившись, увидишь: да это же лето, боже ты мой, безбрежное солнце, и пристально чудаковатое небо, синь неистратная подуставших небес, и воздушная поступь по незримым лесенкам в неизбежность семенящих проворно стрекоз, и слепящая рябь – или гладь?.. не понять-разобрать – утомленной жарынью, беззастенчиво вздремнувшей на ходу, средь движений живучих воды. Это лето и солнце. И жизнь. Да, она... Ее поскорей узнавай. Не пропусти, не упусти, ленивым блаженством незнанья не запропасти... Жизнь непомерных объемов выплескивает, всюду хлещет азартно за всякий смутившийся, суматохою легкою ставший вдруг край, что теряется быть пределом и существует в смущеньи, пребывает сбитым с толку смятеньем – явно родственничком не так-то уж дальним самой государыни сумасбродности, которая откровенно и все теснее дружит с небезызвестным господином приветцем, коему с берегов безвестных и мы шлем горячий, прямо раскаленный страстями привет, распламеневши в объятиях разлетевшегося жить пылко и ясно лета.

Мерно взбулькивая, журча, пошептывая нежностью преображенными плесками, вскрикнув ни с того ни с сего несуразное раздухарившейся вдруг бесшабашной, загульной волной, речка твердит ни о чем, течет ни о чем, она не подозревает, о чем я, о чем же я в затишках своих существую, и остерегается нарушить мой забывшийся, как бы лишь по касательной присутствующий здесь покой неуместной своей и меня отягчившей бы враз мыслью ли, жизнью ль. Речка со мной осторожничает, все боится быть невпопад, досаждая глупым, болотным и тинистым каким-нибудь промахом. Она не ведает до поры, что мне сказать, чтоб не стало мне плохо и тут непри-

ютно, совсем-то пропаще. Она почти открыто страшится сделать этот мир для меня ненароком тягостным и ненужным – на всем протяженьи, на всем изобилии дленья излишним. И ручьисто молчит, струит светлую молвь-немоту, изредка взбулькивая несдержавшейся – чересчур уж простушкой, похоже! – тайной, вскользь читая неопределенную душу злопыхательского, неприподъемного в чувствах песка по старинной, мгновенно изменчивой книге дна, смутным призраком ускользающего, крадко пробегающего в исчезновения, словно в близящийся тотчас по пугливому соседству мир иной... но и всенепременно, всенеукротимо – обратно: дно есть дно, всегда оно самим собой как-нибудь остается – из исчезновений вывернется, отбоярится от них этот издревле хитрован, да самим собой все одно что есть силы и духу пребудет. С присущей ей отроду, вполне очевидной для нее даровитой чуткостью река остерегается слов, которых боюсь, трепещу прежде времени я, но мы еще не знаем, что это за слова, на которые легло подозренье в опасности, пала тень непременной опалы – предбудущная измелькнула тень тревожно зябкой опалы. И потому-то беспрестанно уносящаяся прочь, беспрестанно прощальная без страсти водица бежит всех слов без разбору, избегает все осмыслинки малые кряду, – чтоб не выискалось по случайности неприязненное, больного норова слово, моментально осквернившее бы и меня, и обыкновенную эту, самого незатейливого и бесхитростного нрава простовременку-минуту, ни в чем, естественно, не повинную, ничем не запятнанную, если только не вменить ей в вину меня, в нее тягостно и беззаконно, скорее всего, заключенного.

В какой-то разверзнувшийся случайностью и кряжисто пошатнувшийся, едва не сроненный пагубно миг, что столкнул сознанье с заматеревшего в небывании места, речка, дивясь непредвиденной личной несдержанности, влажно и неожиданно важно воскликнет что-то такое до необычайности ясное, на изумленье живое, от чего с пронзительной светлотой оживаешь и смотришь, и благодарно видишь все иными, только что подаренными кем-то волшебствующими глазами, теряясь от обилия затолпившихся в тебе очнувшихся взглядов, неуследимо разбегающихся всюду, страстно жадных до последней соринки видений, даже и до безличнейшей из безличных, отъявленной захудалости, до бедово кричащей своими ничейностями заброшенности, изничтоженной в безвольно грустящее нахлынувшим небыванием Ничто, Ничего, в эти вселенскими уже ставшие, личной пропажей всесветно тоскующие, вчистую изверившиеся Ничто, Ничего, коим самое место в безвестной нигдешности да в пустейшей, пропащей ничейности, а они бывают и тут... тут как тут, словно только их и ждали, тратя последние, совершенно уже бесценные, на вес жизни самой, жизни легчайшей, жданки.

Из спонтанности потока по нечаянности окликнув, как бы из клика и зова, принадлежащих совершенно иному, другому – не мне, речка-реченька, речка-речь-наугад (по счастливой случайности как раз мое оказавшееся наиточнейшим речение? вольноотпущенное под солнцем сверкающее, страстью незнаемой сияющее изречение?), реченька – изустное здешних мест преданье – продолжает себе как ни в чем не бывало отрешенно и легонечко, простенько так лепетать, из края в край беспечно и простодушно мерцая, словно плывущее очарованно звуковое неумолчно длимое марево. Шепотным солнечным мреющим гласом ручьистым несет расчудесную, внятную лишь сумасбродному полдню прельстительную околесицу в глубинах одавившего все и от мира сего все отдалившего зноя своим разлившимся благостно в обмершем воздухе полепетывающим, заплетающимся, бессмертным воистину языком, – не ведая, о чем она, реченька-речь, о чем столь связно и столь же разноречиво лопочет, колокольцем усталым дорожным, силясь сквозь дали всесветно, бормочет, о самом близком, без меры насущном хлопочет или щедро уже, дальновидно пророчит... то, не сдержав превысившей ее страсти, на повышенных тонах безудержно болтливой, развязной малость и звонко крикливой – словно выродившейся из себя, свойств своих – водицы, то, погодя, торжественным ладом трепещет самозабвенным ручьистым своим, взбулькивая, голосками заречными вспыхивая в омутке, до одури играющем с собой в закружившие уже

и смутившиеся догонялки, всплескивая на перекате кратким, куда-то страшно опаздывающим, воспаленным и в то же время деловито-небрежным возгласом, пререкаясь с этими всегда, как назло, поперечными, с вечно ворчливым своим, заковыристым норовящими встрять бережками да вредноватыми, беспрестанно себе на уме, суховатыми в обращении заберегами, – горячо проповедуя страстью в и без того пекловидно жарынном выморочном полубреду, который и всякую-то в твердом уме сущность обратит неминуемо в зарапортовавшийся пылкий мираж, и какими словами, да и словами ли вообще ее мерно и славно плывущая мимо все, мимо престранная пространная – распросторнее всяческой мысли – речь, таинственно, буквально из ничего же творящая и дарящая здешний неоспоримо божественный островок мира, созданного ею невзначай и практически наугад из речного незамысловатого лепета да чуть слышно шуршащего мечтанья песка, который не первый уж миллион лет так бесплодно и сладко мечтает, возможно, о людях, со временем выращенных из песка, из кремнистой его проживившейся в свет плоти. Пылко желаем новых дерзаний тебе и ухватистых, цепких, ловко действенных мечт, прекраснодушный дражайший песок, на творческом поприще сомнительно биологических изысканий! Безвременно нобелевской премии тебе, трудяга песок, за усердия вековечной мечтательности, которые не покладал ты ни на единственное упущенное мгновение, грудами свейными лежа себе да благополучно бесперспективно полеживая средь полевых дичающих экспериментов по взращиванью нового, небывалейшего из небывалых, насквозь песчаного или какого уж там получится из чистого ничего человечика.

Она твердь надежды внушает, эта обворожительно плавно, живно упруго сносимая, как-то равновелико себе все бегущая, и неизбегаемая, и всякое мгновенье другая, не уловимая в сути повелительной и уклонной, в сути чудной река, пронизывающая незаунывной прощалью. Внушает жизнь прочную – прелестно непредугаданную, неисследимую, жизнь сбывающуюся, вопреки всему непременно удавшуюся, с собою в итоге точнейше совпавшую, и итог этот – мы, богато дни истружденные, плодовито весомые выслужившие, сокровеньям безоглядно, в крах себя издарившие – живого итога мы, которых, возможно, среди земных Мелькающих и прочих здешних юдолей уже и не заприметить, но это не жалко, ничуточки вот не жалко: пусть будет и не заприметить... Внушает жизнь всевозможную и, мнимость есть, вездесущую. А вместе с нею – бессмертие, ту до обмертвения выжаренную, до хлипкого избыткового чуда напитанную солнышком, светлым-светло, ясным-ясно просквоженную летнюю вечность, которая в бесчисленный раз легко нас обманет и просто, совсем без предательства от нас отречется: не туда вы попали, отмякая от небытия, вечность измедленно скажет, потупясь печально, осиянной грустинкой приулыбнувшись устало, да и, наверное, это были не вы, здесь речь не о вас, как давно, далеко все слова не о вас... зайдите как-нибудь в другой или, лучше, в иной даже раз, через пару-тройку порядком одумавшихся и опамятовавшихся изрядно столетий, там посмотрим, что можно будет сказать про вас, что спроворить про вашу такую-сякую, как выясняется за погибелью массы времен, развсякую душу – она не запритворялась ли у вас украдочкою бессмертной?.. как это было бы с вашей стороны печально, как невозможно, как броско нахально!.. непредусмотрительны вы да и темненько непредвиденны в лично освоенной какой-никакой душе... Что отскажешь тут? Что, сникая, ответно промямлишь? Гробовым молчанием что опровергнешь или досадливо оным же саргументируешь? Путаница она известная – вечность. На то она и вечность – растеряха, уморительно смешная не в редкость особа, хлипко, хрупко, как-то слоновьи мешкотно в иные разы и громоздко, чересчур угловато прячущаяся в каждодневности, да только шила в мешке не утаишь, не заневолишь шила: где-нибудь, гляди, вечность и повысунется, остреньким своим не утерпит – чтобы так ли, эдак ли, но сказаться, о чем-то сугубо личном по секрету всему свету совсем на женский манер проболтаться, легче легкого на всю вселенную растрепаться. Такова уж ее бабья суть, вся из бабьего сквозь лепетанья. Не одни пресловутые парки – как судьбинные (извеку те еще штучки!), так и всецело земные, обликом прикинувшиеся воспитанно городскими (тоже нам, паиньки...) – таково-то блестяще умеют: неумолчно животворяще...

Запредельно обленившаяся, хлопотким маревом взявшаяся, вальяжно и величественно растекающаяся окрест зеленая и большей частью песчаная мысль лета, что сбрендила от жары совершенно, смуткой многоякой затмилась, в чем-то хорошем, прелестном превысила мировое даже, кроя всякого-разного, сумасшествие. Эта мысль изначально была ни о чем, похожая на тягловое раздумье глубоко забывшегося, слишком далеко забредшего, как бы вслепую ушедшего в себя человека. Мысль, вполне вероятно, о том, что так и надо быть просто так. Низачем. Ни о чем. Так естественно – нипочему. Просто быть – ни за что, ни про что, а жизнь сама все покажет и, где надо, без нажима, обожаемых ею погонялок все на свете безмолвно подскажет – и за тебя же все бесподобною немотой своей выскажет, а ты только живи – не ленись: так сказать, бытийствуй... жизни на благо, себе в умиротворенье бытийствуй во имя рассветно просветленной души – несказанной, сквозно прозрачной, как рассентябренная осень, души, на закате похожей на усталое, на усталое и дремотное, вчистую иззревшее солнышко – притворилось оно, будто нанесен ему за день огромный, дескать, непоправимый вовек урон, несмотря на то что никакого сносу ему, и по всем убыткам ведь явно ж, не будет. Солнцу здешнему – вселенским оком со стороны наверняка же отлично видать – ничего-то из ущербов, попраний лихих не сделается. Очень явно – притворяшка оно, это впавшее в закат солнце. Но, впрочем, еще не вечер, еще не вечер. Рановато взялись обличать мы в упадках светило, сейчас повинное как раз в обратном: упоенно, самозабвенно пышет. Словно и мир ему уж не мир, можно с ним не считаться... Опаньки! Что сияет там солнцу наперекор? Да год лит-ры, упорно свежий и молодой, хорошо засветился наверно. Больше сверкать там уж, к явному, нечему. Обыкновенно в тех сторонах всё, как на грех, бессиянно. Редко когда не мрачнее висьмя висящей брюзгливой тучи, как бы опровержительной, но квелой соплей исходящей. Год лит-ры теперь, заката взамен, свежеобустроенной благонравною светотой даль довольно прилично, не в позор пространству смягчает, что, если есть в нас хоть вялая капля живого, должно неотлучно, а также с дальним прицелом (на бурность, широкомасштабность) подрадывать да и просто естественным образом, натужности вопреки, напрямки возрадовать.

От перенапряжения затомленно, чуть ли не изумленным вскриком звенящий зной – его до живого, видать, достало, до чувств заповедных, знать, пробрало: мир на грани беспочвенной жалобы, что грозит стать нескончаемой, если не принять должные меры, и обратится – только этого вот и не хватало! – в пространственное изнемогшее вдрызг нытье. Неупругий, с каждым часом распадно рыхлеющий день еще натянут покуда до запредельного звона, он распят на расплывшейся, безликою ставшей крестовине жары, обезмолвлен день, обескровлен – и вот-вот оборвется, нырко лавиной жарынной хлынет в неведомую, обступившую отовсюду безднами ожиданий расплывчатую, перетомленную, жалобящуюся уже истишка цель... в туманность марева того и гляди как бы вот не скончавшуюся или в кромешную бессмысленность ненароком не выродившуюся. Все ухнет разом в нее, прорву-цель, что не уже ничуть сущего, в подсознанье своем несущегося безоглядно и яростно, в заполошной страстности мира, – и все сбудется разом, очень точно попав наугад туда, куда так истово хотелось, томилось целому свету еще в нелетние, безжизненные времена, кажущиеся пугающе стародавними и большей частью небывалыми, будто привидевшийся во сне незнаемый человек, в темном любопытстве на огонек сновидения не удержавшийся заглянуть из чуждой либо пропущенной нами жизни, о каковой можно смутно лишь предполагать да тишком-окраешком заскорузлой мысли промельково догадываться, но которую жить лично нечем: она все равно что чужая смерть, где-то поодаль живущая, исподволь подживляющаяся, житийкой кое-какой исплоха, абы как пробавляющаяся настороже существующая небытиюшка, этакая вроде бы безобидная на безвидность свою, так что ни мыслью, ни тенью мысли, ни теневым закулисьем дотошного и цепчайшего умозрения – никоим образом ее не пронизываешь, не поимываешь и до времени – не учитываешь; отсутствие на отсутствие, как обычно минус простецкий на минус унывный, никак вот отсутствия положительного не дает, дать отчего-то решительно, напрочь не может, ни под каким отрицательствующим для положительно-

сти пущей предлогом точь-в-точь как раз, только вовсю и: не может, не может, велико множит и без того гиперчудовищное безможет (где один только бес с пронырством своим может?).

Интимный шепоток забредшего, видно, почудить да побредить сюда июля, безустанно бредущий куда-то голосами несдержанной на язык воды – одновременно и несносно болтливой, и, как ничто, по-вселенски божественно точной. Бескрайне разобильничавшееся необъятное лето, завораживающе медленно оплавляющееся, истекающее в неутолимо прекрасную – шире всяких дородных, матерых твоих возможностей – восторженную неизвестность, что замечательней и родимей душе любой знающей дотошно свое и бьющей обыкновенно без промаха наповал достоверности. Конфигурация будущего как сновиденье причудлива и не похожа ни на одну из ветвящихся твоих, в сумбурности растущих наугад – как навзрыд – неудач и потерь, вкрадчиво, неотступно ткущих пустую судьбу беспросветную – холстинку пространную исподволь ширящейся, подчистую искрадывающей тебя несудьбинушки. Едва успев проступить из грезы, лики будущего теряются в пышных, расторопно и пылко влекущих призраках марева, непромедлительно их облекающего в искажения и пропажи прелестные, в искусно скроенные материи неуемных бесчисленных исчезновений, и будущее преображается до неузнаваемости и уже ничуть, ни в личине прежней на себя не похоже – как будто наснившееся из предавнего, памятью скудного и еле живого сна, плененного для видений сна своего в тлетворье кощунствующим небытием. Но все равно легко и с простой верой кажется, все равно упрямо, с ободренной живинкой, а равно и с бодринкой живной (обратки тоже тут хорошо, замечательно ходко идут в дело) надеется, что грядущее – лишь скромного отстранения даль, которую запросто досягнет всякий даже и наугад пустившийся, рискнувший рыскнуть, скажем, по кочковатому, несносно клочковатому быту взгляд, только бы не разленившийся летней негою окончательно, только бы не утративший свойские отношенья со зрячестью, ведь лето, сумасбродное лето может внушить и иные, непредвиденные глаза, о которых ни полусном ни полудухом не догадывался, ни затайкой мысли иной не прочухивал, не прочуявал? не прочуивал? (ох, заблудилась мыслишка вконец, средь кривлявой пагубы слов изглаголилась)... вот и зыркай ими потом как на душу бог положит, пользуйся изновленными гляделками летними через не могу и не знаю, будучи про себя полномочным представителем сущности лета, в коей ты, если честно, если чуть лишь поглубже по правде копнуть, ни бум-бум, чисто народившийся пару деньков назад и еще не овладевший криком сполна, ором орудующий напропалую сорванец с младых уж ногтей – младенец... о да, неописуемый этот, важный лишь криком благим матеро вопить или истонка вопиять с подлостью ранней, явно усвоенной прямехонько от небытия – младенец, а по повадочкам громадным голосовым – целый крепко уже ушибленный чем-то дядя... ну вылитый просто дядек, забродивший разгульно под ликом безмятежествующего в общем и целом дитяти, мужествующего невольно, уж как там придется средь слюнтяйски пускаемых бесполых вполне пузырей...

Хоть изредка, урывком от житейских, с замашкой бандитской забот, надобно послушать эту унеживающую и всклень полнящую душу умиротворяющей плавностью подробную и прилежную речь плывущей воды, привольной волны, речное словцо разгульное, эту воодушевленно расширяющую дни текучестью смыслов мудро побулькивающую водяную словесность, чтобы что-то – да бог же весть что – в ней пусть бы украдкой или ослышкой услышать, чтобы что-то – да поди ж разгадай что – пусть бы намекнувшимся лишь и смелькнувшим тотчас намеком уловить в ней такое, от чего долго потом будешь внятно и разохоченно жив, но что пониманию вряд ли когда будет доступно, замкнутое от него тысячеусто немотствующим, чем-то абсолютно немыслимым, непрознаваемым, что есть в каждой частице бытия и особенно, и тем более – небытия. (Поток природных слов войдет в тебя неразгаданным, неразъятым – и вживит, в потайках поселит свою щемящую, как-то горестно-неутоленно и одиноко творящую тайну, которой пребывать в тебе в качестве незнакомки и многих ликов ее мелькновенных все ж несравненно отрадней, чем быть

исчисленной грудой до омертвения ясных, одеревеневших скукоженным знанием фактов.) Это скрытное, остерегающееся тебя всеми силами и опасками, это само по себе сверхтаинственное понимание как будто отпрянуло куда-то на самый краешек, на мерцающий уже всевозможным отсутствием запредел твоего существа – туда, где в неисследимой призрачности, неотличимой от гибельности, только-только начинает теплиться и моя самая первая, со смертью сплотившаяся, смертным объятая всыть крохотка-жизнь, не защищенная ничем, кроме сквозящего беспечным курсом своим бессмертия да тяжелеющего в глыбистой матерой бездвижности небытия... да-да, именно моя, но в моем свойстве и качестве кромешно неразличимая – жизнь... тень ее атомарная, тень печальная моя изначальная, тень моя-не-моя; ...я ничья... – окруженным пустынькою голосом ужасающе одиноко она, в бессловесной ничейности заговариваясь, шелестит и, бесследная, неугляданная, – прошелестит... Боже мой, ох какая же я ничья...

Это смутное (и смущенное неисторгаемой тайной) мое понимание и этот столь же помраченный и мерцающе обрывчатый начаток моей жизни, – два в мгновение, с перемига уяснивших друг друга сообщника по неопределенности, – вдруг согласовавшись о чем-то на недоступном, отродясь не внятном мне языке, на языке, в какой никогда я не буду впущен, от какого я ввек отстранен, видно, отлученный от него за скудочувствие, за верноподданническое рутине – образине земной нищемыслие, тут же съединятся в некое пространное, очень точное и правильное собой согласие, которое уже не вместится в меня, превысив мои нестерпимо ничтожествующие все объемы. И так жгуче желанно, так порывно-безудержно, с заклокотавшею и подторапливающей в нетерпении радостью повлечет жить скорей из себя прочь – долой вон, моя измертвленная, выдохшаяся, смазным буднем чумазая повседневность-чумичка! – жить всесветнее, чем обычно живешь, обвычно затхлый собою, муторно очевидный, пропыленный до безличия, впрах недоумной тлетворной обыденностью – этой бездарной житейской пылищей, посредственностью осатанелой так и пышущей, бездыханно ею, лишь для смерти одной, омерзительно покойницки дышащей.

Ты задаром получил в безграничное владенье, в неиссякновенное овладеванье какую-то разлетающуюся всеместно непустышечку-жизнь. Ты обрел благодатное и будто немножко святое рассеянье, которое чем просторней и неохватней, тем животворней оно. Ты стал вдруг – везде. И, в сущности, всем – всем, чем в этом подступившем вплотную и тобою ставшем нежданно мире стать только можно... а возможно, и запредельно возможно – что так близко и вожделенно моему естеству. Ты, наверно, всепроникновенен теперь, жалко бодрый, живящийся невпопад курилка! (И не нужно вот иностранными языками владеть! – плюс большой, ощутимо прибытный в моем положении; выгоды отовсюду приветственным недуром так и сыпятся.) Жизни понадобится резко, с проясняющей замертвевшее сознание четкостью переместиться из моей уныло и косно обжитой теснины вовне, она будет распростерта до неуследимости далеко, и никаким проникновением не настичь пределов ее рассеянья, не объять даже получившим полет и всесветно разлетевшимся сердцем – в неоглядную даль просквоженным пространным воздушным скитальцем, каким помимо природы своей оно, предав себя, стало, в летучую пустившись волшбу, обратившись драгоценным во всех отношеньях всесветьем, также незаменимым, заметим, и в личном любом заделье, в сокрушительно подсобных и умеренно низменных нуждах, не обезображенных еще до потери ликов своих темной массою радеющих о нас низостей... поскорее опомнимся на случай непредвиденного обратного ужатия в былое, матеро и грубо запрежневевшее тело... хотя с прежнестью оно, похоже, уже навек без остатка рассталось, пока мы вокруг себя мимолетно порхали, самонадеянно ослепленные мнимособой (иль – неужто? – мимособой), не попадая слепо, туповато в себя, так что некуда сделалось нам, получается, и подужаться, элементарно в себя привозвратиться, чтоб с неизменным прежним успехом занять пообтертые, местами мастеровито проплеванные сквозным манером свояси... что ж, остается, набравшись мужественности от-

куда-нибудь из прострации окружных, позаимствовав у воздухов предстоящих хоть вяленькой, гибленькой воли, длиться себе вперед все, ура! – и вперед, здравствуй, летящее мимо, вот уж и излетающее вчистую просторишко, последок, видно, пространствишка захудалого... ты б, что ли, милое, забрало меня, собою покинутого, далеко, как можно подальше с собой, ведь если не ты, то кто же – кто же отсюда меня, черт побрал бы меня совсем, заберет, одряблевшая сила какая из палестин здешних, цапнув за простоволосье жидкое, вытащит? ... Это была, на всякий грубо пожарный случай, репетиция (и возможно, репетиция преждевременная, капитулянтством изрядно попахивающая и соглашательством с окривевшей и охромевшей на все ноги судьбой) позорного возвращения блудного сына собственной личности – то есть провального в себя невозвращения, катастрофичного в личность родную, законно тебе положенную, нежно приватную и заветную, самого что ни на есть обломного на все времена и народы тех самых времен неприбытия, а именно – натурального и автоматически, разумеется, натурного самонеприбытия, а это уже всерьез и надолго, это уже потрагичнее будет какого-нибудь спонтанно дурацкого, клевым матом отлакированного самовывоза, вместо страха отдающего все больше техническими солидольными терминами да паскудноватой посконностью нахраписто рвущейся в отменное, блистательно чистое никуда барыги-дороги – не барыня здесь она, далеко не барыня, кочковата эта расхристанная ухабина, на федеральную трассу свильнем, может, там барыня в ней и просунется, из-под трясти проезжей былой невзначай очнется, очухается, поманенечку, как бывалоча сказывали, уж как-нибудь выпрется, гордо выпятится во владычицу простора, в помещицу, стало быть, пространства... исподтишка раскрепостившегося между тем самовольно... о-хо-хонюшки, долгонько мы запрягали, выходит, чуть ли не целую вечность на плевое дело истратив... Н-но, поехали! С богом двинули. Ищем в дороге разбитой сносную барыню – неразбитную хоть сколько-нибудь особу. И чего же мы зрим?.. О кочки, кочки, убого дивные вы на всем протяжении бесчувствия моего кочки, вытрясающие душу вон. Прочь долой, моя прежняя душенька – девочка в хлипком, сквозящем навзрыд платьице на озябшем, прощалью осенней пощемливающем ветерке, воровато крапленом сорвавшейся, взбаламученной листвы желтизной... Глубочайший, проникновенный привет тебе, ты отсутствие мое драгоценное, небывало дорогое для здешних депрессивностью стойко тянущих, отдающих прогорклой, застарело пожарищной, сгоревшей печалью мест – та печаль и самой себе что-то не больно была бы рада, быв она бы чуток хоть жива...

А между тем, ну а также и тем временем вот что на летних заберегах само по себе, практически в прямом отсутствии нас, т.е. меня, к печали моей, происходит:

И станет необыкновенно рассвобожденно. И сделается необычайно *мирно.* Ведь жизнь легчайшим отзывным веяньем распространится повсюду, будет проникновеннее, чем всегдашне, во все края и сущности света, сотворившись увлеченным и мастеровитым деяньем просторов несоизмеримо раздольнее затасканной вдрызг житухи, какой, хочешь ты иль воспротивлен безмерно, вынужден пользоваться каждодневно, точно изжившей давно себя и будто бы самое себя походя, незаметно сносившей авоськой (только вот выбросить себя отрепная в иные отрепья позабыла: видно, авосьсклероз ею насущно владел), поскольку нет взамен ничего другого, ни крохи блистательного, взымчивого, душою старательной, сострадательной взмывчивого существования, – той вечно поперечной, вредненько супротивной нескладухи-житухи, что косно, уныло ограничивалась узеньким, тщедушно тщетненьким мною, одним маловариантным моим, угрюмостью схваченным как бы вечно врасплох естеством, разрешающей способностью неизбывной и отвратительно мертвой, до праха мысли, до пресного страха самоличного твоего небывания оскучневшей, иззверевшей и напрочь изверившейся в ничейность тоски.

Я разветвлюсь в лето стремительно, неоглядно, я стану, ясное дело, всюдным, собственное благоразумие покинув без сожаленья, с легкой насмешкой презрев и оставив личностные нажит-

ки-останки, что тягостно поднабрались, бренными катышками наскреблись по сусекам исшедшихся без конца и без края лет. Меня будет уже не остановить, ни в какую, ни за что не оставить... Меня не оставить быть просто собой, исключительно только собой, былым житейским увальнем буден – человеком, погрязшим в собственном заскорузлом прошлом, обыденно умаленным до оскудненных размеров своего былого и своего былого тела, опротивевшего неизменной, словно обкрадывающей исподтишка данностью – неизменно обрыдлою низменной данностью, обрыдавшейся над собой, болтливое словцо, подсуетившись, тут вдруг подсказало и (с надсадой прокашлявшись) добавило: безутешно (сипло-простуженным, отсыревшим убийственно мужиковатым по авторству равнодушия возгласом)... – в смысле, надо так словцо то украдчивое, мимолетное понимать, здесь мелькнула, на мгновенье чудное нас посетив, некая данность, с чего-то умудрившаяся обрыдаться над собой ни с того ни с сего, на нет исплакаться совершенно же вот безутешно... имеем дело с откровенно феноменальствующей, мучительно пассионарной загадкой природы, на которую с усердием звероподобным ответим встопорщенным во всеоружии трудогольным молчаньем, а лучше – ответственным сразу мычаньем, ибо загадочность в ответ на загадку дает неотразимый эффект дивно потрясающей картины мира, от которой и девятибалльные землетрясения щекотные завидки берут – аж до новых трясучих крушений... глубоко несчастные эти, заблужденные землетрясения только того и ждут, только тем земли отродья и рады, иных действительных, счастливо солнечных потрясений в своих тайнах даже отдаленно не держат: к блаженной участи трясуны катастрофически не привыкли...

Лето чудный, лето непревзойденный сообщник – друг любезный, подспорье подспудное, но прелестно веселое всему небывалому: мне удалось избежать заклятья дурно всматривающихся, в упор глядящих в тебя пределов, доселе казавшихся неизбегаемыми и неодолимыми с помощью единственно личных сил – ничтожных, когда дело касается преодоления невозможно стойкого своего ничтожества – великанца необоримого. Но я так хорошо пошел в рост в отчаянно заманчивую, в пропаще веселую бескрайность этого столь благорасположенного ко мне лета, что оно ощущается одним непрекращенным домом, одинаково обжитым и свойским на всем длящемся бережно, неистратно, на всем трогательном своем истяжении.

Необозримо дальна, разлетна, изумительно свободна моя стремглав и доверчиво просто раскинувшаяся передо мною всесветная жизнь, благостно и, ясное дело, уж не без приличий блаженности теряющаяся в пылком бесстрастье марева, ставшая летней внешностью этого наугад распылавшегося, до предела нежно-яростного накала сиятельного, светом мирно неистовствующего, совсем не страшно и не опасно переутомленного до самой сути мира, устремленного в никуда – в никуда, кроме невозмутимой роскоши собственного величественного устремленья, воодушевившего живленьем своим даже не способную ни к чему уморенную эту жарынную леньдремоту и полдневный, будто давно отживший личное счастье свое и вообще все до безответного краха изживший покой, вышедший, по всей видимости (во всяком случае, по являемой им кой-когда старообразной, морщинной наружности), на вселенский уже пенсион, впрочем, действенный, прыгуче-дрыгучий сполна, весьма еще трудогольный... как-то ему, хотелось бы ярко вот знать, там покоится-можется, чем покойцу нашему в свободные от хвороб времена всласть да от всей души занимается? а не послать ли покойчику этому, не переправить ль ему с каким-нибудь случающимся в иные разы нарочным (вон от «Билайна» их бегает устрашающе много, от довольствия препоясанных тянущейся, удовлетворенной, предельно личной и обожаемой, отдельно заценившей и зауважавшей себя слюной) пару-тройку целехоньких, чутко сохранных минут занятной лесной тишины, но можно и зоревой прохлаждающейся исподволь тихости, с ленцой испеченной не проснувшимся толком и позевывающим украдочкой, тихомолком всесветным рассветом, – тихости с поджаристой хрусткою корочкой томно-румяной, прямо с пылу, с жару, чтоб сей покойнейший старичище непромедлительно полакомился на том уже, видно, свете, не забыв

и страстно оголодавший на тишину тот свет, чрезвычайно падкий на тихий прокорм, – не запамятовав и потаенного троглодита того ненасытного угостить чем бог милостиво, пользуясь случаем иль счастливой оказией, с добавкой иль с одним честным словом (это дело вовсю уж десятое, из-за недостатка здешних мест не имеем возможности подробно на нем останавливаться), но осилил вот и – так-таки послал... а ведь своего рода вселенская подтюремная передача внезапно тут получается, этак исподтишка себе вытворяется, правда, обратного, прямо скажем, толка – с неволи на вольную, утопающую в цветущем роскошестве волю; но для таких пересылок направление беспричинных передач и даров ровно никакого уже не имеет значения, тут одна видимость направления и значения происходит, прямо на обманных глазах творится бессовестно, с наглинкой в беззастенчивости, в пучинах вселенских ее пропадая, – то есть как лишь одной ей, чистой условности зрения, эгоистически надобно, в пофигистских ее узкозримых целях...

Вот и твори после этого мир, хоть бы на кричаще ничейную малость приличный, на никудышную, замухрышную каплю порядочный... Вот и дерзай средь подвохов таких мировых заново вытворить бесподобно яркий подлунный этот и подлитературный отчасти мир, на деле-то старый, как нечистая совесть, и нечистый, как хоть и совестливая изо всех сил, но все же старость, чисто старость... Бессовестностью остаточной от блуда себялюбиво покружившего мира поневоле будешь плотно и даже несколько душно охваченным, уж не хватит местечка на никакую, малую самую, скромно уемных размеров душонку, на пропащую совсем душеньку останется чистое лишь ничто, средь которого и пустячному ветерку не разгуляться бездельно... И живи как хочешь (даже носом, запрошловевшим опасно, шмыгать станет тоскливо напрасно, как-то дико зряшно, излишне)... Живи себе наугад во все массовидные, одним грузным наплывом, стороны, как мнимые, так и беспризрачно длимые... Обильно пользуйся нелживо набухшими с огорченного горя, массовыми ставшими жизнешками своими во всех направлениях, в любых что ни есть небываниях, расторопно очнувшихся и безжизненно ощутимо весьма, даже очень уж расстаравшихся... О, вот это, я понимаю, свобода! Вот это, чую диким нутром, истинно воля! В точности мною обернувшаяся моя воля! (То ж искомые, пылко чаемые владения обожаемого мною до обморочных или сразу копытоотбросных неможеств Невозможного!) Вот это и есть облюбованная до последков своих милейшими все да деликатнейшими в отношеньях со мной страданиями самая настоящая, вольным разволенная в широкую прелесть моя свобода, влюбленная в меня, по всей видимости, безвозвратно, без оговоренных ехидноватым брачным контрактом сроков по самые по уши (и посейчас пылающие, прямо полыхающие гордостью оттого, что им выпало стать завидным пределом, ну и также, уж откровенно халявствующим здесь *заодно*, мерилом нежным высочайшего среди мира чувства; они избранные, стало быть, уши... вот с чем нежданно-негаданно, умиленно сюрпризно пришлось мне на старость глядя столкнуться... как манит, однако, уже отовсюду знаками неверными, распадными дряхлость, набиваясь мне в будущие продолжительные невесты...).

Век свободу мне видать! Также и, для полноты антитюремного комплекта: Не забуду мать родную! Можно еще добавить антидеструктивные наколки про сидящие в неволях и наверняка гниющие решительно, гордо и явно к лучшему ноги: Они не устали! Ни хренца вот не измаялись («вот» следовало бы ночкой темною группкой резвою опустить)! Ничуточки наши конечности еще не забегались («ничуточки» с лебезяще шестерящим «еще» похерить, место им на весь срок у параши, таскать им говны хилые авторитетов – не перетаскать, будут жить словца у нас по понятиям)! Здесь был я, вор в свободе, смутный и несмущенный владелец трепетно, разнеженно лежащей вокруг солнечной, бесконечно, ну просто безмерно родной на всем протяжении вольной-превольной зоны – вплоть до расслабленного, к исчезновеньям склонного и как бы впрок попадавшего для пущей пропащести горизонта... Этой свободы здесь, в окрестном приволье, в солнцеобильном раздолье, зримо ль, заглазно ль ешь – не хочу, зренью не стать бы нескромным обжоркой, нахлебником пустяковым – назрельщиком, что ли? – роскошных и калорийных, очень

сытных пейзажем зажаристым, духовитым просторов... (Это что же, получаюсь я приречный какой-то пахан, местного значения зональная держиморда?.. – о, теперь мы знаем прекрасно, заводит куда хватанутая в избытке дурном длинная, зряшная, мимолетящая не про тебя воля...) Поскорей же назад, с чистой совестью на свободу! Но где *назад* это самое? Что оно пристально значит? О чем в упор непредвзято молчит? Как запутались мы, беспросветные, заплутали, как всенемощно, а может, напротив, всесильно облуждали в тюрьмощинках и освобожденьицах наших, принимая одни за другие с жутковатой, без промаха исподтишка разящей этой самой *точностью до наоборот*, всегда любезной, неизменно к нашим услугам, предательски как ничто и никто точной, словно отполыхавшая былая любимая, что много былее отполыхавшей в ее же лице жены... о, как несравнимо она былей... Прямо обожает эта встревающая то и дело не по делу *точность до наоборот* поставить нас на свое вечно ускользающее от нас, вечно не наше место, на неизменное наше место пусто, ни дна бы пространного, опростанного ему под ничто, ни обыкновенной узором копоти бытно взбодренной покрышки, ни дальнего смачного в концентрированных прелестях неземных рая от благодати вечной – предельно измедленной, как-то внестремительно и блаженно всегда небыстротечной, точно целиком, неповторимо твоя, лишь тебе надлежащая, по плечу твоему и уму – жизнь. Соразмерная и мали мальской, и необъятности живной твоей жизнища... даже и при ближайшем рассмотрении, если глядеть на нее, правда недолговато и не в упор, вовсе никакая она и не бабища, нет, вопреки всему – не бабища, кто бы что про нее, сладкословьем разоряясь, ни врал! Весьма наоборот, чуткая, проникновенная она у меня бывает порой и пронзительная в иные разы женщина, незабываемо, неизбывно любимая женщина – вот она, моя жизнь... в чем-то сущностном, главном странно как будто и не моя: она ведет себя по отношенью ко мне до обидного отвлеченно, словно она мне совсем уж чужая... Вот какие жизнь, на странность моя-не-моя, проделывает со мной дикие и необратимые зачастую штучки. До неприличия я частенько весь теряюсь – до случайного вновь рождения, которого тягомотно, невыносимо порой еще ждать и ждать.

Сколько хватает ненасытимых и все же беспомощных, вкрай ни на что не хватающих глаз (их ведь пустяще, ужасно отсутствующе всегда не хватает, изначально во многом напрасных, бедных зреньями, полных тщеты несуразной гляделок!), всё она, эта такая моя и вместе с тем очень явственно не моя, обескураживающе дивно безличная, в век и в простор молодой (бог ты мой, какой же он молодой!) отвлеченная от меня жизнь-вольняшка, не умевшая быть величественной и окоемной, истайна стращающаяся, страшащаяся себя пространной, неисследимой – именно той, где она грезится себе в самую пору, себе жизнью точь-в-точь... ей бы поменьше быть (ну хоть на несколько скромных, застенчивостью скраденных далей), как-то, что ли, почеловечней, тянет ее, неудержимо влечет к обвычным рутинным пределам, ей пугливо, ей страшно не по себе от неисследимо распросторенной точь-в-точь-себя, во всем вселенском личном своем величии, которое живинку бедную всякую тягостно подавляет, исподволь истончает, расточает, сладостно в смерть склоняет, в ожившее небытие сманивает и небытийным живьем в охоточку, себе в приятственность мертвенную разлагает – да ведь в открытую же ничейности ненасытной, бездонно алчущей потакает! Так что лучше бы загодя остерегаться смертоносного того лжеживного грандиоза и, допустим, в космос даже и близко, выше, скажем, облачков пушистеньких, самых закрайних их гребешков в жизнь никуда за целую жизнь не соваться. Чуть за шепчущий вздор небесный пушок взвились – и довольно, и баста. С вас хватит. Пора аккуратненько на снижение. Как бы звоночек от бога сверхъясный – дескать, знай честь мал-мала уже опускаться, если хочешь взаправду, а не фиктивно быть жив. Эдак-так осторожненько идти, планировать себе слегка на посадку. Ни в коем, ни при коем случае не молодечествуя и бестолковой оторопью не лихачествуя, дабы не обнаружить себя с плохо скрываемым и огорчающим, отчасти порочащим вас удивлением в бесповоротно, в удачно разбившихся. Что, впрочем, может быть и непременно уж к лучшему. На много далеко вперед для многих иных, вернее истово неиных, к самому что ни на есть наилучшему – по-

лезно практичному и, с точностью до наоборот, практично полезному. Так как многим некоторым предпочтительнее бы вообще массово не рождаться, ни при каких смягчающих обстоятельствах просто наотрез в качестве человека даже и не намекаться, с той стороны небытия даже звуком пустым о себе надежней пристало бы им не заикаться. Молчали бы на берегу ином благодатно замершего бытия словно в тряпочку или словно летейской воды досыта в рот набравши, – вот и были бы все ценнейшие их заочно земные дела. Да и наверняка посущественнее те дельца реально бы сделались: столь толково и сама присутствующая реальность вряд ли б смогла, поскольку всегда она, как за ней спроста водится, зазевается и помимо точных дел отвлекается с охоткой неимоверною, с прекраснодушием показным – лишь бы глазеть ей красиво, чтоб в лучшем свете себя показать.

Зыбистым махом ли, крахом (но не страхом, не страхом!) помелькиваемая, смутноватой прокрадкой угадываемая черточка горизонта глядится чересчур прямолинейным и премного устаревшим моим волнением, по крайней мере, века три как присмиревшим (в кои-то веки, значит, все же унявшимся... что ж, для учета дальнейшего поведения так и запишем, будем это смирение в предстоящих поступках всеми силами ясно и бодрейшим образом знать), а раскидисто цепеневшее, древенеющее вдалеке на особице исполинское многовременное дерево – очаровательная глыбинка одиноко ликующего и заодно уж древнеющего чувства (наверное, делает это оно, то есть ликуя древнеет, для степляющей некоторой единодушности, а может, для заединщиковых темных страстей тайной компании отпетых каких-нибудь мировых проходимцев; к печали нашей, тут все возможно), в то время как крохотное, тяготеющее к случайности мазка сквозноватое полупрозрачное облачко, отчего-то одно-разъединственное на все вымершее, решившееся от жизни поглубже, всерьез отдохнуть небо, – явно, очень явно же клочочек какой-то напрочь забытой в неведомом чувстве эмоции либо природою пышущей стародавней мелодии, безнадежно заплутавшей в прошлом, но все еще упорно нежно щемящей неразгаданностью сгинувшего, видно, навек темно-томного сокровения, неутоленно в своей затаенности чуть-чуть дающего о себе знать-не-знать; а вот знать-познать у него крайне редко бывает-случается, может, раз примерно в столетие, да и то если оно не больно бесстыже короткое, не зарвалось беспамятно и совсем-то безосновательно в немотивированной краткости дутой своей, в целом уверенно гиблой. Бывали такие ужасом ужатости времен пораженные, в одночасье охваченные, будто ужаленные ужатостью времени столетия, они заканчивались решительно, с бурностью вихревой наотказ, а то и, в зависимости от норова еще заочно протекающего века, безропотно, но как-то мстительно, злобно бесследно, даже вовсе еще и не начавшись, как оно водится и как сему следует по скрытным пружинам живных забав времен, – вопреки тому, чего гипнотически сложившимися заранее от них ожиданиями пасущиеся среди полых и до совершенства голых годов народы, обуреваемые гнойным гнетом веков, в тайных восстаниях неминуемо уже поджидали. А тут – раз, нате вам! – и ошибочка шибко вышла: не про то зрели восстать и, как должно, исключительно для гнева народного восставали, помимо всякого века, который вот не удосужился даже на кроху, пусть полтолком каким, ущербной фиговинкой дырявого смысла, чистой бессмыслинкой ли природиться, хотя бы личико свое вековое, детством крикливым кривляво сморщенное, временцом лишь слегка изборожденное, мгновения на три-четыре взять бы да вольноотпущенно показать. О большем бы его и не просили. Человечной муторностью людишек непроявленный век изводя, времечко бы не умоляли, так как на этом свете и без него, непришедшего века пропавшего, безудержно толкотно, мерзкопытливо, вусмерть быдливо, много тут всякой бяки лишнего ходит, с бессмысленным риском для прочей жизни без направлений снует низачем и, смертию пышной смердя и ловко смертя, все нудит, все трындит, все бесславно, слюной здоровейшею феерично сверкая, скотинковой мыслью увеселенно к отрадной безбожности припадая, бузит да брюзжит ни о чем, до полусмерти заврав отвращенную, бедную нежизнь свою, избубнив всю судьбу напролет до остатнего, не замеченного ни в чем живеньком недоостатка (не напролет – всегда-то, везде

напролаз, безголовнейшим приступом напролом, ибо лихо бескрыла ползучая смачно нырковым с-под брюха мозольным надежным, как штык, штурмовым ползком та самая всякая-разная бяка, не к ночи будь она всякий нераз и раз хоть полсловечком едва человечным, мерцательно людным помянута).

Целый бескрайний, разметный простор моих рискнувших быть очарованиями очарований, обрекших испробовать восхитительную свою судьбу и попытать себя в восхищеньях восхищений, моих просторечивою легковейностью взявшихся и простирающихся вдаль прозрачнозримыми воодушевлений, тихоструйно и с приязнью нескрываемой обживающих обозримый непагубный мир, с коим воодушевленья на дружеской, влюбленно компанейской, известное дело, ноге! Ну, что ж, мир вам, мои воодушевления, мир вам и все пространности его в ваше владенье, раздолье... о, как скатертью, милые мои, вам дорожка... как небесно раскинется в сквозную зазывную даль блаженной и ясной свободы дорожка! – боже, есть еще где привольно, добротненько вполне расскитаться и по-новенькому, и по-чистенькому привоодушевиться (так, близкий по чувству простора, по вспыхнувшему широкострастью, прибарахляется средь раскинувшихся всеместно базаров истинный, а не поддельный любитель, житель ретивый покупок, неподкупный ценитель долгоречивых и многокопеечных сделок, без которых ему и жизнь будет не в жизнь, нежитью жизнешка в мгновение зева обернется: простирается тогда бесторговая всюду пустыня, колюче нежится отвсюду смурная нежить; вот почему, хоть бы в редкость, также нужны и базары – выгребные ямы в рубль легко, с презабавною тягой идущих грандиозно продажных, в немоте изнемогших и немотствующих на весь свет, примолкающих страшно громко душ, экологически, если с описываемого они бережка, чистых).

Целая ясная, броская воля невысказанностей, несказанностей, милых смут и волнений, слету влюбчивых подслеповатых еще жизней... вольная воля моих оконфуженных, урезоненных далями, исскромневших вконец и теперь-то уж знающих место свое невольностей и проглянувших вдруг из самого что ни на есть небытия, из темнеющей алчным зевом, прочерневшей до аспидной сумрачности его сердцевины (как будто подбитой всему вопреки веселяще антрацитовым рытым бархатом) абсолютно же вот не страшных пропаж, обезвреженных, пропущенных сквозь идеальную чистоту идеального небывания – всепрощающую, всепрощающего. И давнишние, ни болиночки уж не болящие, обесчувствленные потери, милостиво выставившие свои личистые, раздобревшие явно и повеселевшие призрачки на негрустное мое обозрение... и с чего они так знатно разъелись?.. Эти призраки ищут во мне утешения, но забыли дорогу к нему – любую дороженьку в призрак запамятовали. И ликующие тихомолком да тайнобродом радости, безбоязненно, не без игривой проказливости, даже развязно немножечко распростершие окрест, распрокинувшие в блеклой, вымершей от жары прасиневе до смущенья погибших небес свои полупризрачные, прозрачные, почти заисчезнувшие всякого рода тельца... а не здесь ли родина милых ангелов? не ее ли, счастьем окликнутую ангелородину, обнаружил в шатучей заштатной случайности наш ничейный восхищенный взгляд – неприкаянный вертопрах, без ощутимых призраков ветрил бродяжка?

Здесь скоренько необходимо внедрить в эту без руля и ветрил повадившуюся вести и – посмотрите-ка на нее, прямо вся из себя! – быть выспренней помимо себя текстуальность, – непромедлительно вживить сюда неумолимую во всех отношеньях поправку: вместо записных этих скоропалительно и весомо весьма титулованных призраков, которые есть в данном месте не более чем чистая, невесть что возомнившая о себе самонадеянно фикция, смело, прямо, с откровенностью, в бытовом применении практически уже невозможной, в нуль безмозглый извядшей, читайте: признак! Никогда не призрак! но всегда только признак! да будет всегда единственно один только признак! – взамен всякого, пусть и до немыслимости драгоценного, себе в самом распрекрасного, страстно обожаемого размягченным мерцательным сердцем призрака, как бы сей ис-

чезновенец к вам ласково ни подлизывался, ни улещал вас ловко, сноровисто, какими бы златыми горами ни норовил охмурить, исподтишка околпачив разяще, дабы сделать вас несуществующим своим родственничком; читайте так, не теряя напрасно собственных глаз, читайте именно так, чтобы был в неразлетном уме, благодушно глагольствовал там лишь неувертливый и непропащий один признак, – и не ошибетесь нимало, найдя и вовне добротно нащупываемый, оснащенный теплокровною жизнью сполна доброжелательно угловатый, в руки дающийся приятственно даровитый подспудно признак, по ощутимости внятной фактуры – типа моркошки иль забубенной, нарочно пупырчатой, уж в кокетливость, репы. За дальнейшую степень достоверной бытийности не ручаемся (гиперреалистичных видов тех же моркошки и репы дать не можем: крайне мы сейчас не в состоянии) – полномочий дальнейшего осязания не имеем, постигая вещи в себе лишь умозрением осязания, в чистом виде своем сгинувшего в заблужденных, претковенных краях заковыристых тех вещиц себе на уме и как факт чувства деятельного и вменяемого – в виде факта такого напрочь не существующего... такова, видать, наша судьба: дальше двинем бесчувственным и, скорее всего, бестелесным путем... эх, не сплоховать бы без ощутимых порядочно человечьих чувств, не оступиться бы, в выверты впав, ям себе наловив на духовную теперь целиком шею, одним голым, в виде физических параметров убийственно заморышным да к тому же разбродным, уже без параметров всяких – неужто неразличимо призрачным? – духом...

Спохватившейся прощальною вспышкой жизнь моя укрупняется напоследок у слияния глыбистой, трудной для преодоленья земли и вечно излетного, прощального неба, изо всей души синью яснея (как это с непредсказуемой ее стороны неожиданно, какой бесценный внезапно там разъяснился подарок, синевою так небывало сиятельно, призывно-отрадно, так надеждно щемящий сгусток пронзительный уже в полнеба увесистого жизнеподарка!) на излете прекращающих существование далей окаемкой прилично разборчиво, как-то кропотливо даже каллиграфично – выпускник церковноприходской школы почерк работал? – и совсем не грустно написанных, в легкой почеркушечной скрип-поскрип спешке начерканных по горизонту лесов. По самому закрайку – беглые заметки на полях? втихаря нотабенька прокралась да так там и затесалась? – не очень-то уверенного в себе и своей безмятежности, не слишком-то твердого в поступках и уклончиво все помышляющего горизонта вразмах пущены лесистые письмена восхитительного, чарующе влекущего и задорно бодрящего дикого смысла, по всей сущей видимости, состоящего из радостно тревожащих намеков да обещаний, таинственно смеющихся недомолвок и в целом благосклонных, терпимых ко мне предсказаний, а может, яснеющих скромно, призрачноватых покуда надежд, пока что, по сути небесного шаткого и разлетного дела, практически безнадежд, или мимонадежд, или недо-, бывает и мнимо-... ну, может, лишь самою малою частью своею, местами случайными и промельковыми временами – но все ж кой-когда, кое-где почти призрачишком проглянувших вдруг ни с того ни с сего сполна благожелательных и добронравных, себе на чистом уме надежд (на всю округу, гляди-ко, вменяемых!), пускай и наружно плюгавеньких, отроду неказистых, сучкасто корявых, как много любящий дружить с водчонкою шумно коричащийся, уверенно непризрачный мужичонка.

Там, в смутившейся и уже чуток угасающей, отстраняющейся в себя самое дали моя жизнь так замечательно полно сказана! – ее лучше и не проживешь... Верно, даль та исчерпывающе прекрасно за меня все мое уже отжила и мною легко, так разлетненько далеко сберегшись, упокоилась – иным и иным уцелев, мной престранно иным там представши, меня небывало и небывалым являя...

И однажды ты не вернешься. Ведь ты давно ожидал это собственное невозвращение, смутной потайкой выгадывая призрачные его, прозрачно-сквозные черты, что давненько уже мерещились, скрытно полнились всюду, этим невозвращением странным образом восполняя твою

ущербленную жизнь, выдохшуюся точно изноябревшая осень, повсеместно посетившая собственный крах.

Участь жизни предрешена: быть всюду... Бесповоротно, беспрекословно – повсюду... Иному обжалованию жизнь моя отныне и во веки веков не подлежит! Быть ей всюдной, как бы людной, быть ей всешней, точно вешней. Так и быть: ей напролет быть. Насквозь целого бесцельно раздалившегося мира раздольного, расчудесно дольного, неуследимо перетекающего в мир всесветно небесный, неопровержимо уж задушевный, невозможный быть личным, но абсолютно все ж таки личный, сияющий светом неизъяснимым, уже в световой своей несказанности блистающим обворожительно, – кажется, даже души теперь никакой не надо: и без нее светло, как-то больше чем повсеместно светлимо... или она, отлетевшая, откуда-то внятно, нежно рассветно светлеет и, неотступная, внепризрачно светит, бессветною тайной одной воссияв?..

И однажды останется, обнажившись бледным слегка лишь бугристым пятном, ветхий, едва ли не бестелесный старик (в чем только душа в нем держится, чем она, бедная простодыра, практически субстрата не зная, теплится?), продолжающий невозмутимо, с повадкою истового истукана сидеть на песчаном забвенно-рассеянно сыплющем струйками времени бережке без малого безымянной речки, ничуточки не утратившей, не растерявшей свой ручьисто-речистый облик с тех пор, как успеть мужчине твердых срединных лет превратиться в обыкновенную подчеловечью развалину, в еле приметную, не исторгающую ни помехи кроткую тень, но неистощимо, но неукротимо продолжающую и продолжающую (тот, кем был хотя бы в первом и случайнейшем приближении некогда я, – он всемерно, да чуть ли и не всемирно – глобальный опытец кой-какой нам уже перепал – настаивает на этом увеличении, на этом как будто целительном и даже спасительном прибавлении продолжения) быть, упорно врастать в полный уединенья окраек солнечно разбегающейся в две размашистые величаво стороны – равно в бытие и небытие – речки под гремучим, взрывчик дьявольский таящим, зарывшим на лексичное самое дно названьем Чертанка, там, на краешке бессмертного лета, жалостно кратко, в печаль промелькнувшего в нас, убравшегося в бесхитростное свое небыванье, считай, мгновенно, – столь мимолетного, хрупко случайного, ненадежного лета, его не запомнить в лицо, не успеть уловить на особых приметах, дабы неопровержимыми явностями и уликами странности припереть разлетного стремглав проходимца к явке с повинной и к иным матерым раскаяниям, посыпавшимся бы и оброняющим, обранивающим самобичевания одно по другому в стиле сбесившегося падать ничком домино: легкомысленное заигрывается в смертельные, в невозвратные прятки, став обыкновенной настольной игрой худорукого, зазевавшегося отразить супротивный удар небытия.

Речка течет по имени Чертанка, речка стремит по собственному извилистому, закружившему все на свете имени в две равновеликие стороны, и завораживающе медленными, сманивающими в исчезновенье кругами расширяются по вихрастой глади заводи-омутка едва приметные – буквально в миге от самого отсутствия – шаги безустальной водомерки, падкой до рассыпанных там и тут... да и там тоже, и там – ну а как же без них она сможет? – мгновений, за которыми водомерка чутко и с вымученной вежливостью так-таки юрко мгновеньем охотится, нетерпеливо пожирая их, облепившиеся, непозволительно зажиревшие, отучневшие здешние миги, поглощая сию временщинку одним рваным сверхкратким рывком: ее природной воспитанности на распространившееся тут время как-то все не хватает, однако; ей приходится быть поневоле развязной – иначе никакого времени не выохотить вовсе, не добыть водомерке тогда ни крупицы непроворного самого, ротозейского какого-нибудь мгновеньица. Ну а миру-то за это было б ой как обидно. Миру вот и за голодную временем водомерку, и за не выохоченное вовремя время себе на здоровье болей, всем миром бросайся с болезностью в переживания, покинув недопережитые другие дела, увядшие вне его прикосновений. А это чистый уже нонсенс, которого, не говоря о

реке, даже некоторые малые по счету авторы всей шкурой своей просто на дух терпеть не могут: выворачивает от нонсенса некоторых малых по счету авторов наизнанку с кишочками вместе – и кишочки те самые неотвратимою силою исторгательного процесса наизнаночку бяк-бяк, глядишь, также; и взамен блистательно чистого творчества только всякие густо прущие медицинские похождения, усложняемые осложнениями, вместо того чтобы в утрудженьи, напряженно искать, где еще может и хочет дух с восхитительностью и не без прекрасности дышать себе да подышивать, беды не зная, в ус духовный свой не дуя... а тут, нате вам, замелькала кишащая череда кишологов, проктологов и другая потрошительная, изнурительно вымертвляющая вереница... вот уж грянула и толпа устроителей наших неизлечимо хмурых, вечно всем недовольных даже во здравии благоприличном внутренностей... только этого вот и не хватало, далеко не такого и не так мы ждали, бескорыстно на всем протяженьи рассказа иллюзьями роскошными бодрствовали, ненапрасно стараясь держать их в должном обманном тонусе... ан вон оно что получилось да и заключилось, выходит... экая случилась помимо нас дрянцевитая бяка, автора пора увольнять, дав ему хорошенько и очень бесплатно по шапке за проявленную зрело халатность (если шапка за ним естественно водится... это надо еще проверить, пора со всей строгостью, неотложно в вопросе имущественном разобраться, при отсутствии зимних головных уборов безжалостно лишая некоторых зарвавшихся даже самых бесправных авторских прав)... ну, для начала, чтоб не вызвать бурно явленных инцидентов, провокаторски тянущих за собой взявшиеся предательским тремором волнения в обществе, отсутствие автора проведем по статье сокращение жрущих зря госхлеб и пугливый отчий финанс штатов... итак, подводим автора, как под монастырь, под исчезновение наличного автосостава: главнокомандующие рассказами нам активно нынече не нужны, терпение и работу ищите в иных, склонных к вашей якобы сладкой власти текстах, от верноподданичества которых третий век мы подряд средь нашей жизни ущербно русской страдаем, хоть и незримыми миру слезами, но почти что навзрыд уверенно так стенаем, сладкозвучно порой (последнее за положительность не считается, поэтому немедленно подлежит самому жесткому усекновенью: «сладкозвучно порой» безоговорочно выводим за штат всякой мало-мальски приемлемой прозы)...

Все непредвосхитимые водомеркины направления мало-помалу погрязают в бессмысленной равности, в абсолютно равной правомерности любых всесторонних скитаний, и уже до внутренней слепоты, до тупикового, твердолобо в ответ уставившегося помрачения непонятно (случись здесь быть стороннему наблюдателю), для чего, куда и кому нужно еще совершать хоть какое-то подобие шевеления, полупризрак какой-нибудь псевдодвижения. Всему миру становится тут особенно ясно – так и так все будет в бездвижности, будет валом исправно валяться да еще и благодарить тихой сапой примется за предоставленную даром мировую мирную лежку; и зачем же тогда, само собой спрашивается, лишний раз дергаться, движеньем напрасно терзаться, бездумными поползновениями впустую трепаться, даже как бы кощунственно и не собственной тратою тратясь, будущее заедая впрок? Так и так станет все непременно тихо, как двигательною бы активностью могущественный некто или даже сам очевидный никто своей собственной ничейной персоною тут ни выделывался, как-нибудь этак занозисто миру в дразнящий задор ни выкаблучивался, прыжочками да леточками в высшей степени экзистенциальными, с виду яростно потайными ни шуровал, в развлекуху себе сам-друг да сам-вдруг ни пошаливал, резвясь в откровенную сладость, с лихим заскоком в сокрытую допрежь средь мест этих младость.

Трате времени нет уже счета, времени становится беспрепятственно много, равно как много и пропажи его, нескорбного и безбольного временного отсутствия, и однажды, в этом предальнем, от веку тревожном однажды, на обветшавшем, окончательно ставшем точной, непревзойденной вечностью бережке находят неопознанное тело чудовищно древнего старика, следов насильственной смерти, как и предполагалось, нет никаких; посторонних вмешательств, при рассмо-

трении чьем-то безвидном, никоим образом не обнаружилось. И вокруг – что вблизи, что вдали – нет уже ничего постороннего (даже и стороннего наблюдателя что-то не понаблюдовывается... вот и слова – первое и последнее, что в мире по зачинкам и краям его есть, – исподволь начинают, о блин горелый... блыннь... уж непредставимый земной, изнутри распадовываться...), кроме самих останков, былых человечьих остатков, столь похожих на скудость природы, на простую, неспесиво возвысившуюся слегка землю, что их людскими и не назовешь – отрекутся даже забывшиеся давно здесь слова лепетнуть про это безвестное что-то людское, про безвестное это что-то, и сама безвестность, вобрав, до исчезновенья предела втянув себя в себя самое, станет пронзительно во все пустоши ли, края, нестерпимо чисто безвестной... ну, хоть от одной непроходимой дуры сплошной всем миром в кои-то веки избавимся...

Скудный просторечивый холмик излишнего тела отрешенно и уже не по-человечески греется, все еще нежится по извечной привычке под июльским ливнем пространных и ясноречивых лучей до ясной боли понятного здешнего солнца, хотя этот холмик внемлет лишь теплу иных солнц, каких-то непомерно, устрашенно отдаленных светил, которые умеют светить лишь по-иному, в мирах безлюдных покоев, до которых еще жить и жить... В ту сторону жить – неоглядно вовсю. Как по-прежнему туда все безмертвенно неоглядно!

В ту сторону жить наверно вовсе и не умереть никогда. Смерти никакой там, видать по всему, не бывает. Но что-то ведь там кроме жизни еще понемножку бывает? А не посвятить ли остаток чьего-то завалявшегося тут легонько и даром бессмертия раскрытию, полезному для сущего ничего, этой ставшей вдруг очень и очень данной тайны? Слепит ею страшенно чьи-то оставшиеся здесь незавидно и, надо заметить, весьма непрактично глаза... Не по-земному светло где-то вокруг и дале, где-то неисследимо далее... Все здесь до непостижимости далеко и в то же время ли, в то же невремя ль – по-прежнему нестерпимо душевно, нестерпимо изродна все близко, становясь непременно одним лишь тобой, который теперь – не ты, всегда, безызменно – не ты, себе во всем былом мирском излишний... и случайно ли не напрасный? – но что-то в этом большое сомнение есть... вот бы знать еще (да знать-то кому? кому осталось что-либо ведать?), зачем какому-то подозрительному никому очень, ну прямо необыкновенно страстно раззнатилось знать, кому же, кому, наконец, принадлежит то большое сомнение, сомнительная эта великая ценность, призрачно ничейная на всем своем протяжении, сколько б его, протяжения, во все страны света ни было, от веку химеричного ни бывало... Да, все здесь теперь как и не бывало, в этом сомнения нет. Как никогда, ничего не бывало – словно единственным лишь искажением, мелким предательством буковки «и», почти нечаянно убившей себя в букву «е», переместившись заране туда, где ничему не умереть никогда, где умирать – какое же это пустое дело! – низачем-низачем не надо...

## *Тариэл ЦХВАРАДЗЕ*

***

Разливное пиво, раки –
на похмелье самый смак...
Где бы взять взаймы без драки
до получки четвертак?
Цвета мартовской сирени,
с хрустом новенький дензнак,
где тиснённый в профиль Ленин
гарантирует кабак.
Подплыву вальяжно к стойке,
«Арарата» закажу,
только после третьей стопки
долькой кислой закушу.
Тонко резаный лимончик,
тёплой Грузии привет...
Триста грамм – всего червончик,
и похмелья больше нет.
Эх, совдепия родная,
утопический мирок...
Что-то было в нём от рая,
что-то было же, дружок?

***

В предчувствии глобальной заварушки,
в две тысячи пятнадцатом году,
я украду прицел от главной пушки
и закопаю у себя в саду.
В таком, где мандарины и инжиры,
где соловьи поют и никогда
людей не строят строго по ранжиру
колонной, направляя в никуда.
Военачальники возьмут лопаты, кирки,
миноискатели, т.д., т.п.,
вскопают сад, сотрут до дыр ботинки,
и не найдя, объявят о ЧП.

---

*Цхварадзе Тариэл Владимирович родился в 1957 году в Грузии, город Ткварчели. Окончил художественное училище им. Мосе Тоидзе в Тбилиси. Автор четырёх поэтических сборников. Публиковался в литературных альманахах «На холмах Грузии», «Эмигрантская лира», «Иркутское время», журналах «Интерпоэзия», «Байкал». Участник поэтических фестивалей «Киевские лавры», «Фестиваль поэзии на Байкале», лауреат всемирного фестиваля поэзии «Эмигрантская лира» в Брюселе – Париже (2015).*

Допрос их будет строгим однозначно –
я не раскрою маленький секрет.
Пусть будут бить и материться смачно,
но «Миру – мир», вот мой приоритет.
С улыбкой на лице такой смиренной
от Моны Лизы, Кришны и Христа...
Останусь в памяти у всей вселенной
за тот прицел, зарытый у куста.

***

Вот билет на экскурсию в ад,
ненадолго, к тому же бесплатно,
но прицепом к нему автомат –
постреляй, возвращайся обратно.
Там к зарплате накинут втройне,
регулярно, раз в месяц на книжку,
как в тот раз на чеченской войне,
что сейчас-то мешает братишка?
А в натуре чего здесь терять,
не сегодня, так завтра – покойник,..
И рванёт, растуды твою мать,
за баблом отставной подполковник

***

Рассвета тонкая полоска
приподнимала небеса,
светилась в море белым воском
вдаль уходящая коса.
Всё растворялось в серой дымке
сгоревших за ночь дров в печах,
и лишь над башней – невидимкой
шпиль золотой сверкал в лучах.
Трещали и ломались ветки,
как где-то в Туле на Покров,
а мандарины, словно метки
среди заснеженных садов...

***

Приняв бутылку коньяка,
пол-литра водки, триста рому,
махнул рукой, шепнул: «Пока»

и впал в божественную кому.
И видел я прекрасный сон –
в лугах цветочки полевые
срывал и плёл веночек слон
слонихе, видимо, впервые.
Так неуклюже, но с душой,
он трогал ландыши и маки,
слонята рядом голышом
плясали весело сиртаки.
Хвостов павлиньих изумруд
переливался так красиво,
а лебеди чистейший пруд
пересекали горделиво.
Газель, пятнистый леопард,
олень, жираф, тигрица, зебра
шли мирно пить на водопад,
под тень реликтового кедра.
И нет людей, лишь я один,
познавший пьяный вкус свободы –
не царь, не бог, не господин,
а просто гость живой природы...
Картины этой колорит
мне послан был, как в картах джокер,
но некий доктор Айболит
вонзил в меня электрошокер.
И приоткрыв с трудом глаза,
взглянув на серую палату,
«Верни опять на небеса», –
шепнул на ухо я медбрату...

*Михаил ОКУНЬ*

*Рассказы*

## Шахматный рассказ

– Видите вот этого мальчика? – Он навалился на стол объёмистым животом, протягивая мне выцветшую газетную вырезку и тыча пальцем в мутную фотографию. – Это середина пятидесятых, здесь ему лет десять-одиннадцать.

– Мальчика никакого не вижу, – я несколько отстранился. – Какой-то молодой человек, явно старше одиннадцати...

– Нет-нет, это Барский, он тогда на Сахалине гремел, чемпионом был. Заметка-то о первенстве острова. А на заднем плане – видите, у него за спиной мальчик, который на демонстрационной доске фигуры передвигает. Это и есть Петрушин.

Действительно, я разглядел худенького грустного мальчика с торчащими ушами, в белой рубашке и при пионерском галстуке.

Мы сидели в забегаловке с самонадеянным названием «Рюмочная №1» у Финляндского вокзала. Он пришел позже, взял свои сто пятьдесят, – очевидно, уже не первые на сегодня, и попросил разрешения присесть за мой столик. А через пару минут, приняв полдозы, заговорил. Кончилось дело рассказом о неком юном шахматисте по фамилии Петрушин – с извлечением из бумажника клочка газетной бумаги.

– Примерно в этом возрасте он и переехал с родителями на материк, в Воронеж. А еще через пару лет выиграл чемпионат СССР среди школьников. Очень был талантлив...

На кой чёрт он пристал ко мне с этой историей? – не на кого излить? Но, видно, грызёт она его... А под парами и разобрало.

– Как ваше имя-отчество? – неожиданно для него и себя спросил я.

– Антон Васильевич, – махнул он рукой и продолжал, – так вот, за первое место его премировали путевкой в «Артек». Помните такой? Может, бывали?

– Помню, конечно, но сам не удостаивался. Ездил в самый обыкновенный пионерлагерь, в Ленобласть. Всеволожск, знаете?

– Я не ленинградский, – с досадой, что я ухожу в сторону от магистральной петрушинской темы, ответил Антон Васильевич. – Так вот, в «Артеке» с Петрушиным приключилась очень неприятная история. (Он вроде как всхлипнул.)

Мне оставалось только слушать.

– Петрушина как чемпиона попросили дать сеанс одновременной игры. Играть с ним посадили не кого попало, а пионеров и вожатых с разрядами – четвертый там, третий, даже со вторым были. Но Петрушин быстро всех разнес. Неоконченной оставалась только одна партия, и в ней противник Петрушина должен был победить. Но тут он допустил нелепый зевок, и ладейный эндшпиль проиграл...

(Я было подумал, что проиграть должен наш герой, и это станет его главной артековской неприятностью.)

Между тем Антон Васильевич судорожно сглотнул остатки водки из стакана и продолжал:

---

*Михаил Окунь родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина). Работал радиоинженером, литературным консультантом в ленинградской писательской организации СП СССР, редактором. Автор семи сборников стихов и двух книг прозы. Публикации в журналах «Волга», «Звезда», «Урал», «Нева», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Зинзивер», а также в альманахах, антологиях в России, Германии, США, Финляндии. Лауреат премии журнала «Урал» (2006) в номинации «Поэзия». Золотая медаль конкурса «Лучшая книга года – 2010» (Берлин) в номинации «Малая проза», премия журнала «Зинзивер» в номинации «Проза» (2014). С 2002 года живет в Германии.*

– Мальчик, игравший с ним, огорчился, разумеется, расплакался. И вдруг в злобе схватил шахматную доску, сложил ее и с размаху двинул Петрушина по голове! Представляете?!

(Я представил. Мне вспомнился эпизод из фильма «Джентльмены удачи»: «Ухи, ухи!..»)

– Пошла кровь. Все кругом забегали. Петрушину перевязали голову. А на следующий день того пионера из «Артека» с позором попёрли (он опять всхлипнул, уже явственно).

– Ну, и не такое бывает... – вставил я, чтобы сказать что-нибудь. – До свадьбы-то зажило...

– Конечно-конечно, голова у Петрушина зажила, только небольшой шрам на лбу остался. Но не в этом суть дела... – он замолчал.

– А в чем суть?

– А она в том, что после того удара Петрушин заиграл по-другому. Совсем по-другому. Стал слишком осторожничать. Вы играете в шахматы?

– Более-менее...

– Тогда вы должны понять. Петрушин как бы лишился тактической смелости... Нет, мастером он стал, но никаких турниров больше не выигрывал. В разных командных участвовал, всякие там областные первенства. Детским тренером пошел работать, и до сих пор работает. Входит в исполком местной шахматной федерации. Но всё это не то, не то!.. Если б не случай в «Артеке», он мог бы стать великим шахматистом!..

(Ну, про несостоявшихся гениев мы слыхивали. Во всех областях. Особенно в писательской. Впрочем, не будем об этом.)

– То есть, Антон Васильевич, вы думаете, что некое сотрясение мозга могло помешать ему...

– Нет-нет, тут чисто психологически... Он, я уверен, как бы стал бояться выигрывать... Тот удар висел над ним, как дамоклов меч.

– Ну, не знаю... Не ожидал же он, что теперь его будут регулярно бить шахматной доской по кумполу! – пошутил я неудачно, учитывая всю серьёзность вопроса для моего случайного собутыльника.

Он резко встал:

– Извините, мне пора. Еще до гостиницы добираться.

– И я пойду.

Выйдя, мы коротко распрощались. Я хотел спросить, по каким делам он в Петербурге, но передумал.

Я посмотрел ему вслед. Он тяжело и прямо двигался к метро. Плотный, тумбообразный. Похожий на шахматную ладью. Из проигранного им эндшпиля. А то что тем горячим пионером был именно он, я уже не сомневался.

Ветер с Невы хорошо остужал лицо. Светился огнями Литейный мост. Ленин с броневика указывал на другой берег, на здание ФСБ (в народе с давних пор – «Большой дом»).

Конечно же он, Антон этот самый Васильевич! Иначе откуда такие подробности? И возраст у него подходящий. А теперь отслеживает судьбу Петрушина. Кается, что сгубил человеку жизнь своим ударом.

Но если подумать, так ли уж много Петрушин потерял? Всю жизнь двигал облупленные шахматные фигурки в каком-нибудь районном доме культуры – занимался, словом, любимым делом. Не асфальт же, в конце концов, на улицах в жару и холод клал. Весь день свободен, занятия только вечером, когда у школьников уроки заканчиваются.

А что было бы, не лишись Петрушин «тактической смелости»? Ну, в идеальном варианте, прорвался бы в советскую шахматную элиту. Ну, двигал бы наш Петруша те же фигурки, пусть несколько по-иному и уже за другие деньги, а не зарплату детского тренера. Стипендию бы от государства получал. Гонорары в валюте с зарубежных турниров родине приносил. Жизнь была бы интереснее и разнообразнее? – безусловно. Борьба, слава... Но всё закончилось бы тем же! Ровно тем же!

Вон, прикинул я, ему уже под семьдесят, а с работы не гонят, – уважают, значит. В исполкоме своем опять же заседает. Подарки, наверное, к праздникам...

Я свернул на Арсенальную набережную. Вода жирно чавкала у парапета. Слева во тьме нависала тюремная громада «Крестов». У стены там-сям шлялись нетрезвые агрессивные «паца-

ны». Прихлёбывая из бутылок, перекрикиваясь и гогоча, они в тусклом фонарном свете собирали «пули»[1] от запертых дружков.

А потому имело смысл проявить тактическую смелость, поймать машину и скоренько двигать домой, дабы избежать участи шахматиста Петрушина. Ведь тут, случись что, одним ударом не отделаешься.

*2015*

## Аралия и лимон

Выйдя на пенсию в начале восьмидесятых, мать Зеленского весьма удачно устроилась на работу цветоводом в интуристовскую гостиницу «Карелия», в десяти минутах ходьбы от дома. И проработала там до середины девяностых, до самого разгара приватизации, когда гостиница перешла в частные руки, и в цветоводах, дежурных по этажам, горничных и прочей обслуге нужда отпала.

Все эти годы Зеленский помогал маме – с перестановкой тяжелых цветочных горшков в гостиничных холлах, с поездками в оранжереи для заказа и доставки новых растений. Стал в гостинице своим человеком.

Само собой, в их с мамой двухкомнатной малогабаритке появились новые растения. Главное место среди них занимали японская аралия и лимонное деревце.

Аралия, стоявшая в изголовье спального дивана Зеленского, быстро тянула вверх свою метелку и вскоре достигла потолка. Была она похожа на худосочную пальму, но к этому виду не относилась. Лимон тоже рос весьма активно, но плодоносить не желал.

Шли годы. Зеленский оставался неженатым и бездетным. Случайные подружки становились всё менее презентабельными. Так подкатил пенсионный возраст.

Прошло еще несколько лет, мама умерла. Зеленский всегда боялся, что после ее смерти жизнь станет невозможной, невыносимой. Но оказалось – терпимо, хотя иногда подкатывало. Родственников не осталось. Одинокий выпивающий человек, довольно робкий в жизни. Потенциальный клиент чёрных риэлторов...

Однажды Зеленский сидел в местном злачном подвале «Русич» (здесь как-то раз багровый мордатый мужик беззлобно подшутил над ним – мол, не с твоим фейсом в «Русиче» торчать). Он вспоминал покойную мать и думал о том, что сложившаяся у них манера подшучивать друг над другом в ее последний год изжила себя. Так, мама, когда уже лежала в болезни и почти не вставала, попросила его как-то раз купить простенькие стенные часы и повесить их пониже, в изголовье ее кровати. Часы он купил. И, вколачивая в стенку гвоздик, неловко перегнувшись через мать, пошутил:

– Вот, тюк молоточком в лоб – и дух с тебе вон!

Она посмотрела на него и ничего не сказала. И сейчас, сидя над кружкой пива, он грыз себя, вспоминая свою глупую шутку и ее взгляд...

От самоедства его отвлек громкий смех. В компании за соседним столиком царила бойкая молодая женщина лет тридцати пяти. Она была навеселе. Зеленский узнал ее – когда-то работала буфетчицей в «Карелии». Татьяна, кажется... Она показалась ему красивой.

Позже, гуляя в сумерках по безлюдной части парка, Зеленский увидел ее спящей на скамейке. Разбудил, кое-как довел до своего дома, удивляясь при этом собственной решимости. Утром она смотрела на него удивлёнными глазами...

Для Зеленского потянулись сладкие дни, наполненные густым эротическим туманом. С Таней они почти не расставались. «Проводили время». Иногда у нее. Квартирка на пятом этаже хрущёв-

[1] *«Пули»* – свернутые в конусную трубочку записки, утяжелённые хлебным мякишем. Эти «пули» узники Следственного изолятора №1, именуемого в народе «Крестами», выдувают через свернутую в трубку газету и обстреливают ими улицу, где их подбирают адресаты (Примеч. автора).

ки, доставшаяся ей от родителей, была сильно запущена. Одно из окон пялилось на свет божий серо-голубым картонным бельмом. Впрочем, и у него было не намного лучше – тридцать лет без ремонта.

Чем она пробавлялась, он так и не понял. Во всяком случае, на какую-либо «работу» по утрам не спешила.

Любила поесть, что, однако, на фигуру ее пагубно не влияло. Еще больше любила выпить. Но, что главное, по работе в «Карелии» помнила его покойную мать. Во всяком случае, так говорила...

Как-то раз, после особенно бурных ласк, Таня, глядя на нависшую над ними аралию, сказала:

– Какая всё же у тебя замечательная пальма! Такая сочная зелень!

– А хочешь – забирай! – воскликнул в порыве Зеленский. – Забирай, раз нравится! (И даже не пустился в объяснения, что аралия отнюдь не является пальмой.)

В тот же день они с шутками и гиканьем перетащили горшок с аралией к Тане, – благо, было недалеко.

Прошел месяц («медовый», можно сказать). В отношении Тани к Зеленскому наступило заметное охлаждение. А тут и разница в возрасте, прежде незаметная, вылезла с наглой двусмысленной ухмылкой...

Мобильник Таня брать перестала, сама не звонила, а заявиться в гости без звонка Зеленский не решался. Однажды, наконец, услышал в ее телефоне нетрезвый мужской голос:

– Вас внимательно слушают!

– Мне бы Таню... – замирая, сказал Зеленский и получил глумливый, со смешком, ответ:

– Выпимши отдыхает!

Тем не менее в последующие дни Зеленский, подогреваемый воспоминаниями и общим девизом всех отвергнутых любовников «Не может всё так просто закончиться!», продолжал упорно названивать. И через несколько дней услышал-таки Танин голос.

Разговор не клеился. Женщина резко и односложно отвечала на вопросы.

– Как там наша аралия поживает? – как можно мягче поинтересовался Зеленский. Таня еще более раздраженно ответила:

– Как, как... Никак... Листья паутиной затянуло, какая-то мелкая дрянь по ним ползает...

– Это тля! – даже как-то обрадовался Зеленский. – Бороться с ней трудно, но можно. Жидкое мыло, растительное масло, смешать в определенной пропорции. Если хочешь, я зайду и...

– Ах, тля!.. – внезапно перебив, истерично вскричала Таня. – Тля, значит... Такая же тля, как ты!!!

И отключила телефон.

Зеленский окаменел. «Что это было?..» – сверлила его мозг киношная фигура речи. А позже, немного успокоившись, сам себе и ответил: «Известно, что...»

Через несколько дней, проходя мимо помойки, Зеленский увидел лежащую у мусорного бачка аралию, распиленную на три части. Крона пожухла, листья уже начали подсыхать, сворачиваясь в куриные лапки с поджатыми коготками. Колтун из корней еще сохранял форму цветочного горшка. Последний, вестимо, отсутствовал, – пригодился кому-то в хозяйстве.

Спасти дорогую покойницу уже не представлялось возможным. С минуту Зеленский постоял, склонив голову...

От огорчения, сильнее сказать, с горя, Зеленский изрядно запил. И потому начисто забыл поливать лимон. А ведь когда-то мама учила, что поливка лимона должна быть ежедневной и обильной.

Но эта вынужденная сухая голодовка возымела для растения внезапные последствия. Через несколько дней якобы бесплодный лимон вдруг выбросил пять тонко благоухающих цветков, сердцевины которых вскоре превратились в темно-зеленые матовые бомбошки. Которые затем стали глянцевыми ярко-желтыми плодами, быстро набиравшими объём,– идеальной формы, с тонкой кожурой. И, в конце концов, настолько крупными, что веточки пришлось подвязывать, чтоб не сломались под их тяжестью. Зеленский, придя в норму, делал это с большим тщанием.

И вообще, метаморфоза, произошедшая с лимоном, отчасти примирила Зеленского с окружающей действительностью, и он набрался терпения жить дальше.

*2015*

*Елена ЗЕЙФЕРТ*

## ВОДА В БРОСКЕ

*Поэма*

ангел смотрит мне в рот
на его кулаке мои золотые волосы
мой внутренний пловец поднимает глаза
к моей гортани
первый подпрыгнул и завис над землёй
другой почувствовал избыток моря под собой
и запел

они зрячие

ты рождаешься
когда смычок и скрипка
моих голосовых связок
перестают дрожать

внутренний пловец вдевает свои руки в мои
но я на долю секунды совпадаю с ангелом
на мостках
у самой синей воды

ты впервые замечаешь меня
увидев моё исчезновение

ангел касается моего уха
чтобы звуком
осветить тебе
пришедшую из пустотного края –
живую женщину
детскую козочку бьющую серебряным копытцем
куклу с фарфоровыми щиколотками
маску за которой полная луна

ты видишь книгу с красными страницами
и умываешь лицо

---

*Елена Зейферт родилась в 1973 году в Казахстане, в г. Караганде. С 2008 г. живёт в Москве. Профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор филологических наук. Публиковалась в журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Литературная учёба», «Новая Юность», «Волга», «Урал» и др. Автор пяти книг стихов, русско-немецкой книги-билингвы «Namen der Bäume/Имена деревьев», сборника стихов и прозы «Малый изборник», книги критики «Ловец смыслов, или Культурные слои» и др. Лауреат главной литературной премии федеральной земли Баден-Вюртемберг (2010).*

внутренний пловец
резко выныривает
из моего живота к горлу

я похожа на слоистый воздух
сквозь меня виден человек
он ритмично косит траву
за его спиной пузырится река
на твоей верхней губе её пена
ты вогнутый ёж
в котором тысячи скважинок
оставшихся после встречи
со взглядом собаки
двойной радугой
метафорой
розой

в них просится мой свет

ангел и внутренний пловец поссорились
пеленальщики моего покоя
по очереди окликают меня

но рядом со мной ты в мокрой рубашке
(торопливо вышел встречать меня в дождь)
я смотрю в подзорную трубу
и мои зрачки атакует незнакомое божество
оно вспархивает с твоей руки
у тебя с ним общие нитки
штольни
звуки

ты впускаешь меня в свои глаза
в невидимую сторону природы

я ощущаю пыльцу на своём лице

птицы клюют соль на ногах улетевшего ангела
внутренний пловец отдыхает в моём сердце
он упал навзничь
его волосы рассыпались по траве

ты как ангел рядом
и как внутренний пловец внутри меня

ты говоришь на языке
проросшем внутри зерна
но ещё окружённом его кожей и желанной влажной землёй
я слышу тебя не ухом
а горным озером слезой каплей пота
ручной ангел расправляет крылья
в зерне на твоём языке
где-то в лесу рождается оленёнок
с короной на нежной макушке

ангел пытается плыть во мне
ныряя с крестика на моей шее
обгоняя внутреннего пловца

но я вода в броске
я попутный ветер в их гребущих руках
нарисованный на настоящем море корабль
растущий рывок и прыжок к тебе

между нами
стол
чашка кофе
десятки станций метро
ты грустно смеёшься
расплёскивая теплынь
в твоих карманах яблочные семена и крохотные церквушки
вышитая на твоей куртке бабочка оживает

я была на вершине нашей дуги
но на твоей стороне никогда

ты движешься сквозь меня
и сквозь раскрытые глаза ангела
внутрь себя
оставляя во мне
своё второе
невидимое сердце

мой внутренний пловец продрог
ты заботливо накидываешь на мои плечи куртку своего восхищения
проступающий из тебя чужой мне врубелевский мальчик
пытается обнять меня
я упираюсь ему в грудь

город бледнеет
ты вздыблен к небу
как врата горный хребет речное дно

когда
на единственном пути к целостности и блаженству
я поранила руку
чтобы не было так больно
в каждом
глоточке
твоего
кофе
была
капля
крови

для нас наступило пятое время года
мы встретили его с ликованием

ты поддержал меня
и я проросла до целого

*Вячеслав ХАРЧЕНКО*

# ДОМИК-ПРЯНИК

*Рассказ*

1.

Дом решили строить на холме. Для этого купили участок на возвышенности, который никому не был нужен, потому что странно приобретать землю неровную, если есть вполне чистенькие, ухоженные куски без рытвин, буераков и колдобин. Хозяин земли, человек пылкий и южный, смуглый, с небольшими залысинами, понимая, что Олегу и Любе некуда деваться, заломил такую цену, что Любаша сначала отказалась. Но чуть позже, когда наступила сентябрьская дождливая разноголосица, и тонкие, въедливые, скучные струи осели на весь Подмосковный регион, продавец позвонил сам. И Савушкины, скинув цену на пятьдесят процентов, приобрели запущенный участок с березками, сосенками и кустами боярышника, раскидистого, как брызги акриловой краски, разлетевшейся во все стороны по деревянной поверхности под легким нажимом детской руки.

Олег и Люба стояли возле автомашины и смотрели с удивлением на природное пиршество и никак не могли понять, зачем они ввязались в авантюру. В Москве есть трехкомнатная квартира со всеми удобствами, а друзей с дачами так много, что можно в течение летнего сезона переезжать с одной на другую, нигде не задерживаясь более недели.

В правом дальнем углу шести соток высилась старая изуродованная мхом и лишайником толстенная и высокая яблоня, увешанная в урожайный год поздними и еще как следует не поспевшими плодами. Зеленые, величиной с добрый кулак яблоки свисали, как стоваттные лампочки, и казалось, что если подключить дерево к электропитанию, то наступит яркое новогоднее празднество и сотня огоньков озарит окружающее пространство веселым и упоительным светом.

Было сложно объяснить, как яблоня оказалась на заброшенном участке. Значит, кто-то за ней ухаживал и растил, лелеял и холил, но потом через десяток лет под натиском ВТО бросил все на произвол судьбы, удалившись от дел в город, позабыв обязанности перед бедным деревом, перестав обрабатывать купоросом, белить ствол и уничтожать вредителей.

Когда смешные и суетливые таджики с опущенными и курчавыми черными головами рубили заросли и корчевали растопыренные пни, то яблоню и боярышник оставили. Так посреди холма образовалось пустое пространство, готовое для дальнейших действий – укладки фундамента и постройки дома. В октябре, до холодов успели залить бетон, чтобы за год конструкция отстоялась, и можно было в следующий сезон начинать работы: громоздить брус, ставить лаги и возводить крышу, опершись на ленточную твердь, раскинувшуюся на холме змейкой, пожирающей собственный хвост.

Олег и Люба любили посидеть на лавочке, сделанной из срубленных берез, на пустом участке и пофантазировать, какой будет их дача.

– Это будет домик-пряник, – повторяла Люба, сама до конца не понимая, что она вкладывает в эти слова.

– Представь, что я здесь хожу беременная, – говорила Люба и со спины обнимала Олега, спо-

---

*Вячеслав Харченко родился в 1971 году в Краснодарском крае. Закончил школу в Петропавловске-Камчатском, выпускник МГУ им. Ломоносова, учился в Литературном институте им. Горького. Участник литературной студии «Луч». Стихи и проза печатались в журналах «Новая юность», «Арион», «Знамя», «Октябрь», «Крещатик», «Новый берег» и др. Живет в Москве. В «Волге» публиковались рассказы «Шахматист» (2014, №3-4), «Сколопендра» (2015, №7-8).*

койно курящего очередную смолистую сигарету.

В мае следующего года, когда сладкоголосые соловьи поселились в яблоне и тонким и протяжным щебетом охватили пространство участка, Люба начала разговаривать с бригадами о стоимости работ, сроках и технологиях.

Олег не вмешивался. Странно, что он не вмешивался, но вся эта утомительная идея с дачей не доставляла ему удовольствия. Будучи городским человеком, далеким от инженерных дел, тяжелым на подъем журналистом столичной газеты, он скептически смотрел на всякое деревенское хозяйство, и если и соглашался участвовать в процессе, то из любви к жене. Само строительство, сама сельская идиллия, все эти яблони, орешник, зеленая хрупкая травка вызывали в нем не прилив радости и восторга, а трудноуловимое зудящее беспокойство. Словно под вечер, перед ночным сном в дом проник тонконосый, настырный комарик, и теперь невозможно отключиться, пока не будет выловлен и уничтожен преступник, или пока не станет обработано пространство комнаты ядовитыми парами антикомариного средства.

Первое время Олег пытался вникать в процесс: читал статьи и книги, сидел на строительных форумах, старался вместе с Любой радоваться мелочам и деталям, но постепенно, исподволь, несмотря на любовь к жене, в нем поселилось стойкое отторжение. Люба заметила перемену в настроении мужа, и ей такое поведение Савушкина не нравилось, но понимая, что сделать ничего невозможно, а отказаться от мечты походить беременной по дачному участку она не могла, Люба взвалила заботы о даче на свои плечи, что вызывало удивление у бригадиров. Они привыкли разговаривать с мужчинами, а тут к ним выходила молодая красивая женщина, хоть и начитанная о строительных работах, но все-таки дилетант.

В результате такого казуса было смешно наблюдать за переговорщиками. Одни старались, видя неопытность Любы, завысить цену, другие не принимали ее всерьез и пытались достучаться до Олега, у некоторых вид Любы вызывал обильное словоотделение: строители стремились Савушкину заболтать, переломить или даже запугать какой-то мужской дерзостью, лихостью и грубостью.

Бесконечный поток желающих построить их дом уже изрядно надоел Олегу, и ему хотелось побыстрее выбрать кого-нибудь, но Люба стойко переносила все сложности и превратности, а потом Олег просто забыл обо всем, перестал обращать внимание и даже не замечал, как мелькают перед глазами претенденты.

Где-то в июле, через два месяца Савушкина заявила, что нашла работника. Олег не обратил на это внимания, но Люба сказала, что строитель отказывается назвать цену. Это было необычно и странно, потому что от цены и приходится плясать, а тут надо ввязываться в авантюру, не рассчитав расходы и не поняв, сколько денег уйдет на строительство.

– Как же так, это невозможно, – Олег ходил кругами по московской квартире и пытался достучаться до Любы.

– Так не делается, на основании чего ты его выбрала? – но жена только обнимала Олега и целовала в морщинистый покатый лоб или проводила ладонью по коричневым вискам с первой снежной проседью.

Когда же Любаша с ликованием стала рассказывать, как они с Игорем (новым работником) выбирали пиломатериал (при этом глаза ее блестели и сияли, над верхней бархатной губой выскочила бисеринка пота, Люба активно жестикулировала и радостно подпрыгивала на тахте), Олег понял, что происходит что-то очень важное и пугающее для него. Савушкина еще никогда не говорила так восторженно о чужом человеке, тем более мужчине. Он пошел на кухню, задернул шторы (Олег не любил, когда его было видно из ночного окна) и дрожащими руками закурил сигарету. Когда Люба стала прогонять его на лестничную площадку, то заупрямился, хотя всегда жене подчинялся, потому что еще хорошо помнил, с каким трудом они вычищали от копоти подвесной потолок.

– Кто он, кто же он, – думал Олег и глубоко впускал в легкие вонючий вьюнок дыма. В конце концов он закашлялся, потушил сигарету под гибкой струей воды и выкинул рыжий окурок в унитаз.

Утром в субботу он с сослуживцами поехал в тир, а Люба рванула на дачу. Тир, как и его газета, был ведомственный, милицейский, и находился в подвале серого, утробного здания, выложенного из тяжелых бетонных плит, отштукатуренных и покрытых едкой бордовой краской. Сегодня Олегу Савушкину не везло, и когда они с главным редактором и кураторами сидели в парилке и пили пиво, то Олегу стало казаться, что все над ним потешаются, потому что с пятнадцати раз он не выбил и трех мишеней. Кураторы ласково приобнимали его, а главный редактор подливал и подливал в пиво водочки, отчего Олег бросил машину у тира, а сам поехал домой на такси.

Олег проснулся утром с пистолетом в обнимку. Как оружие попало в его дом, Савушкин не понимал и не помнил. Он приподнял пистолет и внимательно осмотрел его. Не было сомнения, что это было боевое оружие, холодное и стройное, как надрез хирурга. Из дула еще веял приятный и опасный запах пороха. Пистолет стоял на предохранителе, но он (предохранитель) легко снимался, и оружие без какого-то видимого усилия легко переходило в боеготовность. В магазине находилось семь патронов.

Олег хотел позвонить главному редактору, но зачем-то завернул пистолет в черную битловскую футболку, лежавшую на прикроватной тумбочке, и положил сверток в походный рюкзак. Уже через два часа Олег ехал с ним по Егорьевскому шоссе на дачу.

2.

Когда Игорь видел Любашу, то начинал яростно вкалывать. Игорь Иванович хорошо помнил завод, на котором работал кузнецом. Цеха, зевотные и прожорливые, требовали новых сгустков металла и, проходя через извилистый конвейер, холодные полотна превращались в новенькие, пахнущие краской и смазкой сеялки, закупаемые всеми колхозами и совхозами Подмосковья. В незабвенные годы они шли нарасхват, и Игорь Иванович очень гордился, что работает на значимом и известном на всю страну предприятии. С тех пор чувство необъяснимой гордости не покидало Игоря Ивановича, хотя во время реформ развалились сначала колхозы, а за ними и завод.

На оставшемся от предприятия дачном участке Игорь Иванович выковал забор и железный домик. В жару дом нестерпимо нагревался, а осенью, в первые ночные заморозки, в нем было чудовищно холодно. Зато он значимо отличался от типовых щитовых домишек остального кооператива, а когда в СОТе в нулевые годы появились первые богатые москвичи, то Игорь бросил пить (что его сильно отличало от других заводчан) и принялся подрабатывать тем, что строил рубленые дачи, изучив дополнительно специальности плотника, кровельщика и бетонщика.

Он очень любил свое дело. Сидишь на балке, на крыше, а ветер ласковый и протяжный, радостный и спокойный овевает седой ежик волос, греет коричневую перцовую рябую кожу, лижет мускулистую фигуру, и видится Игорю Ивановичу, что он былинный богатырь, непонятно как выдюживший в беспощадной битве. Полегли его соратники, красное знамя досталось врагу, гимны старые забыты и прокляты, вожди трусливо разбежались, только трубач еще стоит на холме и не сдается, выдувает незамысловатую песню и надеется, что еще соберутся оставшиеся в живых бойцы, чтобы продолжить славное дело. Но только один Игорь Иванович сидит на коньке, мурлыкает веселенькое под нос и забивает стрелы гвоздей одну за другой. Такое счастье охватывает весь организм, что нету ему описания. Только славная мелодия рвется из груди и где-то на западе уже розовеет. Уже закатывается алое, яркогубое солнце, чтобы Игорь мог закончить труд. Спуститься с крыши на твердую, зеленую, певучую землю, умыться из багряного колодца холодной свежайшей водой и гордо, как полагается настоящему работнику, дойти до стола с яствами (курица-гриль, запеченная картошка, яблоки, ржаной хлеб, чеснок, зеленый лук), который уже приготовила хозяйка строящегося дома – рыжеволосая, как сказочная лисица, ласковая Любаша. Ради нее Игорь бросил строить дом председательши кооператива, ради нее он уже месяц не пил даже пива, ради нее Игорь Иванович поругался с бригадой жадных молдаван и решил строить все сам, ради нее он унес из своей семьи умывальник, чтобы вмуровать его в кухонную стену возводимого дома Любаши.

Единственно, что смущало Игоря Ивановича, – это его косноязычие. Наглядевшись на Любу, зажмурившись, как сытый и довольный кот, понимая всю пропасть, лежавшую между ними,

Игорь не знал, как заговорить с Любашей. Он долго слушал ее, внимательно запоминал все желания и претензии, но говорил только по делу и по работе, а когда возникало желание сказать что-то еще более значимое и важное, смущался и багровел, как четырнадцатилетняя школьница на первом свидании.

Сегодня с утра Люба приехала на электричке, поэтому шла от станции с рюкзаком десять минут пешком, а когда пришла на участок, то Игорь Иванович сделал вид, что не заметил ее. Он любил смотреть, как Любаша любуется его работой, и в этот момент Игорь начинал рдеть и улыбаться, словно тульский пряник. Вот и сейчас Игорь Иванович как бы удивился приходу Любаши, хотя увидел ее издалека, подошел поздороваться и намеренно задел ее бедро рукой, и Люба это заметила и оценила, отстранившись и удивившись, наклонив голову вбок, разглядывая его поперечные морщины на потном лбе и небольшую лысинку на макушке. Стало казаться, что Люба сейчас расплачется, но она переборола себя и, с трудом улыбнувшись, пошла осматривать проделанную работу.

За месяц, к сентябрю, Игорь Иванович возвел стены из бруса и подвел их под крышу. Дача должна простоять для усадки еще год. Тогда можно будет приступить к отделочным работам. Смачный и оранжевый брус, пахнущий деревом и смолой, сиял на солнце, как корабль Колумба. Прямо у яблони, возле ствола разместилась куча материала, закрытая от непрошенных глаз толем. Из-за возведенного двухметрового забора слышался шум разыгравшихся детей, и Любе хотелось, чтобы кто-то еще вошел на участок и порадовался вместе с нею.

Они открыли люк в доме и спустились вниз, чтобы осмотреть черновой пол. Хорошо промасленные лаги были завернуты в специальную влагонепроницаемую ткань, шпунтованная доска, аккуратно подогнанная друг к другу, сколоченная так, что не видно было шурупов, не скрипела и не дрожала. При ходьбе по ней возникало неясное чувство полета, и было приятно и важно, что можно снять обувь и лихо и незаметно потанцевать на полу под забытую и щемящую музыку радио «Ретро FM», несущуюся из плеера.

Когда они с Игорем Ивановичем поднялись наверх, Игорю стало казаться, что кто-то за ним наблюдает. Это было странное и ни на что не похожее чувство, последний раз он его испытывал в юности, в военкомате, когда Игоря Ивановича призвали в армию. Потный и усталый уролог с расстояния пятнадцати метров попросил Игоря приспустить трусы (непонятно, что врач мог разглядеть с такой дистанции) и, что-то буркнув, записал в его медицинскую карту слово «годен», что Игорь тоже с такого расстояния рассмотреть, конечно, не мог. И вот сейчас Игорю Ивановичу чудилось, что кто-то еще кроме Любаши следит за ним и оценивает каждое движение.

Когда они спустились, Любаша пошла в дом, а Игорь Иванович присел на лавочку и медленно оглядел участок. На яблоне сидел красноголовый дятел и звонко и громогласно стучал по стволу, извлекая на свет шершавых, блестящих короедов. Игорь Иванович достал пачку сигарет, и от неловкого и резкого движения дятел улетел, взмахнув крыльями, как последняя электричка. Слева за забором сквозь натянутую на столбы рыболовную капроновую сеть виднелись заросли черноплодной рябины и вязкого клейкого терна с черно-фиолетовыми плодами. За спиной стоял железный забор, за которым на детской площадке шумели дачные дети. Соседи справа делали бараний шашлык, и теплое дыхание поджаренного мяса сопровождалось их подвыпившим мычанием, похожим на разговор доярки с несмышленым теленком. С востока наползала лиловая грозовая туча. Люба стояла в проеме незастекленного окна с веником и совком и улыбалась кому-то неизвестному, но не ему. От Любаши веяло несобранной пшеницей и только что испеченным хлебом, юбка чуть сползла на бедра, между ними виднелась еле заметная бледная полоска незагорелой, незрелой, нежнейшей кожи. Игорь Иванович встал с лавочки, поднялся на холм, вошел в дом и оказался в проеме двери. Люба не замечала Игоря и, наклонившись к нему спиной, подметала пол.

Пошел дождь, запах сырости проник в дачу, с крыши закапало на землю. Так как водосток еще не был сделан, то лило по всему периметру, и от этого стояла стена воды, в какую сторону не посмотри. Игорь Иванович присел на крыльцо и глубоко затянулся сигаретой. Белесая «Ява» тянула веником, но он к этому запаху привык и не мог курить новомодные сигареты. Затушив окурок,

Игорь полез на второй этаж по приставной лестнице и растянулся на полу. Чувство, что за ним наблюдают, не оставляло его.

3.

Савушкин бросил машину у въезда в СОТ. Олег вынул из багажника сверток с пистолетом, поставил машину на сигнализацию, проверил, закрыты ли двери, и пошел по дороге к дачному участку. Идти было минут пять вдоль краснокирпичных особняков москвичей. Иногда из-за поваленных деревянных заборов торчали полусгнившие щитовые дома заводчан. Кто-то даже до сих пор выращивал картошку, а некоторые самые стойкие лелеяли огурцы и помидоры в полиэтиленовых теплицах, на солнце похожих на ледяные горки, особенно если теплицы были круглые, собранные из алюминиевых полуколец.

За Савушкиным увязалась собака сторожа, черно-белая и заливистая, когда находилась на привязи. Сейчас же пес сорвался с цепи и являл окружающему пространству теплый и податливый характер, не спеша труся за Олегом и виляя толстым проволочным хвостом. За сто метров до подхода к дачному участку Савушкин услышал, как поет его жена.

– Сердце, тебе не хочется покоя, – пела Любаша, и ее звонкий, радостный голос, столь любимый Олегом, почему-то сейчас раздражал Савушкина. Он встал за забором и прислушался. Никого, кроме Любы, не было слышно, тогда Олег обошел участок слева, вошел в заросли черномазого терна и увидел Игоря Ивановича, стриженая голова которого торчала из окна второго этажа. Он задумчиво шевелил губами и что-то прикручивал шуруповертом.

Савушкин развернул битловскую футболку и достал пистолет. Он прицелился в Игоря Ивановича, но забыл снять оружие с предохранителя, выстрела не последовало. В этот момент Игорь посмотрел в сторону зарослей и разглядел Олега. Савушкин, понимая, что его заметили, бросил пистолет в кусты и поспешил в сторону калитки и хотел открыть ее ключом, но калитка была не заперта. На ключе болтался коричневый брелок в виде Олимпийского Мишки, сохранившийся у Олега с самого детства, когда он, восьмилетний, ходил с отцом на открытие Олимпиады-80, пил лимонад и рассматривал чернокожих атлетов. Помнится, Савушкин так засмотрелся на них, что у него выпал из рук леденец-звездочка и рассыпался сладкими осколками по влажному вязкому свежему асфальту. Негр засмеялся и наклонился к нему с высоты своего двухметрового роста. Негр был баскетболистом и приехал из Анголы. Баскетболист поднял Олега на руки, и Савушкин очутился выше всех, выше Останкинской башни.

Любаша разглядела мужа и засмеялась:

– Это мой Олег приехал, – сказала она Игорю Ивановичу.

– Здравствуй, – Игорь протянул Савушкину мозолистую, заскорузлую руку с черными ногтями. Олегу не хотелось здороваться с Игорем Ивановичем, но он все-таки переборол себя и пожал протянутую ладонь, ощутив тяжесть рукопожатия Игоря Ивановича.

Любаша подошла к Олегу и обняла его, поцеловав в губы, Игорь Иванович отвернулся и, что-то насвистывая, пошел к вагончику. Игорь немного сгорбился и со спины напоминал костыль в руках инвалида.

– Как он смотрит на тебя, – сказал Олег.

Люба ничего не ответила, подошла к колодцу и набрала воды. Скрипнула дверца, и противный, режущий звук распространился по всему участку, словно заводской гудок.

Соседи слева за забором под баян орали «Мурку». Маленький семилетний рахитичный мальчик наигрывал знакомый мотив, а нестройный хор мужских и женских голосов, как в караоке, нескладно и надрывно тянул:

– Мурка, ты мой Муреночек.

Лиловая туча ушла в сторону, в лазурном и янтарном небе появился сокол, высматривающий с неба безрассудных полевок, пожирающих дачные отходы в вонючих компостных ямах. Из-под забора вылез сонный серый полосатый кот и уселся вылизываться возле калитки.

Вечером Олег, Игорь и Люба ели приготовленного на углях цыпленка. Олег и Люба разделывали птицу вилками и ножами, а Игорь Иванович брал белую крахмальную мякоть в тяжелые

каменные ладони, разрывал на куски и забрасывал в рот. Через два часа за Игорем Ивановичем заехал сын и увез его на мотороллере на дачный участок Игоря. Из-под гладких и упругих колес летела липкая осенняя грязь, и все сапоги Игоря Ивановича были усеяны мелкими и суматошными кляксами.

Спать Олег с Любой пошли в строительный вагончик. Савушкины включили обогреватель, нашли на радио «Классика» Рахманинова и слушали его до двенадцати часов. Когда Люба уснула, и ее мирное и теплое дыхание выровнялось, Олег взял фонарик и пошел в кусты терна искать пистолет. Но осенней ночью ничего не видно, и ему стало казаться, что пистолета не было совсем. Хотя Олег точно знал, что оружие он привез, и именно из этих мрачных кустов чуть не убил Игоря Ивановича.

Раскаивался ли Савушкин в своем желании – неизвестно. По крайней мере, он не знал, совершит ли это вторично. Точнее, теперь Олег твердо знал, что после рукопожатия, после «здравствуй» он не сможет выстрелить в Игоря Ивановича, и от этого чувства ему немного было жаль себя, жаль Игоря и жаль Любашу. Жалость душила Савушкина еще какое-то время, пока он не наступил на пистолет и не засунул его за пазуху. Тогда Олег решил все пустить на самотек и полностью довериться жене. Не ставить же ему здесь видеокамеру, хотя такая шальная мысль мучила его какое-то время, но Савушкин отогнал ее прочь как мысль глупую и сумасшедшую, а он считал себя полностью здоровым человеком.

4.

Поутру Савушкины пошли за грибами. Люба понимала, что чувствует муж, и сейчас, идя по лесу, рассматривая багряные листья клена и пожелтевшие полоски березы, она думала не о последствиях двусмысленного положения, а о домике-прянике, который Савушкина хотела возвести. Увидев, что получается у Игоря Ивановича, Любаша решила разрисовать стены петушками-гребешками, русалками и водяными, навесить резные наличники и разукрасить дачу в разные цвета, чтобы дом стоял на холме, как невиданная сказочная сладкая буковка, посыпанная сахаром и корицей, пышущая жаром, как пирог, только что выдернутый из горячей печки.

Грибов в лесу не было. Скоротечные и холодные дожди не пропитали, как следует, влагой землю, и от этого встречались только трубчатые хрупкие малиновые сыроежки, которые было страшно взять в руки. Так и норовили они рассыпаться в руках. Попалось еще два приплюснутых фиолетовых подосиновика и один изъеденный червями и лишайником белый гриб.

Олег то и дело останавливался и близоруко щурился. Вместе с пистолетом он оставил в вагончике и очки и теперь видел только на расстоянии, а вблизи все расплывалось, словно пространство было покрыто толстым слоем холодной и слюдяной воды. Савушкин прислонился плечом к толстому и разлапистому дубу и произнес:

– Надо Игоря рассчитать. Сколько, как думаешь, это стоит?

Любаша оторвалась от очередной сыроежки и внимательно посмотрела на мужа. Еле заметная дрожь пробежала по ее лицу.

– Кого мы на будущий год найдем? Кто будет доделывать дом?

– Пожалей меня, – взмолился Олег и, резко отбросив палку, которую использовал для поиска грибов, зашагал к дачному участку.

От его строевого шага из-под болотных резиновых сапог разлетались разноцветные листья, с бурого ясеня вспорхнула синица и устремилась в чашу. Не разглядев из-за дальнозоркости как следует дорогу, он провалился в канаву и, чертыхаясь и матерясь, окунулся по колено в студеную осеннюю воду, которая, если бы не сапоги, хлынула стылым потоком и прилипла к теплой коже, залив шерстяные носки. Выдернув ногу из грязной жижи, Савушкин обернулся на Любашу:

– Как он может строить дом, не называя цену? Он что, сумасшедший?

– Игорь просто честный человек. Игорь Иванович хочет, чтобы мы сами оценили работу, – у Любы перехватило дыхание, и она смотрела на мужа с плохо скрываемым вызовом. Домик-пряник все не давал Савушкиной покоя, и ей теперь думалось, что Олег просто чудит. Какая-то нездоровая мысль засела в его, в общем-то, здоровой голове и теперь не дает покоя, и еще Любе

было очень больно и обидно, что Олег думает плохо и не доверяет.

Любаше ситуация представлялась не стоящей выеденного яйца, и она не могла понять: сама мысль о том, что для кого-то Люба желанна и ей приходится отбиваться или отбрыкиваться, вызывает в муже если не ярость, то бессильную злобу. Любе, привыкшей везде быть в центре событий (и в кругу друзей, и в журналистской тусовке), взгляды мужчин были привычны. На знаки внимания, которые они оказывали в отсутствии мужа, Люба не реагировала. Олег просто ничего не замечал. Здесь же, столкнувшись с неподдельным интересом и попав в зависимость, Савушкин не знал, как себя вести, и от неопределенности еще больше распалялся.

Олег хорошо помнил пятидесятилетие шефа. Они встречали его в пафосном ресторане в центре Москвы, и Савушкин ввел нарядную и благоухающую жену в банкетный зал. Как развернулись все, как потекли слюни у этих тварей, как он весь вечер молча и злобно напивался, а Любаша порхала, как радостная и веселенькая птичка. Вокруг нее щебетали заштатные острословы и ряженые подхалимы, а он сидел в кресле и мрачно набирался. Когда вино ударило в голову, Олег взял жену за руку и увез на такси домой. Любаша не сопротивлялась. Теперь на работе его постоянно спрашивают, как красавица жена.

– Хорошо, я рассчитаю его, – крикнула Люба в спину Олегу, поджав губы и опустив голову.

Но в этом году Игорь Иванович на дачном участке больше не появился, и как не звонила ему Любаша и не говорила, что надо передать деньги, Игорь отнекивался и отвечал, что ничего не сделано. Помнив глаза Олега, Игорь чувствовал, что разговор пойдет короткий, и ему, скорее всего, больше не придется увидеть Любашу. В конце концов Савушкин смирился, что ему придется терпеть загадочного и таинственного Игоря Ивановича еще год, пока не завершатся отделочные работы.

В мае следующего года Игорь Иванович все тянул и не приступал к отделке, хотя времени всего-то надо было две недели. Если честно, то он боялся Савушкина. Он боялся его не физически (никакой опасности, исходящей от Олега, Игорь Иванович не испытывал), а скорее понимал, что Олег терпит его присутствие только благодаря Любаше, и если бы не она, то Игоря давно бы выставили за дверь, не заплатив ни копейки. Но именно деньги, деньги Игорю были не нужны, и сейчас он каждый раз, подходя к строящемуся дому, проверял, есть ли на участке Олег, но, как назло, несмотря на отсутствие полного интереса к даче, Савушкин всегда присутствовал. Сидел на крылечке, жарил шашлык или налаживал рыболовецкие снасти, которые он использовал при ловле карася, вдоволь расплодившегося в окрестных прудах, оставшихся вокруг СОТа после выборки торфа.

Однажды Олег ушел на рыбалку, и Игорь Иванович отомкнул калитку ключом, который ему дала Любаша, и вошел на участок. Люба из гибкого желтого пластикового шланга, по которому из колодца глубинным насосом нагнеталась вода, поливала стройную яблоню и не видела Игоря.

Игорь Иванович незаметно подошел к Любе со спины и обнял. Любаша сначала думала, что вернулся Олег, но по плотному, мужскому запаху и грубым рукам угадала, что это Игорь. Она разом съежилась, присела и расплакалась. Тушь потекла по щекам, глаза покраснели, а веки быстро распухли. Игорь Иванович торопливо снял ладони с ее груди и, ничего не сказав, ушел с дачного участка.

В течение последующих четырех месяцев он бестолково, урывками и небрежно завершил отделку дома. Кое-где торчали неправильно распиленные доски, остались щели, плинтус оказался не прибит, между верандой и домом виднелась узенькая полоска, и когда начинались грозы, то сквозь нее на пол сочилась дождевая вода. Лестницу на второй этаж Игорь Иванович так и не сделал, а флюгер остался ржаветь за вагончиком.

Савушкины повозмущались, но уяснив, что ничего путного от Игоря Ивановича не добьются, расплатились с ним в октябре по первому разряду и уехали отдыхать в Анталию.

*Михаил БАРУ*

# ТАРАКАН НА КАНАТЕ

*(Продолжение. Начало см.: Волга. 2015. №11-12)*

**Берново**

В Берново, в усадьбу друзей Пушкина Вульфов, в которой несколько раз гостил Александр Сергеевич, я ехал из Старицы. По пути остановился в селе Красное, чтобы посмотреть на точную копию петербургской Чесменской Спасо-Преображенской церкви. Копия эта, построенная в 1790 году на средства помещицы Агафоклеи Александровны Полторацкой, к Пушкину не имеет никакого отношения, а просто очень хороша собой, хотя... У Агафоклеи Александровны был сын, Александр Маркович, который тоже никакого отношения к Пушкину не имел, а вот его сын, Александр Александрович, подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка, уже дослужился до звания двоюродного брата Анны Петровны Керн, от которой до Александра Сергеевича всего двадцать четыре коротких, известных каждому, строчки[1].

Копия оказалась выкрашенной свежей красной краской и побеленной. В ней шла воскресная служба. Перед дверьми храма стояли две пары детских санок. Полная старушка в вязаном берете старинного советского фасона разрешила подняться на колокольню всего за полсотни рублей, но строго предупредила, чтобы в колокола звонить я даже и не думал. Я и не думал. Поднялся по узкой винтовой лестнице, загаженной голубями, обтер плечами и рюкзаком за спиной побелку со стен, сфотографировал из небольшого стрельчатого окна без стекол белые поля, черные крыши, черные деревья и черных ворон на черных ветках, спустился вниз, долго вытирал о снег ботинки, испачканные голубиным пометом, сел в машину и поехал в Берново.

Берново – село старинное. Правда, имением Вульфов оно стало лишь в восемнадцатом веке, а до того, еще со времен Ивана Грозного, принадлежало боярам Берновым и даже успело побывать в опричнине. К началу восемнадцатого века Берново и еще целый ряд сел Старицкого уезда оказались в собственности стольника Алексея Ивановича Калитина. Сей Алексей в 1726 году подрядился засадить липами всю дорогу от Петербурга до Москвы, но... По бумагам, конечно, он засадил, но бумаги оказались липовыми, а кроме того, обнаружилась пропажа двух с лишним тысяч рублей казенных денег, каковые нашлись в кармане Калитина. И хотя Алексей Иванович целовал крест и туфли следователя на том, что денег он не касался и в карман их ему подбросили... последовала конфискация его имущества в казну. В числе прочего, нажитого непосильным трудом предприимчивого стольника, оказались земли в Старицком уезде, среди которых было и Берново. Из казны и выкупил эти земли за каких-нибудь пять сотен рублей бригадир Петр Гаврилович Вульф. От него и пошли все старицкие Вульфы, коих в уезде было преогромное количество[2]. От Петра Гавриловича родился Иван Петрович, предводитель Старицкого уездного дворянства, камер-юнкер и капитан-поручик, а от него внук Иван Иванович, в усадьбе которого несколько раз был гостем Пушкин.

Правду говоря, как раз в Берново Пушкин бывать не любил, хотя и встречали его там всегда радушно и поселяли в самой лучшей комнате с балконом и видом на усадебный парк. Хозяин берновской усадьбы был личностью малоприятной – сущий Скотинин и Фамусов в одном, довольно толстом, лице. И шестидневной барщиной он крестьян своих замучил, и бунтовали они, и жалобу царю писали, и приезжал их усмирять старицкий исправник, по совместительству шурин Ивана Ивановича, и гарем из крепостных девок Иван Иванович завел... Одно хорошо в его усадьбе – она сохранилась до наших дней, а от усадьбы в Малинниках, в которой так любил бывать в гостях у Пра-

сковьи Александровны Вульф-Осиповой и ее дочерей Пушкин, от барского дома в селе Павловском, которым владел добродушный Павел Иванович Вульф и которого поэт любил, быть может, больше всех старицких Вульфов, от дома в Курово-Покровском... не осталось ничего. Вот потому-то, в семидесятых годах прошлого века, в усадьбе Ивана Ивановича Вульфа и устроили музей.

Музей встретил меня масленичными гуляньями. На большой поляне, неподалеку от усадебного дома, люди, наряженные цыганами, пели песни, плясали с приехавшими на автобусах экскурсантами, торговали блинами с вареньем, вязаными пинетками кислотных расцветок, петушками на палочке, сушками, жареными пончиками и магнитиками на холодильник.

На одной из дорожек парка ко мне подошел мужчина средних лет, восточного вида, смуглый, с большими черными глазами и, старательно дыша в сторону, сказал:

– Я сейчас отворачиваюсь, потому, что пива выпил и не хочу, чтобы на вас. Здесь, между прочим, Пушкин написал Керн – я вас... любил и все такое... ну, а потом он ее... но не здесь, нет – в Москве или где. Я сам тоже... москвич, но у меня здесь дача. Вы извините, просто вот нах... нахлынуло.

Говоря, он делал большие театральные паузы для выпуска изо рта пивного углекислого газа, и от «я вас» до «любил» получилась дистанция огромного размера, в продолжение которой он выразительно таращил глаза.

Сам музей представляет собой обычный провинциальный музей дворянского быта с ломберными столиками, веерами, канделябрами, шкатулками из карельской березы с инкрустациями и без, серебряными ложечками, ситечками и даже одной старинной восемнадцатого века ореходавкой, которой, по преданию, Пушкин прищемил себе палец, когда колол грецкие орехи симпатичной дочке Ивана Ивановича Вульфа – Аннете.

Экскурсовод, симпатичная и приветливая женщина лет пятидесяти, читала, как это принято у экскурсоводов пушкинских музеев, километрами стихи Пушкина. При этом она не переставала ходить по залам и показывать руками на различные экспонаты и на черновики стихотворений, которые читала[3]. Честно говоря, это были не настоящие черновики, а их копии, но специально освященные директором Пушкинского Дома. Оригиналы, понятное дело, хранятся в столице. В советское время к оригиналам, кроме пушкинистов восьмидесятого уровня вроде Жирмунского, Томашевского или самого Лотмана, мало кого подпускали. Правда, ходили слухи о том, что особо приближенным, правильным писателям, колеблющимся вместе с линией партии, а так же членам секретариата Союза писателей давали их не изучать, но просто потрогать. Дескать, помогают они при тяжелом слоге, плохих или даже глагольных рифмах и других писательских расстройствах. Говорили, что одному маститому поэту, Герою Социалистического Труда и депутату Верховного Совета, даже разрешили носить в течение суток за пазухой черновик письма Татьяны к Онегину, и он... как был Егором Исаевым или Сергеем Наровчатовым – так им и остался.

В одном из залов, посвященных пребыванию Пушкина в Малинниках, усадьбе Прасковьи Александровны Вульф, увидел я написанное красивыми буквами на большой доске, оклеенной белой бумагой, стихотворение «Цветок засохший, безуханный...».

В Малинники Пушкин приезжал много раз. В Малинниках ждала его Анна Николаевна Вульф, старшая дочь Прасковьи Александровны. Уж так ждала... Она ему писала: «Знаете ли вы, что я плачу над письмом к вам? Это компрометирует меня, я чувствую; но это сильнее меня; я не могу с собою справиться...», а он... подшучивал над ней, давал дурацкие советы. Носите, мол, Аня, платья покороче, чтобы показать ваши стройные ноги. Еще и написал мадригал про то, что и прекрасна она некстати, и умна невпопад. Еще и отослал его Вяземскому. Ему вообще нравилась ее сестра, Зизи. Та, которая предмет стихов его невинных и любви приманчивый фиал.

Почему-то Анна Николаевна[4] запомнила тот холодный и дождливый осенний день, когда Пушкин нашел в каком-то французском романе засушенный цветок. Они сидели у теплой печки, слушали, как монотонно дождь стучит по крыше, как взвизгивает в людской дворовый мальчик, которого таскает за вихор кухарка, обнаружившая, что сорванец откусил у сахарной головы оба уха, и разговаривали ни о чем. Брали какое-нибудь предложение о погоде или о столичных сплетнях, выдергивали из него слова и перебрасывались ими, как дети, когда они перебрасываются за обеденным столом шариками из хлебного мякиша.

– Qui est-ce? [5] – спросил он, показывая своим длинным холеным ногтем на цветок.

У него был забавный обычай, указывая на незнакомое растение или букашку, даже самую мелкую, спрашивать кто это, а не что. Она находила это чудачество милым. Впрочем, она находила милым каждое слово, им произнесенное. И не произнесенное тоже.

– Незабудка, – отвечала она.

– Пусть это будут анютины глазки, – засмеялся Пушкин.

И она согласилась, как соглашалась с ним всегда и даже тогда, когда...

Если честно, то я хотел сочинить романтическую историю о том, как Анна после известия о гибели Пушкина на дуэли[6] решила поставить памятник стихотворению «Цветок засохший, безуханный...»; как заказала на выпрошенные у брата Алексея деньги в старицких каменоломнях небольшой пирамидальный обелиск, на четырех сторонах которого безграмотный каменотес из местной похоронной конторы выбил четыре строфы стихотворения с ошибкой в слове... или даже в двух словах; как не вышла она замуж, как ходила к этому обелиску почти каждый день почти два десятка лет, что прожила после его смерти; как сестры ругали ее за то, что она заживо себя похоронила в Малинниках; как она умерла в пятьдесят седьмом году, а через шестьдесят лет, в семнадцатом, барский дом в Малинниках и все, что не успели вывезти в Москву его бывшие хозяева, растащили потомки их бывших крестьян; как обелиск какой-то рачительный хозяин приволок к себе на двор, стесал с одной из сторон стихи и выбил с ошибкой в слове или даже в двух имя и фамилию своей умершей от тифа жены, Лукерьи или Пелагеи; как этот памятник искали, искали, да не нашли местные краеведы; как уже в наши дни продают в музее-усадьбе круглые магнитики на холодильник с изображением анютиных глазок и надписью по краю «цветок засохший, безуханный...»; как собирают старицкие энтузиасты деньги на новый памятник пушкинскому стихотворению... потом перечитал и решил, что слишком переложил сахару в эту историю. Даже предложения слипаются между собой. Не говоря о словах. Подумал, подумал... и все зачеркнул. Вот только магнитики, наверное, зачеркнул зря. Их действительно продают в кассах музея. Круглые, с анютиными глазками и надписью по краю. Экскурсанты их покупают вместе с оберегами из трав, собранных в усадебном парке. Я не удержался и тоже купил.

Женился бы на Анне Николаевне вместо Натальи Николаевны и жил бы с ней припеваючи в Малинниках. Она никогда бы не позволила себе сказать ему даже в сердцах: «Александр, как ты мне надоел со своими стихами!» И в Петербург он ездил бы редко и только по издательским делам. И прожил бы долго, лет восемьдесят, не меньше, вместе с женой, кучей детей, внуков и Ариной Родионовной, которой было бы... столько не живут, сколько ей было бы.

Пушкин отечески пожурил бы Гоголя за «Выбранные места из переписки с друзьями», и Николай Васильевич на него ни за что бы не обиделся, как на неистового Виссариона. Подсказал бы ему, как переписать второй том «Мертвых душ», чтобы не хотелось его сжечь. Чичиков, по версии Пушкина, решительно увез бы губернаторскую дочку, потом тайно обвенчался с ней в сельской церкви, потом помирился бы с губернатором, купил бы имение на его деньги возле имения Манилова, построил бы между имениями мост с лавками, завел бы в них такую торговлю, такие ремесла, такую народность и такое самодержавие с православием, что сам государь-император уже подготовил бы указ о пожаловании Чичикова с Маниловым генералами... как вдруг открылись бы страшные злоупотребления в этих заведениях по части подпольного винокурения и беспошлинной игры в вист, фараон и стуколку на очень крупные суммы казенных денег. Нарядили бы следствие, пришлось бы откупаться от станового пристава, исправника, следователя и даже привратника в губернском следственном комитете и прокуратуре. Только прокурору ничего не досталось бы, поскольку он умер еще в конце первого тома. Чичиков наделал бы тысячных долгов, продал бы за бесценок женины бриллианты, серебряные ложки и серебряное, с позолотой, ситечко и в один прекрасный день сбежал бы в бричке на голое тело с Селифаном и Петрушкой, оставив на попечение своей супруги кучу маленьких чичонков.

Что же касается Достоевского, то его Пушкин разбранил бы в «Отечественных записках» или в «Современнике» за отвратительный слог и за то, что редкий читатель сможет дочитать до середины

речь прокурора в Братьях Карамазовых. Да и сам он, сколько ни усиливался читать эту речь, а все равно засыпал, не дойдя даже до половины. И приводил бы ему в пример Гоголя, у которого прокурор помер тихо, незаметно, не произнося никаких речей вовсе. Хотя и признался бы потом, что всплакнул над историей Илюши Снегирева и над слезинкой ребенка, о которой говорил Иван Карамазов, но в целом заключил бы Александр Сергеевич – это нудно, нравоучительно сверх меры и так длинно, что можно удавиться. Он еще приписал бы, что у автора ПГМ в самой последней стадии, но эти строчки вычеркнула бы цензура.

Вообще Пушкин не любил пишущих длинно и еще раньше, в тех же «Отечественных записках», опубликовал бы разгромную рецензию на «Войну и мир», заявив, что сам бы написал этот роман в три раза короче в четыре раза более короткими предложениями. Толстой этого «старику Белкину», как он его за глаза называл, простить бы не смог, но на дуэль бы не вызвал, а вместо этого фирменный поезд Кишинев-Москва, под который бросилась Анна Каренина, назвал бы «Алеко». Впрочем, Пушкин на него бы и не обиделся. Он очень любил бы железную дорогу и все с ней связанное, особенно вагоны-рестораны, и всегда требовал бы у официантов шампанское марки «Анна Каренина». Ездил бы каждый год с женой и внуками в Одессу, к морю, по Курской железной дороге, и каждый раз, подъезжая к тому месту, куда Толстой выходил пахать, высовывался бы в окно, и... тут Анна Николаевна хватала бы его за фалды сюртука, втаскивала обратно и тихонько говорила бы в его пахнущее паровозным дымом оглохшее ухо: «Не надо, Сашенька, ей-Богу, не надо. Перед людьми неловко. На вот, закуси лучше». И протягивала бы ему наколотый на вилку соленый рыжик или кусочек жареного битка с луком.

И, наконец, самое главное. Проживи Пушкин дольше, от него нам остались бы фотографии, а не только портрет Кипренского.

---

[1] Ну, насчет всех двадцати четырех я, конечно, погорячился, но уж за первые четыре можно ручаться.

[2] Даже собака, облаявшая великого поэта, когда он вышел из коляски размяться, и чуть не оторвавшая штрипки его панталон, лаяла не гав-гав, а вульф-вульф. Она потом описала этот случай в своих утерянных ныне мемуарах.

[3] Во время чтения она несколько раз спотыкалась об ограждения старинных диванов и кресел, говорила в сердцах «е-мое» и снова продолжала читать про чудное мгновенье или мороз и солнце день чудесный.

[4] Читая о том, как безответно любила Анна Вульф Александра Пушкина, мне хотелось, как давным-давно, в детстве, когда мы в кино смотрели про Чапаева и кричали ему: «Обернись! В тебя стреляют!», крикнуть Пушкину: «Обернись! Тебя любят!» Если бы он обернулся...

[5] Кто это? (фр.)

[6] В какой-то книжке я вычитал, что в тот год правительство запретило использовать колокольчики на своих или вольных лошадях. Колокольчики полагались только тем, кто ехал на государственных почтовых лошадях. К рассказу о Берново, Пушкине и Анне Вульф это, конечно, не относится, но почему-то запомнилось. Пушкина убили и колокольчики отменили...

### Старица

Как только я увидел в Интернете фотографию С.М. Прокудина-Горского с видом на Старицу и Старицкий Свято-Успенский монастырь, сделанную в начале прошлого века, то сразу решил туда поехать. Мне пришла в голову оригинальная мысль, приходившая в голову тысячам людей, когда-либо посещавшим Старицу после знаменитого фотографа – сфотографировать город самому и сравнить обе фотографии. Кроме того, я надеялся увидеть хранящееся в местном музее чучело птички, вылетевшей из аппарата Прокудина-Горского, и бумажку, на которой записаны каким-то старицким обывателем слова, сказанные в сердцах Сергеем Михайловичем местному сорванцу, поймавшему в силки эту самую птичку.

Во времена Прокудина-Горского Старица была обычным захолустным уездным городком. Она и сейчас такая же. И за сто лет до приезда Прокудина-Горского была. Если уж совсем начистоту, то и за двести лет тоже, а вот лет четыреста тому назад и даже пятьсот...

Старицкий краеведческий музей находится в старинном, хорошо сохранившемся купеческом особняке. В таких купеческих особняках находится добрая половина всех наших провинциальных музеев, а вторая, недобрая половина, находится в плохо сохранившихся купеческих особняках. Когда я зашел внутрь музея и увидел в нем лифт для инвалидов, то подумал... даже и не знал, что подумать. Это был первый на моей памяти провинциальный музей с лифтом. И это при том, что перед старицким краеведческим музеем я успел побывать в доброй сотне наших провинциальных музеев. И это при том, что на память я не жалуюсь.

В ответ на мои вопросы о том, как умудрились строители втиснуть довольно большой по размерам лифт в старинный особняк с его толстенными перекрытиями и крепостными стенами, и не найдено ли было каких-либо кладов при разборке части перекрытий между этажами, экскурсовод поведал мне удивительную историю здания музея. Дело в том, что раньше, при Советской власти, музей находился на территории Свято-Успенского монастыря, занимая один из его храмов. Когда пришло время передавать этот храм церковным властям... Нет, музей не выкинули на улицу. Музейным сотрудникам было предложено приискать в Старице подходящее здание. Музейные сотрудники поискали, поискали... и не нашли. Тогда музей... снова не выкинули на улицу. Вместо этого по приказу тверского губернатора выстроили буквально за год новое здание, стилизованное под купеческий особняк. Понимаю, что в это поверить трудно. Я и сам поверил только после того, как мне сказали, что в этой бочке меда все же есть ложка дегтя – лифт так и не смогли запустить. Если бы еще и лифт работал, то шаблон, который за многие годы путешествий по русской провинции у меня образовался, отвердел и покрылся корой внутри моей головы, – был бы разорван на мелкие кусочки.

Впервые Старица упоминается в Тверской летописи под 1297 годом. Основал ее племянник Александра Невского – Михаил Ярославович Тверской. Легенда гласит, что еще до упоминания ее в летописи здесь было поселение, разграбленное и сожженное татаро-монголами. Уцелела после татаро-монгольского налета лишь одна старушка. Потому-то и назвали город Старицей. Есть еще версия, связанная с тем, что городок у впадении реки Старицы в Волгу назвали по имени реки Старицы (что означает просто-напросто старое русло), впадающей на этом месте в Волгу, но это очень скучная версия – ее придерживаются только скучные ученые историки и такие же скучные краеведы, привыкшие во всем соглашаться с историками. Еще раньше, в 1110 году, два монаха из Киево-Печерского монастыря – Трифон и Никандр – пришли в эти места и поселились в урочище Сосновый бор как раз на том месте, где в шестнадцатом веке был основан монастырь. Строго говоря, и монахи, и легенда о старице, и татаро-монгольское разграбление документального подтверждения не имеют, а вот то, что в 1375 году московский князь Дмитрий Донской после победы над тверским князем Михаилом Александровичем разграбил и сжег дотла Старицу – факт несомненный и задокументированный. По всей видимости, он и с монастырем сделал то же самое, поскольку еще двести лет после московского нашествия о Свято-Успенском монастыре было ни слуху, ни духу. Кстати сказать, тогда Старица и не думала называться Старицей – Старицей была только река, а сам крошечный деревянный городок назывался и Новым городком, и Городком на Старице, и Высоким городком, и, наконец, просто Городком. Впрочем, быть просто городком на границе Тверского и Московского княжеств было ох как непросто. После смерти тверского князя Михаила Ярославича, основавшего город, Старица досталась в удел одному из его четырех сыновей, а тот в свою очередь завещал ее своему сыну Семену, а бездетному Семену ничего не оставалось делать, как завещать Городок тверскому князю Михаилу Александровичу. Круг замкнулся. Старица снова была под рукой тверского князя, который в 1366 году ее перестроил и укрепил для того, чтобы уже через год отдать московскому князю. Дмитрий Иванович сажает в Старице своего наместника и... через восемь лет снова берет приступом город, но задержаться там надолго не сможет – тверской князь делает ход конем и несколькими полками пешек, вместе с литовским князем приходит под стены Москвы...

Дмитрию Донскому пришлось сильно обгорелую и разграбленную Старицу вернуть. Пока продолжалась вся эта чехарда с переходом Городка на Старице из тверских рук в московские и обрат-

но (у монголов с татарами, которые смотрели на это все со стороны, просто глаза округлялись от удивления), крепость укрепили дополнительным валом, обнесли деревянной стеной с тринадцатью башнями и двумя воротами, выкопали ров, утыкали его дно острыми кольями и устроили потайной подземный ход длиной в пятьдесят три метра, остатки которого нашел в 1914 году старицкий археолог-любитель Федор Зубарев. В промежутках между военными пожарами Старица успевала гореть от совершенно мирных молний, свечей и просто лучин.

Мало-помалу, тверское княжество слабело и городу пришлось обороняться еще и от Литвы, которая все чаще приходила на Тверские земли для того, чтобы поживиться тем, что плохо лежит. Окончательно Старица вместе со всеми тверскими землями вошла в состав московских земель лишь к концу пятнадцатого века. Последний тверской князь Михаил Борисович по договору признавал себя «младшим братом» и «подручником» Ивана Третьего. Из столицы (теперь уже из столицы Московского государства) прислали писцов для описи тверского княжества. Старицу описывал писец Борис Кутузов. Именно по его описи город и был передан по духовной грамоте в удел младшему сыну Ивана Третьего – Андрею.

И стал Андрей княжить в Старице... Не сразу, конечно, стал. Первые сорок четыре года своей жизни он прожил в Москве. Сначала пришлось ему ждать разрешения на то, чтобы жениться. Пока его старший брат Василий Третий не поднялся на трон, пока не произвел на свет сына Ивана от Елены Глинской, жениться младшим братьям и заводить своих детей было нельзя. Наконец Василий женился на Елене Глинской, родил сына, и стало можно. Через какое-то время Василий умер, и ровно через сорок дней после его смерти Андрей попросил у Глинской расширить свои владения и, как только получил от нее решительный отказ, так мгновенно собрал вещички и ускакал в Старицу, обиженный до невозможности. Знал бы он, кого родила Елена Глинская, – еще семь раз подумал бы, прежде чем обижаться и тем более садиться на лошадь и ехать в Старицу, но он и представить себе этого не мог. Тогда таких страшных снов еще никому не показывали. Даже князьям.

С другой стороны, брату Андрея, Юрию, повезло еще меньше. Его по приказу Глинской и вовсе посадили в тюрьму, поскольку он обладал гораздо большими правами на московский трон, чем малолетний Иван Васильевич. Андрей узнал о смерти брата уже в Старице. И стал Андрей Старицкий собирать вокруг себя недовольных политикой Глинских...

Злоключения старицких князей и их родственников – это совершенно отдельная драма, точнее, трагедия, действия, сцены и акты которой разворачивались в декорациях Москвы, Казани, Костромы, Александровской Слободы, но не Старицы. Кончилось все, как и обычно кончается в таких династических междоусобицах, – все умерли, но не своею смертью. Кого отравили, кому отрубили голову, кого уморили голодом в тюрьме, а те, кому повезло, замаливали свои, а больше чужие грехи в каких-нибудь дальних и очень дальних монастырях, но и их, как княгиню Евфросинию Старицкую, ставшую монахиней Горицкого монастыря, в свой час все равно убили[1]. В 1566 году Иван Грозный, выменивает[2] у последнего старицкого князя Владимира Андреевича Старицу, Алексин и Верею на Дмитров, Боровск и Стародуб Ряполовский. После этого обмена царь Старицу и вовсе забирает в опричнину.

От старицких князей остался городу на память заново построенный Свято-Успенский монастырь на его нынешнем месте на берегу Волги и удивительной красоты образцы лицевого шитья, созданные в мастерской, которую организовала в Старице княгиня Евфросиния Старицкая – жена князя Андрея. Правда, хранятся эти плащаницы, пелены и покровы все больше в других городах – в Сергиевом Посаде, Великом Новгороде, Смоленске[3] и Санкт-Петербурге.

Осталась и еще одна история, которая хоть и не имеет прямого отношения к Евфросинии Старицкой, но... Как и всякий старинный русский город, Старица имеет свой герб, который был сочинен еще в начале восемнадцатого века герольдмейстером графом Санти и высочайше утвержден в 1780 году Екатериной Великой. Представляет он собой старуху, идущую с костылем в серебряном поле. Строго говоря, изображения человека на гербе города встречаются крайне редко в российской геральдике. Их всего три, и одно из них на гербе Старицы. В 1997 году, когда Старице исполнилось ровно семьсот лет, власти решили поставить на главной площади города памятник. Предполагалось, что памятник будет олицетворять собой старицкий герб – старушку с посохом, идущую... идущую и

все. На серебряное поле в смете денег не было. Когда при большом стечении старичан, старичанок, и старичат сдернули покрывало с памятника, то все рты пораскрывали от изумления. На старушку в рубище молодая девушка в богатой одежде, хоть и с прикрепленным к правой руке посохом, не походила никак. Уже потом выяснилось, что в смете не было денег не только на серебряное поле, но помог случай. Некоторые, правда, утверждали, что несчастный. Оказалось, что некий тверской скульптор задолго до старицкого юбилея сделал по заказу одной из братских прибалтийских республик девушку в прибалтийском же национальном костюме. В девяносто седьмом году эти республики уже были нам, мягко говоря, не только не братские, но и не сестринские. Понятное дело, что ни забирать заказанное себе, ни тем более платить за него никто не собирался. Скульптор загрустил, но тут как раз подвернулся юбилей, и вместе с юбилеем ему подвернулась заместитель главы старицкой администрации Нина Павловна Смирнова, которая очень хотела украсить Старицу памятником. И украсила. Вот уж скоро без малого двадцать лет старичане зовут этот памятник Ниной Павловной, а туристы и просто приезжие, не знающие всех этих, с позволения сказать, интимных подробностей, называют его памятником княгине Старицкой – основательнице города. Экскурсоводы с ними и не спорят. Кому охота спорить с туристами. Им все равно ничего не докажешь, а сувениров они могут и не купить.

Вернемся, однако, в Старицу времен Грозного царя. Ивану Васильевичу нравилось бывать в ней. Во время ливонской кампании он бывал здесь неоднократно. Принимал послов Речи Посполитой, беседовал с папским посланником иезуитом Поссевино, выстроил на территории Кремля величественный Борисоглебский собор, простоявший до начала девятнадцатого века, обнес крепость каменной стеной... Вот тут надо признаться, что не обнес, а скорее оштукатурил. Была такая технология у средневековых строителей крепостей – обмазывали деревянные срубы глиной, белили и... снизу, с Волги, тем, кто проплывал мимо крепости, казалось, что стены каменные. Тот самый случай, когда дешево и очень сердито. С подзорными трубами тогда дело обстояло плохо. Их во времена Ивана Грозного еще не успели изобрести.

Именно в Старице Грозный, в свободное от работы время, писал свои знаменитые письма князю Андрею Курбскому. Между прочим, в своих письмах царь неоднократно цитирует античных авторов. Что из этого следует? То и следует, утверждают старицкие краеведы-энтузиасты, что Иван Васильевич, если, конечно, не пользовался поисковыми системами, откуда-то эти цитаты брал. Значит, продолжают энтузиасты, были у царя книги, из которых он делал выписки. Ну, были, скажете вы. Ну, делал он выписки. Что это значит? То и значит, никак не уймутся краеведы, что античных авторов в те времена в старицкой городской библиотеке не было. Библиотеки тоже не было. Зато была библиотека у Ивана Грозного. Та самая, которую все ищут уже почти пятьсот лет. В которой были уникальные издания вроде прижизненного издания «Илиады» с автографом Гомера или самой полной версии «Жизни пятнадцати цезарей» (а не двенадцати, как в современных изданиях) Плутарха. И спрятал он ее... Наконец-то до вас дошло. В старицких каменоломнях. В Старице об этом вам расскажет любая собака и даже кошка. Эта же собака, одна или вместе с кошкой, за умеренную плату покажет ныне заброшенные каменоломни, где можно поискать библиотеку и найти летучих мышей, сталактиты, сталагмиты, многочисленные надписи на стенах самого различного содержания и пустые бутылки[4].

В старицких каменоломнях добывали известняк с незапамятных времен. Здесь его даже называют «старицким мрамором». Может, он, конечно, и родственник каррарского мрамора, но только дальний и, если честно, не очень богатый. Как бы там ни было, а именно известняк стал для Старицы тем продуктом, который поставляли старичане, что называется, к царскому столу. Из Старицкого известняка построена колокольня Ивана Великого в Кремле – и этого обстоятельства вполне достаточно, чтобы о старицком камне помнить всегда. Увы, забыли и забросили разработку всех старицких месторождений. Дошло до того, что известняк для реставрации белокаменных сооружений Успенского монастыря в Старице привозили из Крыма! И это при том, что крымские известняки хуже старицких и начинают разрушаться уже через четыре наших, совсем не крымских, зимы, в то время как старицкие от мороза только крепчают. Кроме известняка, в старицких каменоломнях добывали еще и опоку – мелкопористую осадочную кремнистую породу, которая использовалась при изготовлении фарфора. Опоку из Старицы везли на знаменитые фарфоровые фабрики Кузнецова, но это уже было

в девятнадцатом веке, а мы все никак не выберемся из шестнадцатого потому, что без рассказа об уроженце этих мест, старце Иове, ставшем первым Патриархом Московским, этого не сделать никак.

Иов был монахом в Свято-Успенском монастыре, когда Иван Грозный устроил в Старице «перебор людишек» по случаю опричнины. Иову к тому времени было уже сорок лет. По тем временам он был уже человеком пожилым, но, как утверждают современники, обладал феноменальной памятью и был «прекрасен в пении и во чтении, яко труба дивна всех веселя и услаждая». Знал наизусть и Евангелие, и Псалтирь, и Апостол. Грозному он приглянулся, и тот его сделал архимандритом и игуменом Свято-Успенского монастыря. Через пять лет Иов уже архимандрит московского Симонова монастыря, потом царского Новоспасского монастыря, потом архиепископ Коломенский, Ростовский, потом, после смерти Ивана Грозного, мы видим Иова в ближайшем окружении царя Бориса Годунова, потом его возводят в митрополиты Московские, потом в первые Патриархи Московские, потом... Иов отказывается признать первого Лжедмитрия царем и уезжает под конвоем в родную Старицу в одежде простого монаха. Да и как ему было признать Гришку Отрепьева царем, если тот какое-то время служил у него секретарем? Видимо, и Самозванец этого не забыл, а потому, еще до своего вступления в Москву, велел взять Иова «в приставы» и содержать «во озлоблении скорбнем». Два года прожил Иов в монастыре и умер. По нашим, никому, кроме нас, непонятным понятиям, ему повезло – он умер своей смертью, и перед ней, а не после ее, его реабилитировал царь Василий Шуйский. Иов даже посетил Москву, но на Патриарший престол отказался возвратиться. К тому времени он совсем ослеп. Над его могилой выстроили четырехъярусную колокольню с часовней, а через сорок пять лет его мощи по приказу Алексея Михайловича были перенесены в Москву и захоронены в Успенском соборе Московского Кремля.

Но до этого еще долго, а пока, в начале семнадцатого века «...приидоша ко граду тому супостатнии Литовствии вои и Русские воры, град Старицу обступиша и пожжгоша, и люди в нём мечю подклониша, и пожжгоша соборную церковь ... святых мучеников Бориса и Глеба, разориша, и в них множества людей посекоша и пожжгоша...». Старица, как и Патриарх, отказалась присягать Самозванцу, и потому ее брали штурмом.

Отстраивался город после окончания Смутного времени долго. Военное значение старицкая крепость потеряла и стала мало-помалу разрушаться. В 1637 году, в довершение всех бед послевоенного лихолетья, город сильно пострадал от пожара, которые случались в деревянных русских городках с незавидным постоянством. Через двадцать лет после пожара – новая напасть. Патриарх Никон запрещает постройку шатровых храмов. Борисоглебский собор, которому и так досталось от поляков и казаков, было приказано разрушить. Разрушили. Никона потом сослали за волюнтаризм, за перегибы на местах, а руины собора простояли до начала девятнадцатого века, пока не построили на его месте нынешний Борисоглебский собор, который хоть и не разрушили, но забросили и запустили.

Остатки крепости продержались еще дольше – последние камни и бревна горожане растаскивали на свои нужды еще в конце девятнадцатого и в начале двадцатого веков. Теперь на том месте, где стояла крепость и когда-то была резиденция старицких князей, а потом и Ивана Грозного, никто не живет. К заброшенному Борисоглебскому собору экскурсоводы иногда водят туристов. Стоит рядом с собором одинокий трехэтажный жилой дом советских времен, окруженный палисадниками и огородами. Огороды, правда, заброшенные. Удивительное дело – в последние годы развелось на этом месте огромное количество гадюк. Весной, летом и ранней осенью без высоких сапог лучше и не ходить.

От Борисоглебского собора, выстроенного в классическом стиле, открывается удивительной красоты вид на другой берег и на Свято-Успенский монастырь. Именно с этой точки и фотографировал его Прокудин-Горский. Приезжего, хоть бы он и был без фотоаппарата, непременно ведут сюда. В Старице даже образовалось добровольное общество имени знаменитого фотографа, которое раз в год, летом, в тот самый день, когда Прокудин-Горский фотографировал Старицу, устраивает выездное заседание с вином, закусками и фотокамерами... Впрочем, фотокамеры не берут, чтобы не дай Бог не разбить дорогостоящие объективы, и из автобуса не выходят, чтобы не быть покусанными гадюками. Приезжают на эти заседания фотографы-любители с докладами не только из Москвы, но даже из Санкт-Петербурга.

Чучело птички, которая вылетела из аппарата Прокудина-Горского, мне увидеть так и не удалось, поскольку его утеряли во время переезда музея из монастыря в новое собственное здание, но это не беда, поскольку в одном из номеров то ли «Старицкого краеведа», то ли московского журнала «Длиннофокусник» была статья, в которой подробно описывался род, вид и отряд, к которому эта птичка принадлежала.

Вернемся, однако, к монастырю. Теперь он полностью восстановлен, и вид на него так же хорош, как и во времена Прокудина-Горского. Начали его реставрировать в двухтысячном году и через десять лет практически закончили. Народная молва, в лице экскурсовода Старицкого краеведческого музея, повествовала мне об этом так:

– Еще до начала реставрации, в девяносто седьмом году приезжал в Старицу министр энергетики и разных промышленностей Христенко. Путин велел министрам проехаться по России и взять в опеку монастыри, храмы и привести их в порядок. Сначала Христенко хотел взять себе Нилову Пустынь на Селигере, но что-то там не сложилось, а к нам он очень удачно приехал – в свой день рождения. В этот день как раз было Успение. Он и взял себе наш Успенский монастырь. Между прочим, деньги на восстановление давал не только Христенко – многие пожертвовали. Путин намекнул им всем пожертвовать. Тут есть стена с двумя памятными досками, где перечислены фамилии меценатов. Мы ее называем стенкой Чубайса.

И правда – среди полусотни фамилий, среди которых и Потанин, и сам Христенко, есть фамилия Чубайса. Вот как удивительно устроено народное сознание – специальный благотворительный фонд для возрождения монастыря создал Христенко, десять лет был его бессменным председателем, а стенку назовут именем Чубайса. Ну, да что об этом говорить. Вспомним хотя бы Тургенева, написавшего «Муму». Кому поставили памятник? То-то и оно...

В тот весенний день, что я был в монастыре, на верхнем ярусе колокольни, сооруженной над могилой Иова, проходили занятия школы юных звонарей. Через полчаса... нет, гораздо раньше – уже через пять минут этих занятий я понял, что монахи, проживающие на территории монастыря, имеют ангельское... нет, адское терпение и стальную выдержку. Спокойнее всего к этому трезвону, напоминавшему гомон гигантской птичьей стаи, которой не дают приземлиться, относился невозмутимый бронзовый Иов, сидевший на белой каменной скамье метрах в двадцати от колокольни. Он сидел и смотрел на то, как с новой медной крыши арочной галереи, пристроенной к надвратной церкви св. Иоанна Богослова, стекала голубая зеленая талая вода и в темном, пористом льду у подножия стены образовывалась голубая зеленая лужица, похожая на пригоршню растаявшего неба или на южное, только очень холодное, море в масштабе один к миллиону.

Весь восемнадцатый век Старица прожила тихо, занимаясь хлебопашеством, выращивая на своих огородах капусту, морковку и горох, добывая белый камень, отправляя по Волге баржи с хлебом, салом, медом и кожами. Рожь, капусту, морковку и горох, кстати, выращивали стрельцы, которым при Алексее Михайловиче вместо хлебного и денежного жалованья были дадены земли под городом. Они же несли и гарнизонную службу в крепости, от которой, впрочем, осталось одно название.

Наверное, и девятнадцатый век в Старице прошел бы точно таким же образом, кабы не два Александра – Романов и Пушкин. Император проезжал через Старицу два раза – первый раз живым и здоровым по пути в Таганрог, а второй – мертвым по пути в Петербург. Первый раз встречали его у стен монастыря, под колокольный звон, депутацией в составе архимандрита Антония, купца первой гильдии Филиппова, городского головы Пирожникова и городничего Невицкого. Народу было видимо-невидимо. Еще бы – со времен Ивана Грозного, подробностей визита которого боялись вспомнить даже давно умершие старожилы, в Старицу государи не приезжали. Городничий при таком торжественном случае обязан был быть верхом на лошади, но, как писал старицкий краевед И.П. Крылов, «так как он ездить верхом не умел, то был привязан к седлу веревками». Государь принял подарки от местного духовенства, отстоял краткий молебен в Успенском соборе и на пароме, обтянутом красным кумачом, переправился на другой берег Волги, чтобы заночевать в доме купца Филиппова. Наутро он проснулся, подарил хозяйке дома и ее дочери по бриллиантовому перстню, осмотрел городские достопримечательности и укатил в Тверь. Дом купца Филиппова и теперь стоит на улице Набережной, правда, заброшенный, с заколоченными окнами и облупившейся штукатур-

кой, сквозь которую проглядывают мощные, почти крепостные кирпичные стены. Говорят, что уже приобрела этот дом какая-то фирма, чтобы устроить в нем гостиницу ничуть не хуже столичных. Бьюсь об заклад, что назовут ее «Царской» и будет в ней сдаваться за несусветные деньги императорский люкс с преогромной кроватью, на которой ночевал сам Александр Павлович. Молодоженам, само собой, предоставят большие скидки.

Что же до Александра Сергеевича, то он, проезжая через Старицу, тоже бывал в доме купца Филиппова. Правда, в другом. В том, что на улице Ленина. Ямщик чуть с ума не сошел, пока ее отыскал. Кого ни спрашивал... Разминулся Александр Сергеевич с Александром Павловичем на пять лет. Было это в 1829 году, на Крещение. Прасковья Александровна Вульф, стародавняя знакомая Пушкина, сняла этот дом на время праздников и устроила там бал. Прелестных старицких барышень слетелось на этот бал столько, что у одного корнета Ямбургского уланского полка, расквартированного в Старице, потемнело в глазах от одного вида открытых точеных, округлых, наливных, атласных, хрупких, роскошных, алебастровых и беломраморных плеч. Между прочим, одна из барышень, Катенька Смирнова, писала, что «Пушкин был очень красив, рот у него был очень прелестный, с тонко и красиво очерченными губами, и чудные голубые глаза...». Пушкин, впрочем, на эту Катеньку внимания не обратил, но другой Катеньке, Вельяшевой, посвятил стихотворение «Подъезжая под Ижоры...», а про Машеньку Борисову и вовсе писал своему старицкому знакомому Алексею Вульфу «...Марья Васильевна Борисова есть цветок в пустыне, соловей в дичи лесной, перла в море и что я намерен на днях в нее влюбиться...», написал ей в альбом четверостишие про «минуты сладостных свиданий и прелесть девственных ланит» и даже сделал ее прототипом Маши Мироновой в «Капитанской дочке».

Иной город войдет в историю какой-нибудь беспримерной осадой, или величественными зданиями, построенными выдающимися архитекторами, или картинными галереями, или полководцами, родившимися в нем, или государственными деятелями, а вот маленькой Старице достаточно было произвести на свет десяток-другой красивых девушек да оказаться с ними в нужное время в нужном месте на пути Александра Сергеевича...

По отзывам современников, Пушкин как-то особенно легко танцевал – буквально летал над паркетом. Быть может, поэтому краеведы до сих пор никак не сыскали его следов на паркете филипповского дома, хотя и много раз рассматривали каждую дощечку под лупой. Есть даже и такие среди них (среди краеведов, а не среди дощечек), которые утверждают, что дом купца Филиппова был построен позже описываемых событий, но это уж совершенные кощунники, которым оскорбить чувства верующих ничего не стоит. Взять, к примеру, здание в виде полуротонды на пересечении Аптекарского переулка и улицы Ленина. Теперь здесь пиццерия и пахнет какой-то прогорклой пластмассой, а до семнадцатого года здесь торговали прохладительными напитками, а еще раньше горячительными, и сам Пушкин покупал здесь шампанское перед тем, как поехать в село Берново к Вульфам в гости. Так, по крайней мере, гласит легенда. В действительности все могло быть, конечно, не так, и в эту полуротонду в тот день могли не завезти шампанского, или завезли только игристое «Цимлянское», а Пушкин, кроме «Вдовы Клико», ничего в рот не брал, или завезли французское, но очередь была отсюда и до монастыря, или какой-то ротмистр взял две бутылки, а был договор, что в одни руки по бутылке и не больше, и Пушкин его тотчас вызвал на дуэль, а Вульф вступился, и такое началось... Нам теперь это все без разницы. Все, что нам нужно – это памятная доска, на которой будет гравирован Пушкин с бокалом шампанского в руке и та строчка из «Онегина», где «Вдовы Клико или Моэта благословенное вино...».

Пусть бросит в меня камнем тот турист, который откажется сфотографироваться рядом с этой доской, держа в руках бутылку шампанского или, на худой конец, водки.

Впрочем, я увлекся. После того как оба Александра уехали из Старицы навсегда, в ней ничего особенного и не происходило почти до самого двадцатого века. Из неособенного расцвело кузнечное дело, да так, что старицкие серпы славились на всю Россию. Ковало эти серпы семейство Чернятиных. Может, слово они какое знали потаенное, может, умели по-особенному зазубривать серпы, может, состав стали у них был специальный – теперь уж не узнать, но чернятинские серпы не тупились годами. Вот как японские или немецкие ножи, которые мы теперь покупаем задорого. И ведь что удивительно – железо у них было местное, кричное, из болотной руды, и у японцев с немцами они

не обучались, и руки... Скорее всего, руки. В те времена у мужчин довольно часто руки росли не из... а откуда надо им расти. В середине девятнадцатого века в Старице было полторы сотни кузнецов, не считая подмастерьев. Некоторые из них, еще с середины восемнадцатого века, размещали свои кузницы у подножия холма, на котором стояла когда-то крепость. Кузницы эти были сложены из белого местного камня. Впрочем, почему были? Они и сейчас есть. Их показывают туристам. Вот только они давно заброшены, обветшали, с ржавыми воротами, и в них уже никто ничего не кует, а как ковали... Ежегодно в Старице делалось двадцать пять тысяч одних серпов! Кроме серпов делали затейливые решетки на окна, скамейки с кружевными спинками, козырьки для крылечек, ажурные спинки кроватей и князьки на крыши. И не было сносу старицким крылечкам, кроватям и скамейкам. Это было очень красиво – белые кузницы, в них черные, как антрацит, кузнецы с черными бородами, большими черными руками и белый огонь, неистово гудящий в горнах.

Железная дорога из Ржева в Лихославль, которую построили в 1874 году, прошла мимо Старицы. Не то чтобы очень мимо, но от станции «Старица» до города Старица целых десять километров. Потом, конечно, на средства одного из старицких купцов, проложили и замостили дорогу от станции, и даже в 1913 году открыли автомобильное пассажирское сообщение по ней, но десять километров как были десятью – так ими остались. И стала Старица жить обычной жизнью уездного города. Не спать, нет, но дремать часок-другой после обеда. Открывались в ней гимназии, врачебные и фельдшерские пункты, училища и даже метеостанция. Вот о ней-то, вернее, о старицком мещанине и потомственном почетном гражданине Иване Петровиче Крылове, устроившем ее в собственном доме, стоит рассказать подробнее.

Иван Петрович был очень деятельным человеком. Кажется, не было на свете той отрасли знаний, которой бы он не интересовался. В списке медалей, которыми он был награжден, есть бронзовая медаль за хмелеводство от Императорского экономического общества, бронзовая и серебряная медали за огородничество от Императорского Российского общества садоводов, серебряная за «Отличные метеорологические наблюдения», еще одна серебряная медаль «За научные труды по метеорологии», золотая медаль с надписью «За усердие» для ношения на Анненской ленте. Ее Крылов получил за активное участие в археологических раскопках по представлению председателя Тверской ученой архивной комиссии. Иван Петрович и сам был ее членом, несмотря на то, что не имел, в сущности, никакого образования. Он завел у себя в доме типографию (первую в городе), в которой печатал бюллетени наблюдений своей же метеорологической станции, написал несколько книг и брошюр по истории Старицы, ее археологических памятниках и издал их за свой счет. Крылов был, по утверждению современного старицкого краеведа Александра Шиткова, написавшего о нем книгу, пионером старицкой археологии. Он раскопал и описал восемь курганов в Старицком уезде и был одним из тех, кто не просто участвовал, но и финансировал раскопки на старицком городище. Довольно сложные были раскопки. Как писал сам Крылов, «На первой стадии работы велись любителями, вначале очень интересовавшимися раскопками, но вскоре же охладевшими к этому делу, так что дальнейшую работу пришлось производить исключительно наемными рабочими, а потом, с наступлением полевых работ, арестантами Старицкой тюрьмы». Энергии Крылова хватило и на то, чтобы в 1911 году начать издавать вместе с молодым старицким историком Вершинским первый в Старице краеведческий журнал «Тверская старина». Когда в апреле девятнадцатого года заведующий музейным подотделом при старицкой Уездной Исполнительной Комиссии барон Евгений Клодт (внук знаменитого скульптора) создавал старицкий городской краеведческий музей, то основой его стала частная коллекция, принадлежащая Ивану Петровичу Крылову, к тому времени уже год как умершему от сыпного тифа. Крылов собирался издавать в Старице и научно-технический журнал под названием...

Вот вы сейчас дочитали до этого места, зевнули и подумали, что не стоило мне, наверное, так подробно перечислять заслуги Крылова. К чему все эти скучные подробности со списком медалей за хмелеводство, огородничество и метеорологию... Наверное, и не стоило бы, кабы не было у этих медалей, а вернее, у самого Ивана Петровича, обратной стороны. До сих пор речь шла, если так можно выразиться о докторе Джекиле, а теперь пойдет о мистере Хайде.

Дело в том, что потомственный почетный гражданин города Старицы Иван Петрович Крылов

был активным черносотенцем, инициатором открытия городского отдела «Союза Русского Народа», его бессменным казначеем, издателем черносотенной газеты «Тверское жало», националистом и махровым антисемитом. Вот что он писал о задачах «Тверского жала»: «... жалить правых, левых, средних и, главным образом, жидов, их прихвостней, кадюков, трехличных октябрей, социалистов, анархистов, бомбистов и т.п.». На страницах «Тверского жала» клеймили позором Бальмонта, Брюсова, Горького и Толстого. Особенно Толстого не любил Крылов и называл его... да как только не называл. Обвинял его в том, что он «своими мелкими книжонками развратил семью, пустил корни великого зла всех переживаемых нами ужасов». Больше Толстого Иван Петрович ненавидел только евреев. В 1907 году его поймали за разбрасыванием листовок со стихами, по-видимому, собственного сочинения: «...Когда царством своим, кровью сплошь залитым, овладеет злодей тайный враг – иудей!» Надо сказать, что за все эти художества, за ряд публикаций в «Тверском жале» и в другой его газете «Тверское Поволжье» царские власти неоднократно штрафовали Крылова. За статью о Столыпине Крылова приговорили к штрафу в сто рублей, и в двенадцатом году за «успехи» в его издательской деятельности он был «награжден» двухнедельным тюремным заключением. Старичане, опасаясь погромов, просили запретить власти шествие общества хоругвеносцев, которое создал в Старице неугомонный Крылов. В своем прошении, поданном на имя городского головы, они писали: «Принимая во внимание, что все подобного рода манифестации, устраиваемые всюду «истинно-русскими людьми», оканчиваются погромом или скандалом, мы, нижеподписавшиеся граждане и обыватели города Старицы, в видах общественного спокойствия решились обратиться с просьбой к Вам, милостивейший государь, чтобы Вы вошли с ходатайством к административной власти о не разрешении «союзникам» намеченной манифестации в какой бы то ни было форме, а тем более в день святой Пасхи...»[5]. Вся бурная и кипучая деятельность Ивана Петровича оборвалась мгновенно в восемнадцатом году. Большевикам было недосуг увещевать Ивана Петровича и брать с него штрафы – они взяли и посадили его в тюрьму в качестве заложника и, скорее всего, расстреляли бы как монархиста и черносотенца, если бы Крылов не заразился в тюрьме сыпняком. Умирать его отпустили домой. Через какое-то время конфисковали и типографию, и оборудование для метеорологических наблюдений. Жена Крылова и его дети (тоже, кстати, черносотенцы) уехали из города, и с тех пор в Старице о них не слышал никто.

Нельзя сказать, чтобы Крылова в Старице позабыли напрочь. В 1997 году на доме Крылова, где до сих пор находится городская типография, стараниями ее тогдашнего директора появилась мемориальная табличка «С 1899 года типографией заведовал почетный гражданин города Старицы Иван Петрович Крылов». Недолго она провисела. Кто-то ее сорвал. Говорят, что теперь снова повесили. Да и в музее экскурсовод, показывая мне фотографию с домом Крылова, сказал несколько слов о его метеостанции. Буквально два или три. И все. И больше ничего[6].

Наверное, из обстоятельств жизни Ивана Петровича получился бы увлекательный роман или театральная трагедия, но нам надо двигаться дальше – в те времена, когда вместо «Тверского жала» в Старице стал печататься «Вестник Исполнительного Комитета Старицкого Совета Солдатских, Рабочих и Крестьянских Депутатов». На том же оборудовании и из тех же букв, только сложенных в другом порядке.

В первые годы новая власть была занята подавлением крестьянских волнений в уезде. В те времена Старицкий уезд был одним из самых густонаселенных в Тверской губернии – в нем проживало сто срок тысяч человек против нынешних двадцати девяти, из которых девять приходится на саму Старицу. Отличились старицкие власти в восемнадцатом году, когда местный исполком в ответ на подписание Москвой Брестского мира, в полном соответствии с бессмысленной и беспощадной революционной пролетарской логикой, потребовал от ВЦИКа... разрешить провести в уезде «Варфоломеевскую ночь против местной буржуазии». Телеграмму с этим требованием старицкие якобинцы направили в столицу, а копии (от большого ума) распространили по уезду. Поднялась паника и не только она. Жители нескольких волостей числом до пятнадцати тысяч потребовали от Старицкого исполкома объяснений. Жители нескольких волостей числом до пятнадцати тысяч пообещали Старицкому исполкому Варфоломеевскую ночь, и старицкий исполком понял, что они не шутят. Пришлось Старицкому исполкому отозвать и свою телеграмму ВЦИКу и ее копии. Хорошо, что не съесть.

Кроме подавления крестьянских выступлений, закрывали монастырь, разрушали храмы, ликвидировали безграмотность, добывали камень, построили мост через Волгу, швейную фабрику, льнообрабатывающий, механический и овощесушильный заводы. Впрочем, мост фабрику и заводы построили много позже – ближе к концу советской власти. На швейной фабрике шили на всю страну школьную форму. Была и у меня такая форма. Мне она не нравилась. Все время рвалась и пачкалась. Особенно чернилами, которые невозможно было отмыть. Особенно фиолетовыми.

Овощесушильный завод, как рассказывал мне экскурсовод, выпускал такую вкусную гречневую кашу с мясом... Он умер, кажется, еще раньше швейной фабрики.

В конце прошлого века, когда старое уже умерло или дышало на ладан, а новое все никак не рождалось, в американском Стэнфорде была зарегистрирована ассоциация под названием «Старица Ренессанс Корпорейшн». Некто Джим Гаршман, глава этой ассоциации, планировал превратить Старицу в продуктовую столицу... Ну почему сразу Нью-Васюки? Вы не смейтесь – вы дослушайте до конца ~~и заплачете~~. План был отличный – завести в район семьдесят пять тысяч американских коров и получать от каждой по восемь тысяч литров настоящего американского молока. Тверь и Москва должны были захлебнуться в этом молоке, увязнуть в старицкой сметане и кататься как сыр в старицком масле. И это не все. Планировали построить четыре сотни птицеферм и получать от них по двести тысяч яиц ежедневно, и этими яйцами... Старицкие власти уже умножали тысячи литров молока на сотни тысяч яиц, полученные миллионы долларов прибыли возводили в степень и плыли с этими деньгами по молочной реке с яичными берегами в Москву, которая уже собирала вещички и готовилась к переезду в Ста... Ну, это я, конечно, приврал. Переезд не планировался. Хотели только переименовать Старицу в Нью-Старицу, а Москву... Шутки-шутками, а в 1992 году в «Российской газете» корреспондент писал «Уже поднимаются стены кирпичного и черепичного заводов, завезенных в эту глубинку из-за океана, закладываются фундаменты под жилые дома, производственные помещения и фермы...», а в это же самое время на месте поднимающихся стен кирпичного и черепичного заводов рос бурьян и бродили самые обычные старицкие куры, бегали блохастые бездомные собаки и мычали коровы.

Что-то там не срослось в коридорах власти. То есть все уже было на мази, и американские коровы с курами уже получили визы, но...

Не успел еще развеяться сладкий и приятный дым от «Старица Ренессанс Корпорейшн», как в город пожаловали свои собственные советчики из Московской Академии городской среды. У этих денег, понятное дело, не было, но они могли дать бесплатные советы, среди которых был совет возобновить добычу известняка, возродить кузнечное дело и в школах вместо уроков труда обучать детей резьбе по дереву. Таким образом можно восстановить деревянные узоры на старицких домах, а узоры, в свою очередь... Честно говоря, теперь уже никто и не помнит, каким образом уроки резьбы по дереву должны были привести к процветанию Старицы. Может быть, потому, что никто и не слушал этих рекомендаций...

Пришлось выживать самим. Восстанавливать монастырь, развивать туризм, делать насосы «Ручеек» на механическом заводе, «плести какие-то электрические провода», как сказал мне экскурсовод, которого я долго расспрашивал, чем же живет нынешняя Старица. Механический завод на самом деле авиационный. На нем делают устройства, управляющие выпуском и убиранием шасси, гидрав... Ну, не буду уточнять, а то еще вдруг выяснится, что местные жители мне ненароком рассказали военную тайну. Зарплаты хорошие – обычный слесарь, а не токарь-виртуоз и не расточник, получает в месяц тридцать тысяч. Для Старицы это не так уж и мало. Преподавателю в местном педучилище больше десятки заработать трудно. Но есть еще и огород, и рыбалка. В Москву за счастьем ехать нужды нет. В Старице оно свое, пахнущее свежим волжским ветром, только что пойманными лещами и ершами, яблоками из своего сада, звенящее колокольным звоном Свято-Успенского монастыря... Нет, так слишком красиво и даже сусально получается. Наверное, надо написать по-другому – что-то вроде они не собираются сдаваться, они решили, как говорил Карнеги, которого они вряд ли читали, перестать беспокоиться и начать жить. Впрочем, они, скорее всего, всегда так и жили.

[1] Мужа Евфросиньи Старицкой, Андрея, еще Елена Глинская уморила голодом в тюрьме, а сына, Владимира Андреевича, вместе с женой и двумя детьми отравили по приказу сына Глинской, Ивана Васи-

льевича. И это несмотря на то, что Владимир Андреевич был видным военачальником того времени и отличился при взятии Казани и вообще был лоялен своему сюзерену даже наедине с самим собой.

[2] Была такая страсть у московских великих князей – меняться со своими младшими братьями и другими родственниками землями, селами и городами. Тем, понятное дело, деваться было некуда. Попробуй, откажись. Хорошо еще, если после обмена получишь такой же городок и с такой же крепостью, но без зубцов на стенах, или без сполошного колокола на башне, или без воды во рву, а с болотом и квакающими лягушками. Бывало, что и вместо реки окажется ручей, в лесу вместо лосей и вепрей одни зайцы с мышами и в деревнях все мужики бражники, а бабы старые, страшные и нарожали одних девчонок.

[3] Судьба плащаницы «Оплакивание Христа», подаренной Евфросинией Старицкой и ее сыном князем Владимиром Андреевичем Старицким Московскому Успенскому собору в 1651 году была непростой. В 1812 году ее увезли с собой в обозе французы, но успели довезти только до Смоленской губернии, где обоз был у неприятеля отбит, а плащаницу передали в Смоленский Успенский собор.

[4] В каменоломни или пещеры, конечно, самому, на свой страх и риск лучше не ходить. Говорят, что тянутся они на многие десятки километров в разные стороны от Старицы и заблудиться в них ничего не стоит. Не заблудиться с проводником стоит полторы тысячи рублей. Еще и выдадут вам фонарик и одежду, в которой не жалко ползать по узким лазам между каменными мешками. Многие пещеры имеют свои собственные названия, например, Дохлобарсучья или Капкан. Не сказать, чтобы красиво, но... если в пещере сдох барсук, то как прикажете ее называть? Наша группа полезла в пещеру без названия, вход в которую был узок и даже очень – пришлось ползти по нему ползком. Впрочем, недолго – всего метра два или три, которые показались мне стометровкой. Зато, как объяснил нам проводник, чем уже вход в пещеру – тем она чище. Он знал, что говорил.

Проводником у нас был бывший десантник и бывший милиционер, а ныне преподаватель физкультуры местного педагогического колледжа Андрей Морозов. Его в Старице (и за ее пределами) знают все, кто хоть раз бывал в местных каменоломнях. Андрей водит туристов по пещерам около двух десятков лет и знает в них каждый камень и каждую летучую мышь по имени. Он показал мне большого слизняка, сидевшего на потолке прохода, по которому мы пробирались на четвереньках, и сказал «У него еще есть брат, но он сегодня не пришел», и тут я подумал... Ну, неважно, что я подумал. В самом дальнем углу пещеры мы обнаружили надпись, которая гласила о том, что некий «доктор Вадсон ночевал в пещере в полном одиночестве», а рядом другую, из которой было ясно, что всего лишь ночью позже здесь ночевали «Роман и две Ани». Кто их знает, почему они разминулись – то ли Роман обидел Вадсона, то ли Аням он не понравился еще в электричке Москва – Тверь, когда выпил почти целую бутылку чилийского красного сухого вина, предназначенного для глинтвейна, то ли... Короче говоря, они ночевали раздельно. Не в тесноте, но в обиде, и одна из Ань думала, что, может быть, зря она так...

Андрей рассказал нам еще множество историй из жизни любителей приключений на свою... и на чужую тоже, из которых я запомнил только две. Первая о юноше и девушке, заблудившихся в одной из пещер, где они устроили романтический вечер при свече, которая сгорела раньше времени. Их искали почти двое суток, и они не отзывались на крик «Люди, ау!», а отозвались только на «Москвичи!». Вторая история о том, как местные милиционеры в пещере обмывали майорские звезды одного капитана. Был стол, который с трудом протащили через узкий вход, было шампанское, и был белый танец при фонариках. Чем хороша пещера для подобных мероприятий – в нее не надо приносить интим, поскольку он здесь уже разлит повсюду.

Вообще с каменоломнями связано множество местных легенд, начиная с легенды о том, что призрак той самой старушки, что изображена на гербе Старицы, до сих пор бродит по пещерам и помогает заблудившимся найти выход. Судя по тому, что в старицких каменоломнях пропал не один десяток людей, помогает она далеко не каждому. Утверждают также, что по просьбе гербовой старушки, страдавшей от жажды, Господь открыл в пещере ключ, и бил этот ключ с потолка, но не все время, а лишь во времена тяжких испытаний. Последний раз ключ забил весной сорок первого года. Ключа я не видел и следов от него тоже, зато видел корни деревьев, пробивающиеся сквозь многометровую толщу известняка к подземным источникам воды. Только ради того, чтобы увидеть корни деревьев над собой, стоит забраться в старицкие каменоломни.

[5] Правду говоря, это примечание напрямую к тексту не относится и представляет собой что-то вроде бокового ответвления к нему, но... я просто не смог пройти мимо старой афиши, которую увидел в краеведческом музее. Кстати, отпечатана она в типографии И.П. Крылова. Итак – место действия – Старица, летний городской театр. Построен по проекту одного из офицеров 5-го Запасного Саперного батальона,

расквартированного в городе. Время действия – 1917 год, вторник, 1 мая. Программа народного гуляния. В первом действии оркестр 5-ого Запасного Саперного батальона исполнит гимн Свободной России и другие произведения. Вслед за оркестром на сцену выходят Золотниченко, Дмитриев и Петров и представляют драматический этюд в одном действии под названием «Германский шпион». Соч. Трофимова. Финальная сцена – тщедушный, небольшого роста Петров с наклеенными «германскими» усиками и моноклем уходит, арестованный дюжим Золотниченко и бравым Дмитриевым. Мальчишки, сидящие на деревьях, бешено свистят и улюлюкают, все рукоплещут. Далее антракт, и офицеры ведут дам в буфет выпить шампанского или сельтерской воды с малиновым сиропом. Публика попроще лузгает семечки прямо на местах. Кое-кто уже успел выпить водки и теперь громко ругает правительство. Антракт заканчивается, и начинается второе действие. Хор певчих под управлением Широгорова исполняет гимн Свободной России на музыку Гречанинова, потом «Марсельезу» и «Смело товарищи». После «Смело товарищи» на эстраду выходит скрипка в сопровождении гитары. Как только они уходят, исполнив что-то испанское, появляются два гармониста. Снова антракт. Дамы уже не идут в буфет, но сидят и отмахиваются веерами и офицерами от комаров. Свежеет. Офицеры укутывают их шалями. В задних рядах шум и небольшая потасовка. Кое-кого уводят с подбитым глазом. Третье отделение снова открывает хор певчих под управлением Широгорова. Публика начинает зевать, и тут появляется Дмитриев из первого отделения со свежими анекдотами о Милюкове и германском кайзере Вильгельме. Хохот стоит невообразимый. Дмитриева не хотят отпускать, но он все же уходит, непрерывно кланяясь и прижимая руки к груди. Выходит Артемов с куплетами, пародиями и рассказами на злобу дня. Не успел уйти Артемов, как на сцену выбегают два танцора – Назаров и Иванов. Уставшая публика их освистывает. Всем не терпится увидеть обещанный фейерверк. Раздаются его первые разноцветные залпы и все вскакивают со своих мест.

[6] Подробности удивительной жизни Ивана Петровича Крылова я нашел в книге «Заложник эпохи» Александра Владимировича Шиткова, изданной в 2010 году. Автор книги и сам известный всей Старице краевед, автор целого ряда трудов по истории Старицы, член союза писателей РФ, почетный гражданин и лауреат множества местночтимых премий. Может быть, я и прошел бы мимо этой книги, но в авторском предисловии прочел о том, что «В сознании нескольких поколений людей коммунистическая идеология сложила о партии «Союза русского народа» и ее членах стереотип черносотенца – законченного невежды, пропитого субъекта с дубиной. Даже ярлык красивый к ним придумали – "еврейский погром"», то понял, что чтение скучным не будет. Так оно и оказалось. Иной раз трудно и понять – чему посвящена книга – то ли краеведческой деятельности Крылова, то ли апологии его черносотенных взглядов. Что прикажете думать после прочтения такого пассажа «"Россия для русских!" – эту истину из сердца Крылова не могли уже выбить никакие штрафы...»? Вот и я подумал... Тяжело, поди, жилось Александру Владимировичу с такими-то взглядами при коммунистах. Небось, и доставалось ему от них по первое число. Оказалось, что нет, не доставалось. В молодости Шитков успешно продвигался по комсомольской линии. Был инструктором Старицкого РК ВЛКСМ. Кабы не перестройка... К чему я это все... Без малого сто лет прошло со дня смерти первого старицкого издателя, метеоролога и краеведа Ивана Петровича Крылова... Или не прошло?

**Зубцов**

Когда пишешь о наших провинциальных городках... Когда начинаешь рассказывать о каком-нибудь маленьком городке, у которого все было... Когда приезжаешь в город, у которого ничего не было... или было... или будет... Короче говоря, когда не знаешь, с чего начать – хорошо найти какой-нибудь эпиграф, встать на него, как встает ребенок на табуретку, когда ему родители велят рассказать гостям стихотворение, набрать в грудь побольше воздуха, и... Поискал я, поискал и нашел о Зубцове эпиграф из драматурга Островского, который проезжал через город в середине позапрошлого века: «Походил по этому печальному городу. Пыльно и грязь. Волга здесь под прямым углом поворачивает налево, на Вазузе запущенные пристани»... Нет, так еще хуже. Это получается не табуретка, а яма. В ней можно задохнуться. Хорошо Москве, или Петербургу, или Твери – их из космоса видно, а Зубцов... Если подлетать к Москве с запада на самолете, то минут за десять или пятнадцать до посадки в Шереметьево промелькнет огонек... И то, если будете сидеть в левом ряду, а если справа...

Как ни крути, а в Зубцов лучше въезжать на машине по Новорижскому шоссе[I] или даже, чтобы

соответствовать масштабу города с населением шесть с половиной тысяч жителей, входить пешком, как это делали в те времена, когда маленький городок в месте слияния Волги и Вазузы был столицей. Тогда городов было мало, и почти каждый был чьей-нибудь столицей. Вот и Зубцову пришлось быть столицей маленького, но гордого удельного княжества. К тому времени, как стал он в начале пятнадцатого века столицей, было ему отроду уже две сотни лет.

Кто основал Зубцов, до сих пор точно не установлено. Одни утверждают, что это сделал Всеволод Большое Гнездо, а другие говорят, что Гнездо было не таким уж и большим. Третьи же считают, что поселились в этих местах три брата-новгородца – Зубец, Обряк и Ветран. Так вот Якун-Зубец и основал город. Есть еще и четвертые. У них совсем простая версия – треугольный мыс при слиянии Волги и Вазузы напоминает зубец. Скорее всего, так оно и было, но кому такая скучная правда нужна...

Пока Зубцов был молодым и нестоличным городом с тыном из заостренных бревен, он входил в состав Тверского княжества и его поочередно воевали то новгородцы, то Литва, то татары, то снова новгородцы, то опять Литва, то молодая, с длинными и загребущими руками Москва. Собственно говоря, и в летописях Зубцов появился, как появлялось большинство русских городов, – по случаю разорения его дружиной торопецкого и новгородского князя Мстислава Удалого в 1216 году. У новгородцев имелся большой зуб на Владимиро-Суздальского князя Ярослава Всеволодовича, который хотел поприжать новгородцев, которые, видя такое хотение Ярослава, пригласили княжить к себе Мстислава Удалого, который взял, да и разорил Зубцов, чтобы Ярослав понял, что с новгородцами лучше не связываться. Потом город по мирному соглашению вернули Ярославу. После Удалого, уже без всяких соглашений, в 1237 году пришли татары, и все, включая и новгородцев, и Владимиро-Суздальского князя Ярослава, и других князей, не говоря о несчастных жителях Зубцова, дома которых снова разграбили и сожгли, поняли, что с татарами лучше не связываться. Через восемь лет после татар пришли литовцы. Их дружину разбил Тверской князь Ярослав, но уже после того, как они взяли и разграбили многострадальный Зубцов, который к тому времени был уже довольно сильно укреплен. Был насыпан земляной вал, который обнесли деревянным срубом со сторожевыми башнями и бойницами. Эту крепость никто взять не успел – ее смыло волжским паводком.

В четырнадцатом веке рука Москвы стала дотягиваться до Твери и окрестностей. В 1370 году москвичи под водительством князя Дмитрия Донского осадили Зубцов. Шесть дней зубчане лили кипящую смолу и воду на головы москвичей. Шесть дней кричали им со стен «Чемодан, вокзал, Москва!», но город был взят штурмом и сожжен дотла. Те, кто остались в живых, попросту разбежались, как разбежались мышка, лягушка, зайчик и лисичка после того, как на их теремок сел медведь. Потом война кончилась, и Дмитрий Иванович вернул то, что осталось от Зубцова, после того как он на него сел, Твери. Тут и зубчане вернулись и стали строить новый теремок.

Все это время Зубцов был городом, как мы бы теперь сказали, федерального подчинения, если понимать под федеральным центром Тверь. Тверские князья не очень-то и хотели отдавать его в удел своим наследникам. Уж очень важное и выгодное место занимал Зубцов. В Зубцове была пристань и таможня, через которую шли товары, привозимые по Вазузе и верховьям Волги из Польши, Литвы, Новгорода и Смоленска. Количество наследников, однако, росло, и жить с родителями в Твери они не хотели. В 1425 году тверской князь Борис Александрович отдал Зубцов племяннику Ивану Юрьевичу. Последний, в бытность свою князем, ничем себя не проявил. Даже потомства не оставил, но именно при нем, с двадцать пятого по пятьдесят третий год пятнадцатого века, Зубцов и был столицей княжества. Небольшого, но княжества. Со смертью Ивана Юрьевича Зубцов снова перешел в непосредственное подчинение к Твери.

Справедливости ради надо сказать, что были княжества и поменьше Зубцовского. На территории Зубцовского района квартировали, а точнее, снимали углы, Фоминское и Холмское княжества, которые, конечно, были больше дачных участков, но ненамного. Продержись Тверь независимой еще лет сто – и удельные тверские княжества стали бы умещаться на шести сотках, но Москва этого сделать Твери не позволила, и в 1486 году присоединила Тверь со всеми ее землями к себе. Оно и к лучшему, иначе все эти мелкие и очень мелкие тверские князьки перегрызлись бы окончательно. На сто с лишним лет, до самого Смутного времени, Зубцов был избавлен от войн. Не то чтобы он бурно расцвел, но все же смог накопить столько добра, чтобы восставшим крестьянам Ивана Болотнико-

ва[2], а за ними подельникам Тушинского вора, а за тушинцами полякам под началом пана Лисовского было чем поживиться. И так они поживились, что город и уезд вымерли. Посад Новое Городище, расположенный в двух десятках верст от Зубцова, разоряли и сжигали столько раз, что стал он с тех самых пор называться Погорелым Городищем[3]. Если до прихода поляков в посаде Зубцова насчитывалось несколько сотен дворов, то после их вынужденного ухода всего шестнадцать. И это при том, что зубчане целовали крест Болотникову, который по документам проходил как царевич Дмитрий Иванович, целовали крест второму Самозванцу, который по другим документам был видом сбоку такого же Дмитрия Ивановича. За присягу первому Дмитрию Ивановичу царь Василий Шуйский велел «Всяких людей воевать и в полон имать и живот их грабить, за их измену, за воровство, что они воровали против Московского государства и царя Василия людей побивали». За присягу второму Дмитрию Ивановичу зубчан грабили и тушинцы, которым они присягали, и поляки, и литовцы, и все, кто занимался разбоем на большой дороге.

Кстати, о большой дороге. Как раз на ней, по пути из Москвы по направлению к тогдашней литовской границе, которая в те времена проходила близко от Зубцова, стояла, да и сейчас стоит, деревня Корчмитово. От нее до Зубцова рукой подать. Зубцовский краевед С.Е. Кутейников выяснил, что это та самая деревня, в которой стояла та самая корчма, которая описана в «Борисе Годунове» под видом корчмы на литовской границе. То есть там, конечно, бабушка надвое или даже натрое сказала, но попробуем пойти вслед за С.Е. Кутейниковым... В 1826 году в этих местах был проездом Пушкин[4] и, если сравнить приметы местности, указанные Александром Сергеевичем в пьесе, с приметами местности вокруг Корчмитово, то окажется, что чернец Григорий бежал по дороге к Луёвым горам на литовской границе аккурат из этой самой деревни. Есть и ручей, и болото найдется, и часовня когда-то была. Нет только Луёвых гор. Вообще гор нет никаких. Есть холмики наперсточной высоты под названием «Кошкины горки», есть «Игуменная гора», есть речка Горянка, а Луёвых гор нет. Краевед С.Е. Кутейников выдвинул гипотезу, в которой... Впрочем, тут будет лучше смотреться цитата из его книги «Неизвестные знаменитости»: «Название “Луёвые” среди этих “гор” не встречается. Этого слова нет ни в словаре Даля, ни в словаре Ожегова. Загадочное получается слово. Оно понимается, если первую букву “Л” заменить на другую. Тогда “Луёвые” не просто название гор, а, скорее, их характеристика, в которой сказывается отношение поэта к тому, что в данной местности называется горами». Вот ~~какие большие огурцы продаются теперь в магазинах~~ какие гипотезы случается выдвигать краеведам.

Логично было бы предположить, что местные власти устроили в деревне Корчмитово самую настоящую корчму для привлечения туристов, развешали по стенам текст пушкинской трагедии, портреты действующих лиц в деревянных рамках и продают там распивочно и на вынос горькую настойку «Самозванец», или сладкую наливку «Марина Мнишек», или... Впрочем, это только предположить логично, а построить и продавать...

Надо сказать, что Пушкин приезжал в эти места не столько с целью проработать маршрут бегства Гришки Отрепьева, сколько ознакомиться с хранящейся в Богоявленском храме Погорелого Городища жалованной грамотой царя Михаила Федоровича, в которой упоминается его предок Гаврила Пушкин. В 1617 году послал его царь в Погорелое Городище разломать и сжечь тамошний острог, чтобы он не достался подходящим к нему полякам. Малочисленный гарнизон вряд ли смог бы выдержать осаду. Гаврила Григорьевич приехал, острог разломал и сжег. Заодно сжег и посад. То есть, он посад жечь не хотел, но так получилось. Крестьяне, конечно, разбежались, но теплые вещи, соль, спички, соленые в огурцы в кадках и столовое дерево вынести не успели, поскольку Пушкин им на сборы не дал и часа. Об этом они написали в челобитной царю, и тот разрешил им по бедности не платить податей пять лет.

Зубцову таких льгот не давали, хотя он и был после многолетней войны не в лучшем положении. Мало-помалу Зубцов приходил в себя, а в него приходили разбежавшиеся когда-то посадские жители, бобыли из сожженных окрестных деревень и крестьяне, отпущенные своими владельцами на отхожие промыслы. К началу семнадцатого века город полностью потерял свое военное значение, а других значений приобрести не сумел. То есть торговое значение у Зубцова, конечно, было, но после Смуты сильно поросло быльем. Если бы не Петр Первый, который прорубил окно в Европу, постро-

ил Вышневолоцкий канал и повелел «По рекам Гжати и Вазузе сделать судовой ход, чтобы судам с пенькою и хлебом и с иными товарами ходить» до самого окна, то захиреть бы Зубцову совсем[5].

Зубцов свой шанс не упустил. Через городскую пристань безостановочно шли в Санкт-Петербург барки с кожами, хлебом, мясом, холстом и льном, который выращивали здешние крестьяне. По объему торговли Зубцов был третьим в Тверской губернии, уступая только Твери и Кашину. Во второй половине восемнадцатого века в городе проживало больше тысячи человек[6]. Из этой тысячи пятая часть была купцами. Кто не был купцом, тот был купеческой женой, купеческим сыном или купеческой дочерью. Торговали все. Даже малые дети, отправляя по весне в плаванье по ручьям и лужам кораблики из дощечек, никогда не пускали их порожними – то укладывали на них хвостик пенькой веревки, то несколько хлебных крошек, а то холстинку, оторванную от старых порток. Надо сказать, что город приободрился – завелись в нем пожарная каланча с колоколом и цветными сигнальными шарами, шестигласная дума, городовой магистрат, городничий, уездный, сиротский и словесный суды, уездный казначей с казной, кабацкая контора и богадельня. В 1786 году Екатерина Вторая утвердила новую, регулярную планировку города и герб – в красном поле золотая стена с зубцами. И все вроде стало хорошо, но... мешал соседний Ржев. Не то чтобы Зубцов был в тени Ржева, но... был. Там торговля шла бойчее, там барок с разными товарами отправляли в столицу вдесятеро больше, фабрик и заводов было куда как больше, чем в Зубцове, в котором их почти и не было. Еще и купцы ржевские были богаче зубцовских. Еще и заносчивее. И вообще позволяли себе говорить о зубчанах обидные вещи. Они, к примеру, любили повторять при всяком удобном и неудобном случае поговорку «Зубцов – семь купцов», в то время как всякий знал, что их там больше двух сотен. Они утверждали, что зубчане таракана на канате водили поить на Волгу. Правда, зубчане в долгу тоже не оставались. Распускали слухи про то, что ржевитяне кормили пряником козу через забор[7]. И даже подробно рассказывали, как в Ржеве найти этот забор с козой.

Чтобы уж закончить со Ржевом в жизни Зубцова, надо рассказать одну местную легенду, которой меня угостил экскурсовод в зубцовском краеведческом музее. Говорят, что еще во времена Ивана Грозного Зубцов, Ржев и Старица были связаны подземными ходами, и в одном из этих подземных ходов была царем спрятана... да, библиотека. Та самая Либерея, которую все ищут и которая у нас, в России, заменяет собой чашу Святого Грааля. По всему выходит, что спрятана была Либерея возле Зубцова. Это как раз понятно и логично. Грозный очень любил Старицу, часто в нее приезжал и даже жил некоторое время, а в Зубцове то ли был проездом, то ли вовсе не был. Где же ему прятать библиотеку, как не в том месте, где никому не придет в голову ее искать? Ржев отпадает потому, что прятать библиотеку в городе, где издревле кормили пряниками коз через забор... Вот и остается Зубцов.

На самом деле в Зубцове довольно много вместительных купеческих погребов, и при ремонте разного рода канализационных трасс обнаруживаются ходы в эти самые подземные хранилища, где, по словам зубчан, были огромные винные склады. Один из таких ходов есть в доме одного из самых богатых зубцовских купцов позапрошлого века – Крымова. Теперь в этом доме школа и ее директор приказал наглухо заколотить все, даже самые маленькие щели в подвале, чтобы предотвратить утекание любопытных детей в подземелье, которое, без сомнения, соединено подземными ходами со всеми погребами города. Жаль, что такого хода в подземелье нет под краеведческим музеем, хотя он и расположен рядом со школой, в маленьком одноэтажном здании, которое во времена Крымова было конюшней.

Впрочем, мы уже забежали в девятнадцатый век, хотя еще не все сказали о восемнадцатом. Тут, пожалуй, хватит и одного предложения о драматурге Владиславе Озерове, который родился в 1769 году, в пятнадцати верстах от Зубцова, в имении Борки Зубцовского уезда и там же умер в 1816 году, а в промежутке между этими датами написал несколько трагедий в духе классицизма, имевших бешеный успех на столичной сцене, был одарен бриллиантовым перстнем Александром Первым, упомянут Пушкиным в «Евгении Онегине», обруган критиками, уязвлен пародистами, рассорился с друзьями, обиделся, ожесточился, оставил Петербург, где служил начальником Лесного департамента, уехал сначала в свое имение под Казанью, написал еще одну трагедию, провалившуюся в Петербурге, сжег рукописи, был забран отцом в Борки, лишился рассудка при известии о взятии французами Москвы, пил горькую, играл в домино со своим камердинером, перестал разговаривать и отдал Богу

душу сорока шести лет отроду. «Чувствительность его сразила...» – писал Жуковский в своей эпитафии... Впрочем, это уже второе предложение.

Теперь о французах, раз уж мы о них вспомнили. До Зубцова они, к счастью, не дошли, но все же след от лягушатников в Зубцове и уезде остался. Даже два следа. Во-первых, овраг у села Никифоровского, где местные крестьяне закопали перебитых французских мародеров, с той поры называется «Французским», а во-вторых, одна из улиц в Зубцове стала «Парижской» после того, как зубцовские ополченцы прошлись по Елисейским полям в пешем и конном строю. Правда, большевики «Парижскую» переименовали в улицу «Парижской Коммуны», но это название прижилось только в штампах о прописке – для своих она как была, так и осталась «Парижской».

И еще. В Зубцове проездом к действующей армии останавливался переночевать не кто-нибудь, а сам Кутузов. К сожалению, на том месте, где стояла изба, в которой ночевал великий полководец и национальный герой, теперь нет пятизвездочного отеля «Фельдмаршал», и на местном рынке не торгуют комплектами постельного белья, на наволочках которого вышито гладью «Спи глазок, спи левый». Да уж какие там наволочки... Даже черных повязок на правый глаз с красным кантом и золотым фельдмаршальским шитьем в Зубцове днем с огнем не найти.

Пойдем, однако, дальше. До отмены крепостного права город жил обычной пыльной и сонной жизнью уездного города. Вот разве только за три года до объявления воли поразила уезд загадочная болезнь – трезвенничество. Крестьяне разбивали винные лавки, прилюдно давали обязательства не покупать спиртные напитки и... года не прошло, как успокоились.

Прогресс подкрался к Зубцову незаметно. Вернее, он просто обошел его стороной. Железная дорога прошла мимо города. Все то, что раньше грузили на барки и тащили водным путем в столицу, теперь ехало мимо Зубцова в вагонах и не останавливалось. Пристани, через которые раньше... Нечего и говорить о пристанях. В этот самый момент, когда все было плохо и мало-помалу становилось еще хуже, в город приехал Александр Николаевич Островский и записал в своем дневнике то, что и повторять не хочется. Сколько-нибудь серьезной промышленности в Зубцове так и не образовалось. Работали в городе и уезде разные мелко-кустарные маслобойки, шерстечесалки, крупорушки, винокурни, бондарни, кузницы и мельницы. Была, правда, у помещика Головина крупная суконная фабрика по выработке шинельного солдатского сукна... Короче говоря, если сукно, которое производили на фабрике за год, сложить с шерстью из шерстечесалок, маслом из маслобоек, крупой из крупорушек и прибавить к этой куче гвозди и подковы из кузниц, муку из мельниц, то продать все это богатство можно было никак не дороже полутора сотен тысяч рублей[8].

При всех этих унылых шерстедавилках и маслочесалках был в зубцовском уезде промысел, заслуживающий того, чтобы о нем рассказали отдельно. В середине позапрошлого века в зубцовском уезде, в посаде Погорелое Городище расцвела торговля медицинскими пиявками. Так расцвела, что в одном только 1863 году их было вывезено и продано в Тверь, Ржев, Петербург и даже заграницу более миллиона двухсот тысяч. Погорелогородищенские пиявки так понижали давление, так помогали при лечении геморроя и варикозе, что на международной медицинской выставке в Париже их наградили большой золотой медалью. Мало кто знает, что А.Н. Толстой именно жителей Погорелого Городища, купца второй гильдии Егора Дурасова и мещанина, аптекаря Захара Мартьянова сделал прототипами своего Дуремара, соединив их фамилии в одну[9].

Вторая половина девятнадцатого века в Зубцове напоминала первую. Торговля, хоть и не в прежних масштабах, но все же шла, и в городе ежегодно устраивалось семнадцать ярмарок. Зубчане, тем не менее, понемногу расходились и разъезжались в другие города на заработки. Богатый лесоторговец Крымов устроил в Зубцове спичечную фабрику. Несколько небольших спичечных фабрик было в Погорелом Городище, но это уж были такие мелкие фабрики, что на них каждой спичке присваивали порядковый номер и заносили ее в книгу учета. Думали, поможет открытая в 1902 году Московско-Виндавская железная дорога, по которой можно было везти местный лен прямо к балтийским портам, но тут опять вылез вперед Ржев со своим льном и со своими перекупщиками. Зубцов вздрогнул от паровозных свистков, перевернулся на другой бок и под стук колес снова уснул. Земли у освобожденных крестьян было мало, и родила она плохо. Недостающий хлеб завозили почти каждый год десятками тысяч пудов. Рождаемость, правда, в противовес урожайности, была высокой. К началу

века в уезде проживало более ста тысяч человек. Свободных рабочих рук было много, но местная промышленность занять их была не в состоянии. Другими словами, к появлению первых большевистских агитаторов все было готово. И они не замедлили появиться.

Уже осенью девятьсот пятого года крестьяне начали самовольно рубить лес на участках купца Крымова. Потом стали громить усадьбы и устраивать поджоги помещичьих хозяйств. Железнодорожные рабочие в Погорелом Городище устроили забастовку, требуя повышения заработной платы и сокращения рабочего дня. На какое-то время все успокоилось, но тут подлила масла в огонь столыпинская реформа. Крестьяне стали нападать на землемеров, выделяющих наделы односельчанам из общинных земель. Время уже не шло, но бежало, подгоняемое крестьянскими вилами и солдатскими штыками.

В феврале семнадцатого года старую администрацию разогнали при участии солдат буквально за несколько дней. Комиссаром уезда стал председатель земской управы, а комитет самоуправления, созданный на основе бывшей городской думы, возглавил непотопляемый Крымов. Как грибы после дождя стали появляться советы рабочих и солдатских депутатов. Весной и летом семнадцатого года крестьяне грабили усадьбы, захватывали помещичьи земли и рубили, где хотели, лес. Большевики при этом без устали нашептывали крестьянам, что они грабят награбленное, экспроприируют экспроприаторов, что светлое будущее это совсем не то, что темное прошлое. О том, что начались перебои с продовольствием, что фабрики не работают, что на них нет сырья и рабочим не на что купить хлеба, которого неоткуда и некому завезти, пока разговору не было, поскольку крестьян сложности рабочих интересовали мало.

Осенью грабежи продолжились, а весной уже начался передел земли и имущества бывших экспроприаторов. Новые экспроприаторы начали выяснять отношения между собой так энергично, что не обошлось без применения оружия.

Пока крестьяне грабили и делили награбленное, большевики успели провести два съезда местного совета. Избрали исполком, потом отменили исполком ввиду его многочисленности и бестолковости, потом избрали совет народных комиссаров, потом этот совет отменили из Петрограда приказом совета народных комиссаров республики за подписью самого Ленина. В мае восемнадцатого года провели третий съезд совета, на котором... творилось черт знает что. Большевики схлестнулись с меньшевиками под предводительством директора местной гимназии Поповой и с левыми эсерами, для поддержки которых приехал кто-то из московской партийной верхушки. Дебаты были нешуточные – два раза кто-то из депутатов, израсходовав все слова, стрелял из револьвера. Вряд ли это была директор гимназии Попова. Большевиков поддержали беспартийные депутаты-крестьяне, получившие помещичью землю. Им тогда казалось, что эта земля будет нашей и они не увязнут в борьбе... И вместо того, чтобы креститься, когда кажется, они поддержали большевиков.

Уже летом восемнадцатого года новая власть образовала комбеды, и вдруг выяснилось, что для воюющей Красной армии нужны лошади, телеги, для рабочих нужен хлеб, и этот хлеб будут забирать... Вот этого голосовавшие за большевиков крестьяне никак не ожидали и начали громить волостные исполкомы, а заодно и расправляться с большевиками. Осенью в Гжатском уезде Смоленской губернии начался мятеж, и толпы вооруженных крестьян двинулись в сторону Зубцова. Руководили походом белые офицеры и княгиня Голицына. Впереди восставших крестьян шли два священника с крестами в руках. Ситуация стала напоминать фильм «Бумбараш», с той лишь разницей, что стреляли и убивали по-настоящему. Мятеж подавили, княгиню Голицыну вместе с другими организаторами захватили в плен и по приговору военно-революционного совета расстреляли. К концу года комбеды упразднили и восстановили советы. Занавес опустился, и началась советская власть с раскулачиванием, колхозами, совхозами, американскими тракторами «Фордзон», первыми лампочками и репрессиями в двадцатых, кинотеатром, клубом, машинно-тракторными станциями, льнозаводом, драмкружками, струнным оркестром и репрессиями в тридцатых.

Война пришла в Зубцов быстро. В сентябре начались первые бомбежки, а в начале октября немцы уже вошли в город и оставались там почти год, до августа сорок второго. Трупы погибших солдат стали убирать весной сорок третьего, когда взяли Ржев. Запах трупного разложения был такой, что в проезжающих поездах закрывали наглухо все окна.

Возле зубцовского краеведческого музея стоит небольшое желтое здание. Теперь в нем детская школа искусств, а раньше был райком партии, а еще раньше, во время оккупации, кладбище, на котором немцы хоронили своих. Пять лет назад, к шестидесятипятилетию Победы делали ремонт в музее и, когда проводили водопровод и канализацию, нашли немецкие черепа и кости. Отличить немецкие черепа от наших легко – у немецких зубы хорошие, пломбированные. Отвозят эти немецкие кости во Ржев – там есть общая могила немецких солдат с одним крестом на всех. Пять лет назад приезжали в Зубцов те, кого не удалось похоронить под райкомом партии. По этому поводу местная газета «Зубцовская жизнь» вышла под заголовком «Немцы в городе». Привели их в музей. Посмотрели они на помятую немецкую фляжку, на немецкую кружку, на немецкую пряжку от немецкого ремня, на проржавевший насквозь штык-нож от немецкого карабина, послушали с каменными лицами рассказ экскурсовода и... уехали. Пять лет назад живых ветеранов-зубчан было двести человек, а теперь – двадцать. Пять лет назад в Зубцове проживало почти семь тысяч человек, а теперь на полтысячи меньше. У них там, конечно, работают и ремонтно-механический, и лимонадный заводы, есть телевышка, кинотеатр, микрорайон пятиэтажных домов и даже один или два девятиэтажных дома, там течет Волга и впадает в нее Вазуза, там молодежь... собирается и едет... нет, уезжает на заработки в Москву и в Петербург.

Пять лет назад Зубцову было семьсот девяносто четыре года, а в следующем году будет восемьсот. По этому случаю приедет губернатор из Твери и какой-нибудь московский чиновник из министерства обещаний, приедут мэры городов тверской области и привезут в подарок неподъемные сувенирные ключи из полированной латуни или нержавейки, на которых будет выгравировано «Зубцову в год его 800-летия от Весьегонска, или от Старицы, или от Торопца» и кожаные папки с приветственными адресами. Москва, скорее всего, подарит конверт с деньгами, но там окажется совсем не та сумма, на которую рассчитывал юбиляр. Устроят митинг, на котором московский гость расскажет зубчанам про блестящие перспективы, инвестиции, новые дома, высокие зарплаты и космические корабли, бороздящие просторы района. Потом народу устроят концерт из московских артистов, а начальство и делегации соседей, перед тем как посадить за праздничный стол, повезут осматривать свежевыкрашенные дома, заборы, дороги с еще дымящимся после вчерашней укладки асфальтом и все, что осматривают в подобных случаях. Среди прочего, завезут и в краеведческий музей, чтобы упокоить там, на заранее приготовленных подушках красного бархата, сувенирные ключи и папки с адресами. Экскурсовод кратко расскажет гостям о славном военном и торговом прошлом Зубцова, о его воинах, купцах и... тут вылезет невесть откуда взявшийся мужичок и брякнет:

– Слышал я, что зубчане водили поить на канате таракана на Волгу. У вас, случаем, его чучела не сохранилось? Или хотя бы обрывка того каната...

Все, понятное дело, онемеют от такого вопроса, и только мэр Ржева незаметно для всех усмехнется себе в усы.

---

[1] Я въехал на автомобиле и остановился в придорожном отеле под названием «Boverli Hill». Тот, кто подумает, что хозяева гостиницы допустили в названии ошибку, сам же и ошибется. Первое слово названия представляет собой смесь из фамилий владельцев этого заведения, а буква «о» и вовсе означает «Оксана». Так вот, при гостинице есть ресторан, а в ресторане подают трехмиллиметровой толщины говядину такой жесткости, что если бы к этой подошве, называемой в меню «Мясом “Гурман”», пришить союзку, обсоюзку, носок, задник и все, что пришивают обувные мастера к подошвам, то получились бы ботинки, которым сносу не было бы.

[2] Местные краеведы утверждают, что Иван Исаевич Болотников был родом из Зубцовского уезда, из деревни Болотниково или Болотово. Документов на этот счет никаких не сохранилось. Скорее всего, их и не было. Деревня тоже не сохранилась. Впрочем, этими обстоятельствами краеведов не смутить. Они утверждают, что все это могло быть, поскольку с Зубцовским уездом граничили владения князя Телятевского, у которого Болотников был в долговой кабале. Утверждать, что этого быть не могло, мы тоже не будем. Как бы там ни было, а на всякий случай улица Болотникова в Зубцове имеется. В 1958 году Калининский облсовет депутатов трудящихся даже принял решение изготовить и установить бюст Болотникову в Зубцове стоимостью в три тысячи рублей. Что-то потом пошло не так. Куда-то эти три тысячи рублей... Но улица есть.

[3] Справедливости ради надо все же сказать, что в первый раз Новое Городище назвали Погорелым после того, как его сожгли свои же в 1572 году. Если, конечно, опричников Ивана Грозного можно назвать своими. Зато во времена Смуты Погорелое городище столько раз горело, что название закрепилось окончательно.

[4] В этом небольшом рассказе мы не станем пересказывать краткое содержание трех томов исследований пушкинистов и краеведов о том, какой дорогой ехал Александр Сергеевич, сколько раз выходил из коляски размяться, что ел на постоялом дворе в Погорелом Городище и какие слова сказал ему вслед мужик, которому поэт не дал гривенник на водку.

[5] Нельзя сказать, чтобы Зубцов сейчас изо всех сил процветал, но, по крайней мере, у него все было. Это для таких маленьких городков, как Зубцов, значит очень много. Прошлое, которое уже никому не отнять, можно вспоминать долгими зимними вечерами. В нем, в конце концов, можно жить, когда настоящее совсем допечет. Сажать на огороде картошку, разводить кроликов и вспоминать...

[6] При Екатерине Второй на тысячу горожан приходилось тридцать тысяч жителей уезда. Теперь, в начале двадцать первого века на шесть с половиной тысяч зубчан приходится семнадцать с половиной тысяч жителей района. До этого прошлого не так-то просто докатиться. К нему еще идти и идти.

[7] Все эти поговорки про таракана, козу и пряник были записаны Владимиром Далем и внесены в том «Пословиц русского народа». Это не я их по ходу написания рассказа из головы выдумал.

[8] Сам я этих расчетов не проводил, конечно, а выписал из книги Петра Ивановича Антропова «Город Зубцов с древнейших времен и до наших дней», который сам тоже этих расчетов не проводил, а выписал из книги «Описание Тверской губернии в сельскохозяйственном отношении», изданной в 1854 году.

[9] Сейчас мне, конечно, укажут на то, что Толстой никогда не бывал в Погорелом Городище и даже не проезжал мимо него. Да, не проезжал, но у него была кухарка родом как раз из деревни Вахново, что рядом с Погорелым Городищем. И опять мне скажут, что Толстой писал свою сказку в Париже и кухаркой у него была француженка из... Да что вы пристали ко мне со своей француженкой?! Можно подумать, она вам родственница. Не хотите верить – не верьте. Верьте тем, кто говорит, что прототипом Дуремара был помощник Мейерхольда режиссер Соловьев. Представляйте себе, если сможете, как он приходит на репетиции в зеленом пальто, пахнущем тиной, жестяной банкой для пиявок, сачком и лицом, похожим на вареный сморчок. Представили? То-то и оно...

*Сергей БОРОВИКОВ*

## ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «ОГОНЕК» 1945–1953

В детстве я много болел – ложный круп – хрипел и задыхался так, что меня даже зимой выносили на улицу. Вследствие болезни я много времени проводил в постели. Телевидения еще в Саратове не было. Детских книг в доме было несколько, и в основном читать я учился по толстым полугодовым подшивкам журнала «Огонек» за 1946 год. Очень я полюбил те два тома, и сейчас не обнаруживаю там ни агрессии, ни ксенофобии, ни грубой пропаганды. И мне показалось любопытным перелистать «Огонек» 1946 года с близкими – 1945, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, ну и, натурально, 1953. Я сделал обзоры по годам, порой вмешиваясь в хронологический порядок комментариями, то указывая, когда мне представлялось необходимым, даты и номера, то опуская их. Объёмы обзоров неравны. Прошу простить мне осознанные вольности и неосознанные неточности в передаче материала, над которым я работал не менее пяти лет.

### 1945

Из поэмы Радуле Стийенского о маршале Тито (пер. с сербского В. Левика).

Хвала тебе, Сталин, великий, хвала!
Россия сквозь бурю с тобою прошла;
Хвала тебе, Тито, дорогою славы
Отважно идут за тобой югославы.

Войны в номерах последнего военного года немного, как правило, лишь полоса «Дневник войны». Вообще общий тон очень спокоен, даже миролюбив, и предположить невозможно, каким прямо-таки лающим сделается он, начиная с 49-го года.

Вот благостный фоторепортаж «У маршала Тито».

*А вот как напишут о нём в 1950-м:*

Карикатура Ю. Ганфа «Новогодний приём на Уолл-стрите». Сидят за столом в виде доллара бывшие югославские друзья, здесь же стихи Маршака:

Как братья, рядышком сидят,
Палач-Хитос и Тито,
И кость берцовую едят.
Дрожа от аппетита.

*И еще из того же года*: Жирнов. «Они боятся народа»: «В самом роскошном дворце обитает охваченный манией величия приказчик американских толстосумов, фашистский диктатор Тито. Поблизости разместились в шикарных особняках его клика: профессиональный палач и матёрый шпион Ранкович, предатель Кардель, провокатор Джилас, геббельсовский выученик Моше Пьяда и прочие».

Вернемся в 1945-й...

Репортаж с Крымской, именно так, а не Ялтинской конференции. Ялта вообще не упоминается.

В каждом номере юмор, спорт, кроссворд.

Статья «Великий артист» (о Качалове).

Репортаж под шапкой «Вглубь Германии».

Юмористический рассказ Евг. Бермонта (в последующем, ныне забытый, он становится главным поставщиком юмора в журнале) о склочнике, рассказ дистиллированно-аполитичный, что станет обычным.

Рассказ Ал. Авдеенко про западно-украинскую колхозницу Терезию Симак, будущую героиню его шпионского бестселлера «Над Тиссой».

Фоторепортаж – Треблинка, Освенцим.

Рецензии на книги Кассиля и Софронова.

Кончина Алексея Толстого: статья Д. Заславского, отрывок из 3-й кн. «Петра Первого».

Положительная рецензия на к-ф «Нашествие» по Леонову.

Рассказ Чапека.

В целом наполнение номеров если и не безмятежное, то абсолютно немилитаристское.

№18: «Историческая встреча в районе Торгау». «Обращение Верховного главнокомандующего к Красной армии и войскам союзников».

«19 (13 мая) Знамя Победы над Берлином. День 2-го мая 1945 г. навсегда войдет в историю».

Первомайский парад.

Симонов. Очерк «Прорыв».

Фото «покоренного Берлина».

№20-21: На обложке медаль «За Победу над Германией».

Исторический акт 8 мая: капитуляция.

№ 22: на обложке фото поющей Лидии Руслановой на ступенях Рейхстага 2 мая. *(Через 3 года певица будет арестована, освобождена после смерти Сталина в 1953-м.)*

Рисованные проекты восстановления разрушенных городов.

Фото Петра Капицы к присвоению звания Героя Социалистического труда.

№24: На обложке фото прямого поезда Москва – Варшава: интерьеры купе, ресторан, локомотив, у вагона группа польских офицеров в конфедератках.

Карикатура Бор. Ефимова «Нейтральное бандоубежище»: гостиницы «Испания», «Аргентина», «Португалия», «Швеция», «Швейцария». Подпись: «Притонодержатели и их клиенты» – везде принимают гитлеровцев.

№25: Портреты новых Героев Союза: Жуков – 3-я звезда, Рокоссовский – 2-я, Конев – 2-я.

Говорову, Тимошенко и Антонову орден «Победы».

Репортаж 5 июня в Берлине.

Совместная декларация союзников о поражении Германии.

№27: присвоение Сталину звания генералиссимуса. Вообще присутствие Сталина ритуально. Да и портреты на обложках в отличие от 49-50 гг. редки.

Сессия Верховного совета – принятие Закона о демобилизации старших возрастов личного состава Действующей Армии.

№ 28: 29 июня договор с Чехословакией «о воссоединении Заркарпатской Украины со своей издавней Родиной – Украиной. Репортаж: «с ликованием...».

Рассказ о простых людях – «Наши уважаемые товарищи» – с эпиграфом из речи Сталина о «винтиках» на Дне Победы. Фото и трудовые справки – телефонистка, управдом, библиотекарь и т.д.

Реклама кинофильма «Это было в Донбассе», сценарий Горбатова, постановка Лукова, в главной роли Окуневская (она будет арестована через 3 года, ее супруг Горбатов умрет через 9 лет, следующий (1946) фильм Лукова «Большая жизни», 2-я серия, будет разгромлен).

№31: Берлинская конференция глав правительств союзников.

№32: «Борьба в территориальных водах Японии – фото роскошного В-52. Номер от 12 августа, Хиросиму бомбили 6-го, Нагасаки 9-го – об этом ни в этом номере, ни в последующих ни слова.

№33: Потсдам. Фото.

№34-38: Повесть Ник. Шпанова «Тайна трёх» – появление героя советских подростков, сыщика, советского Джеймса Бонда Нила Кручинина.

№34: Фото – 12 августа на Красной площади парад физкультурников, на Мавзолее Сталин, Гарриман, Буденный, Маленков, Берия.

Установление государственной границы с Польшей.

Капитуляция Японии – про Хиросиму и Нагасаки ни слова.

Рецензии на спектакли Райкина и театра Вахтангова.

Венгро-американская кинозвезда Франческа Гааль. Кинофильм «Дни и ночи».

№38: Победа над Японией.

Обращение Сталина к народу: «Слава вооруженным силам СССР, США, Китая и Великобритании».

Статья о певце Михаиле Александровиче, который в 1948-м получит Сталинскую премию, а после 1971-го в связи с переездом в Израиль пластинки его и записи надолго будут запрещены.

На 3-й обложке реклама: к-ф «Без вины виноватые» – обычная практика с еще довоенного «Огонька».

Репортаж с завода ГАЗ о новом автомобиле «Победа».

Джон Пристли в Москве.

На первой обложке №40: «Как это было» – разгром Квантунской армии.

Горький о Есенине. Из неопубликованного литературного наследия С.А., его письмо Блоку с припиской А.А. (Так что утверждения чуть ли не о полном запрете даже имени Есенина – преувеличение).

Почему-то очень маленькая рецензия на роман А. Фадеева «Молодая гвардия».

Реклама кинофильма «Непокоренные» по Б. Горбатову.

В юморе Е. Бермонта часто сменяет В. Ардов, но юмор в каждом номере. Вообще чисто развлекательная часть обширна – спорт, кроссворды, исторические анекдоты и проч.

**1946**

Вероятно, первая обложка первого от 6 января номера «Огонька» за 1946 год была одним из первых моих эстетическо-сексуальных впечатлений. Очень красивый офицер с погонами лейтенанта в объятии танца с воздушной блондинкой, за спиной воздушный елочный шарик. Фото черно-белое, и я, конечно, не обращал внимания на то, что конфетти и серпантин на плечах пары откровенно подкрашены. «В новогоднюю ночь». Фото Дм. Бальтерманца. Четвертая же полоса рисованная, нарядный плакат Аркадия Пластова – в запряженной тройке несутся млад и стар под полотнищем «Все на выборы».

Есть в первой странице и оглавление (традиция сохранится недолго). В номере стихи Твардовского «Родина» – «Родиться бы мне по заказу...». Очерк В. Гроссмана «Сталинград». Фронтовые воспоминания Долматовского, Славина, Мдивани, Симонова.

Туркменский рассказик Ю. Олеши «Зеркальце», фотокалендарь событий 1945 года. И помимо обязательной фотохроники, спорта, целый разворот «Мой тост», где с бокалами сфотографированы А. Горюнов, В. Хенкин, Р. Зеленая, М. Жаров, Г. Ярон, Л. Русланова с новогодними тостами, вроде утесовского «Наполним бокалы, Содвинем их разом... Не с новым, а с новыми Годом и джазом!».

Застольная песня М. Исаковского на слова Б. Мокроусова (тогда песни печатались с нотами).

И в других номерах будут, скажем, проекты новых железнодорожных вокзалов взамен взорванных, интервью, и воспоминания, и новый план метро, над которым мне было так любопытно воображать, как это ехать под землей, двигая пальцем по считанным станциям.

И была замечательная затея писателя А. Авдеенко и фотографа С. Фридлянда зафрахтовать от редакции горбатый катеришко, назвать его «Огонек» и пройти вниз по Волге от Химок до Астрахани.

И еще всего было вдоволь – от покоривших меня очерков об истории почтовых марок до шахматно-шашечных партий, ну, и статьи о достижениях советской науки и техники, и фоторепортажи с физкультурных праздников, и рецензии на спектакли и кинофильмы, и реклама в конце на 3-й обложке «Покупайте мороженое Главхладпрома», а главное – безмерно много фотографий – от утреннего купания анонима под плакучими ивами до каспийских рыбачек на осетровых тонях, восхождения на Памир и донбасских шахт... и обязательно в каждом номере – моды сезона, и обязательно же юмористический рассказик, а то и не один. Как бы то ни было, жизнь года 1946-го в журнале выглядит разнообразно и пугающе, а враги являются лишь в повести Б. Райтонова «Ровно в полночь» с упоительными рисунками Г. Балашова, где сразу видно по морде штурмбанфюрера, а блондинка с сигаретой в облегающем как чешуя – пособница оккупантов.

Были, конечно, но почему-то редко портреты Вождя, были и панорамы стоящих на мавзолее, и многие фото лауреатов сталинских премий, и вообще, всю мою стариковскую ностальгию по идеальному советскому журналу можно было бы отнести к розовому склерозу, если бы я вдруг – молодец! – не взялся бы за чтение и анализ последующих годовых комплектов «Огонька» (свой, поверьте, не летучий труд предлагаю читателю). Того же журнала с тем же главным редактором Алексеем Сурковым, с той обложкой, сотрудниками, вообще со многом тем же, да не тем...

**1947-1948**

№1: Открытие в Киеве памятника Ленину (скульптор Меркуров), фото: министр просвещения Павло Тычина, предсовмина Никита Хрущев, зампредсовмина Микола Бажан. (Было ли где-нибудь и когда-нибудь правительство, где вице-премьером и министром одновременно были бы поэты?)

Славянский конгресс в Белграде, глава делегации маршал Толбухин, лозунги «Москва – Белград!» и «Сталин – Тито!».

С продолжением из номера в номер печатается «Патент АВ» Лагина. Изредка главы из «Необыкновенного лета» К. Федина.

С каждым годом присутствие более или менее сносной прозы приближается к нулю: см. списки 1949 и далее.

Панегирик живописцу А. Герасимову, который «Два вождя после дождя», и следом – так! – на вклейках репродукции питерских литографий Анатолия Каплана, печальных, даже угрюмых, в размытой черноте.

Уже через год о появлении в журнале репродукций Каплана не может быть и речи, и не только из-за фамилии.

Вс. Иванов. «Победоносная сила»: «Советская страна прочно и уверенно стоит на пути мощного подъема всех отраслей хозяйства, культуры и науки. С великой безграничной любовью и доверием к родному Сталину идет наша страна на выборы».

Вообще не только в этом году в жанре предвыборных од выступал в журнале обычно именно Вс. Иванов.

Непонятное мне фото: прием в Кремле маршала Монтгомери. Стоят Василевский, Монтгомери, Сталин, посол Петерсон, причем Василевский и Сталин в мундирах, посол в пиджаке, а Монтгомери в зимнем пальто с каракулевым воротником и каракулевой шапке пирожком.

Или вот: умер всего-навсего министр угольной промышленности восточных районов СССР (сколько же тогда было министерств?!) Вахрушев, и урну несет все Политбюро во главе со Сталиным, в том же некрологическом номере похороны знаменитой Землячки-палачки, и здесь уже без Сталина.

Статья о Шостаковиче. «Шостакович был слишком значительным явлением во всей нашей культурной жизни, чтобы его отход от социалистического реализма мог пройти незамеченным. Ему помогла наша общественность: некоторые произведения Шостаковича были подвергнуты суровой критике. <...> Композитор, выразитель мыслей и чаяний... замечательный художник и пламенный патриот, избран депутатом Верховного Совета РСФСР».

«Женщины-ученые в СССР» – крупные фотопортреты. Из 10 один академик – Лина Штерн и 5 членкоров, все еврейки. До борьбы с космополитами еще год. Как и до письма Лидии Тимашук.

Воспоминания М.К. Куприной-Иорданской о том, как Крупская была у нее репетитором в Петербурге.

Заседание (а не совещание) Совета министров иностранных дел, где от каждой страны был главный, т.е. министр, а кто-то был ответственным за Германию, за Австрию и др. Проходило в Доме авиационной промышленности, крутой «сталинке» на Б.Пироговской. Фото: главы делегаций в Большом, на «Ромео и Джульетте», их супруги, не исключая и Полину Жемчужину, в мехах и шелках, платьях до полу.

А. Платонов. Рассказ «Счастье вблизи человека» (в будущем «Джан»). Рецензия на «В окопах Сталинграда».

И тут же полная дичь Семёна Кирсанова:

И дождь
во всю скорость
Пусть ринется в зелень полос!
Да здравствует ко́лос –
Усатый колхозный коло́сс!

Ужасные рассказики Олеши, ни в одной букве не угадаешь автора «Зависти».

Очень много театральных рецензий.

Рецензия на спектакль ВГИКа «Молодая гвардия» – тот же состав, что и будет в фильме.

Где бы речь ни шла о театре – везде без меры Симонов: один «Русский вопрос» чуть ли не во всех театрах Москвы. Относительно конкурирует с ним «За тех, кто в море» Лавренева и конечно Суров. К тому же Симонов – заместитель худрука Ленкома и в интервью «Огоньку» кокетничает о своей раздвоенности чиновника и драматурга.

Василий Регинин (старый дореволюционный желтяга Васька Раппопорт, редактор бульварного «Синего журнала», собутыльник Куприна) еще пописывает бойкие репортажи: скажем, о новом спектакле Райкина начинает с того, что в стародавние времена был театр под названием «Я», где все роли играл один человек. «Как ни уморителен Аркадий Райкин, но откровенно говоря, и ему нужно знать меру! Хорошего понемногу».

Для фотографий свежеиспечённых лауреатов Сталинской премии уже не хватает одного номера, печатаются с продолжениями.

Сильное впечатление производит репродукция полотна Налбандяна «В Кремлевском дворце 24 мая 1945 года». Выставка 1947 года.

По лестнице спускаются: на первой ступени Сталин, за ним одной ступенькой выше Молотов и Василевский, на следующей Микоян, Берия и Калинин.

Далее видны Буденный, Маленков, Жданов, Булганин, Каганович (все более уменьшающиеся, далее и еще лица). Но ВОВСЕ ОТСУТСТВУЕТ ЖУКОВ!

Статья «Молодежь Большого театра». Балетные номера: «Заокеанский корреспондент», «Агрессор».

Репортаж «Из мира капиталистического рабства в Советскую Армению». Фото, интервью с прибывшими армянами.

Через весь номер тема укрепления рубля, вызванная денежной реформой 1947 года; на рисунке Новый год говорит рублю: ты всего на 2 недели позже меня родился, а как подрос!

Стишок М. Луконина: «Честность рубля моего видна // Глазам всего человечества, // Его полноценность подтверждена // Гербом моего Отечества».

М. Пришвин. Отрывок из «Осударевой дороги».

Все гуще антиамериканизм. Из номера в номер «Патент АВ» Л. Лагина.

Ужасный рассказ Лидина «История одного дерева».

Похороны Михоэлса, на фото у микрофона председатель Славянского комитета генерал-лейтенант Гудров, Зускин, Сурин, Берсенев. В следующем номере – «Памяти актера» – воспоминания о Михоэлсе Леонида Леонова (так!).

Сказ Бажова.

«Музыка толстых», где разделяются хорошие негритянские спиричуэлс и то, во что их превратили белые буржуазные янки.

Соколов-Микитов. В целом же беллетристика состоит из плохих рассказов Лидина, Нагибина, Никулина, Тэсс.

Рецензия старого рапповца С. Швецова на «Избранное» Архангельского, которого потом лет десять не будут переиздавать.

Вс. Иванов о рабочих-передовиках. Ужас.

Ужасные стихи Долматовского, Соболя, Френкеля.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ заседание в Большом театре: «30 лет СА и ВМФ». Присутствуют все, КРОМЕ ЖУКОВА!

Начало обсуждения Постановления об опере «Великая дружба». Из номера в номер: Захаров, Кабалевский, Гольденвейзер, Максакова, Соловьев-Седой, Дзержинский, Ойстрах.

А вскоре сообщение о выходе сборника по итогам совещания в ЦК с докладом Жданова и речами выступавших.

Памяти Эйзенштейна. Абзац о том, что формалистические поиски «порой приводили», а также о замыслах переснять вторую серию «Грозного».

Рассказ Говарда Фаста, одного из друзей СССР, лауреата Сталинской премии за защиту мира, после венгерских событий 1956 года вмиг ставшего неназываемым врагом.

На целую полосу «Сибирь» – кантата Сельвинского из фильма «Сказание о земле Сибирской» – прежде репортажи со съемок, затем реклама на 3-й полосе. Вообще репортажи с киносъемок часты в номерах.

Юбилей: 25 лет «Огоньку». Спец. номер – старые обложки. Типография, отзывы читателей.

Затем цельная юбилейная конференция по главе с Поспеловым. Ни слова живого, зато на 3-й обложке реклама: «требуйте» вермут в настоящих – а ля чинзано – бутылках белый и красный, «исключительное по вкусовым качествам вино»...

1 мая. Воздушный праздник – фото в кабине флагманского самолета командующего парадом ген.-майора В.И. Сталина крупно.

О, боже, опять Семён Кирсанов:

Как любим мы большое дело буден,
Как любим жизнь, прожитую не зря,
Все от чего живите лучше люди *(так!* – **С.Б.***)*
Все, что растет под солнцем Октября.

В. Гроссман. Глава из романа о Сталинграде «По военной дороге». Знать бы, что предстоит...

«Театральный фельетон» Ю. Юзовского с похвалами театру Образцова.

В Сталинграде 6 июня торжественно отметили 30-летие приезда тов. Сталина в Царицын.

Появляются цветные обложки, изредка фото, но странные, словно бы раскрашенные.

Репортаж из Иерусалима о трудолюбивых евреях-палестинцах, которых притесняют англичане. «Палестина жила беспокойной жизнью в ожидании перемен» – последняя фраза текста.

Стих Маршака:

Крича народам:
«С Новым годом!»
Шофёр несется полным ходом,
Бросая доллар, как лассо.
«Нет, – говорят ему народы, –
Не продадим мы вам свободы,
Попридержите колесо!»

Там же новогодние пожелания художников «Я желаю»: картинки и подписи, например, А. Герасимова: «чтобы тыщи тракторов вышли на колхозные поля», и картинка: поле под облаками.

Рассказ «Чужая рукопись» Паустовского – язык типа «Море ревело всю ночь», а писатель читает чью-то рукопись, где сюжет его будущего рассказа, корзина с еловыми шишками.

С продолжением повесть Василенко «Звездочка», о ремесленниках, которую нас в школе заставляли читать.

**1949**

«– Я буду играть Олега Кошевого!

Трудно сказать, когда эта мысль родилась у молодого артиста Ю. Любимова. <...> открытое лицо Олега Кошевого (фото). Взгляд его, кажется нам, устремлен к Москве, к Сталину».

Затем реклама кинофильма «Суд чести» (1948), а в следующем номере восторженная рецензия на него.

Этот фильм не просто фильм, а иллюстрация, даже инструкция по борьбе с низкопоклонством и безродным космополитизмом. Советские биологи сделали научное открытие, позволяющее эффективно бороться с болью. Руководители проекта – профессора Лосев и Добротворский – делятся результатами исследования с американскими коллегами (на самом деле это бизнесмены и разведчики). В Академии наук состоялся «суд чести», на котором коллеги сурово осуждают и клеймят Лосева и Добротворского. История невыдуманная.

То было дело члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР Н.Г. Клюевой и профессора Г.И. Роскина. Клюева и Роскин создали эффективный, по их мнению, препарат от рака – «КР» (круцин). Открытием (находившемся в состоянии разработки и еще не проверенным должным образом) заинтересовались специалисты из США, пожелавшие издать их книгу и предложившие программу совместных исследований. Соответствующая договоренность (с разрешения властей) была достигнута, и в ноябре 1946 г. командированный в США академик-секретарь АМН СССР В.В. Парин по указанию заместителя министра здравоохранения передал американским ученым рукопись их книги и ампулы с препаратом. Клюеву и Роскина судили новомодным судом профессиональной чести (готовил его сам Андрей Жданов), а Парину вкатали 25 лет за «измену Родине».

Вскоре появилось сразу две пьесы – Константин Симонов по прямому указанию Сталина, съездив для изучения натуры и фактуры на несколько дней в Саратов в институт «Микроб», написал «Чужую тень», Александр Штейн уже, видимо, по велению сердца наваял «Суд чести», которую режиссер Абрам Ромм экранизировал, за что все, включая актеров, получили Сталинские премии первой степени.

Все по справедливости – кому четвертак лагерей, кому по 100 000 рублей.

А я вспомнил героя рассказа Василия Шукшина «Верую»: «Случалось, выпивал... Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям и себе потом становилось нехорошо. Один раз спьяну бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел – оказывается: он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это – гнусное предательство, что он – "научный Власов", просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком.

– Зачем же чертежи-то передал? – допытывался старшина. – И кому!!!

Этого Максим не знал, знал только, что это – "хуже Власова". И горько плакал».

Нет, вождь очень правильно ценил силу драматического искусства, и недаром постарались Симонов и Штейн, если последний деревенский мужик пуще огня страшился стать «научным Власовым».

А вот началось: рецензия В. Залесского на «Зеленую улицу» во МХАТе: «А. Борщаговский, этот буржуазный эстет, избравший своей специальностью разносить и порочить боевую, политически направленную советскую драматургию, пустил версию, что А. Суров – автор одной пьесы». И тут же отчет на две страницы о пленуме СП об антипартийной группе театральных критиков.

В номерах же рассказы: Вл. Матов, Лев Гуров, Иван Фролов, А. Ноздрин, Пётр Никитин, Вит. Василевский, П. Кравченко, С. Крушинский, Марианна Яхонтова, Ю. Усыченко, Е. Воробьев, Варвара Карбовская, Савва Залучный, Иван Рябокляч, Анна Валюс, Г. Шергова и другие крупные прозаики.

А гвоздь 10-го номера – статья д-ра биол. наук А.Н. Студитского «Мухолюбы-человеконенавистники». Рисунки Бор. Ефимова – менделист-морганист в полосатых брючках смотрит в микроскоп. А из кармана торчит автомат и книга со свастикой на обложке.

В номере 16 привлекает не столько 4 страницы свежеиспечённых лауреатов Сталинских премий, сколько сенсация: оказывается, Игорь Сикорский не изобретал вертолет, а просто украл проект у авиаконструктора Б.Н. Юрьева: «В 1940 году "американский" конструктор белоэмигрант Сикорский, который в 1912 году видел мой аппарат на Мос. выставке, так же приступил к "созданию" геликоптеров <...> машины Сикорского и других заграничных конструкторов удивительно напоминают наш русский геликоптер 1910-11 годов».

Но самое неизгладимое впечатление производит образец советской драматургии – отрывок из пьесы Вадим Кожевникова «Огненная река».

Уж позвольте, прошу, поцитирую, только читайте с расстановкой, со вкусом и попытайтесь воображать при этом прославленную сцену того МХАТа.

«Гусев (у телефона). Что? Давай, теперь дуйте на полную заслонку.

Сергей. Егор Трофимович, рискованно сразу переходить на новый режим.

Гусев. Ты не сладишь, а я слажу.

Сергей. Я знаю.

Гусев (Сергею). Поди узнай, ковши подготовили лишние, большая выдача будет.

Сергей. А я позвоню.

Гусев. Я говорю, лично надо будет проверить.

Сергей. Хорошо, сейчас.

Павлищев (стоя у приборов). Красиво печь идет, чудесно!

Гусев (не оборачиваясь к Павлищеву). Ты давай сбегай на шихтный двор, узнай, как по-новому шихту рецептуют». И т.д.

А через несколько номеров отрывок из пьесы другого правильного драматурга Софронова «Карьера Бекетова». На фото: репетиция в Малом театре – Ильинский, Шатрова, Анненков, Жаров.

Умоляю: читайте также вдумчиво, как и Кожевникова, обратите внимание, как мастерски растягивается сценическое время:

«Кутасов. Главным инженером.

Привалов. Я?!

Кутасов. Ты.

Привалов. А директор?

Кутасов. Директор найдется.

Привалов. Я должен знать.

Кутасов (достает из кармана бумагу, подает Привалову). Читай. Телеграмма из министерства.

Привалов (читая). Ты?!

Кутасов. Я.

Привалов. А как же обком?

Кутасов. Обком также.

Привалов. Согласен?

Кутасов. А почему же он должен быть не согласен?»

Под стать драме и поэзия:

Семен Кирсанов. «Утро мая»:

Утру синему,
свежему,
юному –
Настежь окна!
Лучи принимай!
Вопреки Ачесону и
Трумэну –
Всходит солнце, настал Первомай.

Чем не куплеты Велюрова из «Покровских ворот»: «В Москве погода ясная, а в Лондоне туман»?

Печально, когда блестящий стилист Илья Эренбург в статье «За мир!» вдруг словно использует словарик Остапа Бендера для журналистов:

«Пусть каркают вороны над Потомаком.
Пусть облизываются шакалы в Фонтебло.
Пусть Черчиллю снятся походы.
Никогда им не одолеть нас».

Петр Павленко тоже делится американскими впечатлениями.

«– Когда у Вас в Советском Союзе снижаются цены на товары, – сказал мне знакомый американец, – это значит, дела в стране обстоят хорошо. Когда у нас цены снижаются – значит, недалеко кризис. Товары дешевеют только тогда, когда промышленники не знают, что делать, чтобы избавиться от них».

Сергей Михалков:

Мы смотрим в солнечные дали,
И ясно видим цель свою.
Великий вождь Иосиф Сталин
Сплотил славянскую семью.

125 лет Малому театру. Статья Леонова к дате: «С первых лет революции Малый театр неустанно и энергично работает с современными писателями над созданием полноценных пьес, в художественных образах воплощающих нашу замечательную эпоху – эпоху свободного творческого труда».

Образование ГДР.

Некролог Толбухина.

Комитет по подготовке к 70-летию Сталина – лишь три деятеля культуры: А.Тарасова, А. Фадеев, Д. Шостакович.

Наконец 70 лет. Статьи и стихи П. Поспелова, С. Сутоцкого, А. Суркова, М. Дудина (стихи НЕ о Сталине!), Б. Полевого, Г. Гулиа, А. Покрышкина, В. Обручева. Тьма картинок, из которых меня особенно впечатлила Соколова-Скаля «Иосиф Виссарионович Сталин на фронте под Москвой в декабре 1941». Вождь в медвежьей шубе до пят, ушанке, с биноклем на груди, рядом раненый командир указывает ему на поле боя, над ним летят самолёты, на заднем плане в заснеженном лесу виден капот автомобиля и группа генералов в папахах. Д. Шостакович ссылается на рассказ А. Александрова о том, как Сталин посоветовал петь «Розпрягайте, хлопці, коні» «помедленнее».

Указ о награждении Сталина орденом Ленина. «Песня о Сталине» Блантера–Суркова, приветствие ЦК и Совмина. Указ об учреждении международных Сталинских премий. Фото: разбор на почте груд поздравительных телеграмм.

«Стихи, прочитанные А. Твардовским на заседании в Большом театре 21 декабря»: «Слово советских писателей к товарищу Сталину».

Новые станции метро.

Репортаж со съёмок кинофильмов «Далеко от Москвы», «В одной стране», «Падение Берлина», «Сталинградская битва».

**1950**

Теперь каждый номер открывается портретом вождя.
Статья Е. Тарле о борьбе за мир под руководством Сталина.
Сессия АН СССР к 70-летию Сталина.
«Новое в советской музыке» (2 года после Постановления).
Художественная выставка итогов 1949:
«Возвращение с демонстрации» (Они видели Сталина)»,
«Прием в комсомол, Сталинское племя»,
«День выборов в Верховный совет»,
«Указ о награждении»,
«По дорогам пятилетки»,
«Маяковский в мастерской РОСТА»,
«Первые дни Октября»,
«Портрет электросварщика»,
«Портрет Молотова»,
«Ленин-гимназист»,

«Колхозное стадо»,
«Сталин в Туруханской ссылке»,
«Подарок товарищу Сталину»,
«Сталин на крейсере “Молотов”».

А вот чья проза в номерах 1950 года: Б. Зубавин, Е. Воеводин, С. Борзенко, В. Карбовская, В. Кожевников, В. Кочетов, К. Паустовский (вполне на общем уровне), С. Шуртаков, Т. Тэсс, Б. Бедный, С. Антонов, И. Меттер, К. Симонов, В. Стариков, А. Розен, Ю. Нагибин, Вс. Иванов. И. Фролов, П. Максимов, Б. Емельянов, И. Егоров, Л. Борисов, А. Розен, А. Мусатов, Г. Любош, Ю. Бондарев, Л. Славин, П. Бажов, Ю. Помозов, Л. Ленч, Ф. Кнорре. Темы преимущественно: колхозы, МТС, цеха, санатории, где говорят о цехах и колхозах, исключение М. Пришвин, который взял да и написал о ловле сомов на тюкалку в своем Дунино.

Тематические – КНР, Узбекистан, Польша, Венгрия (Ракоши еще хороший).

С. Борзенко. Отрывок из романа «Передний край», «посвященного борьбе югославского народа с агентурой американского империализма на Балканах – кликой Тито».

Луи Арагон. Отрывок из романа «Коммунисты».

«Письмо из Франции» – трущобы Парижа, бездомные, туберкулез.

На 3-й обложке красивая реклама «Покупайте зернистую, паюсную и пастеризованную икру».

Репродукции классики.

Балет «Красный мак».

№7: «Под знаком критики самокритики» – XIII Пленум правления СП СССР. 25 января – 2 февраля. Доклад о детской литературе. Тов. Симонов разоблачил «фальшивую романтику» некоторых произведений («Дальнее плавание» Фраермана, «Великое противостояние» Кассиля). <...> Эстетские взгляды иных писателей, порожденные преклонением перед американской и английской буржуазной детской литературой».

В докладе о критике Фадеев как пример настоящей критики привел статью Бубеннова в «Правде» о романе Катаева «За власть советов».

Введены в правление Ажаев, Бабаевский, Бубеннов, Грибачев, Ермилов, Полевой, Казакевич, Панова, Первенцев.

Реклама кинофильмов «Падение Берлина» и «Кубанские казаки».

Н. Никитин. Отрывок из романа «Северная Аврора».

С. Бабаевский. Отрывок из романа «Свет над землей».

Н. Боголюбов. «Две роли артиста Ливанова: Рубцов в “Зеленой улице” Сурова и Трубников в “Чужой тени” Симонова».

В номер, посвященный Маяковскому, Асеев изготовил на злобу дня «дополнительную главу» к поэме «Маяковский начинается», словно бы сам Вл.Вл. мало преуспел в разоблачении США: «Наконец Маяковский // в стошумном Нью-Йорке. // На Бродвее светло //– электрический день. // А в порту, // подбирая окурки да корки, // безработицы клонится // тощая тень».

Галина Николаева. Глава из романа «На крутом переломе» (Подъем отстающего колхоза).

Среди всего вдруг доброжелательный текст о Витторио де Сика.

Твардовский. Стихи «Весенние записи». Думаю, он их не переиздавал.

В каждом номере нарастает вал карикатур на политические темы. Ганф начинает теснить монополиста Ефимова.

Рецензия Г. Александрова на кинофильм «Заговор обреченных»: «Характерную фигуру иезуита и политического интригана рисует А. Вертинский, играющий в картине роль кардинала Бирнча» (Это к постоянной лжи А.А. Вертинской, что не только пластинки отца не выпускались, но даже в прессе имя не упоминалось).

Стихи неизбежных Дыховичного и Слободского «Тетя Даша едет за границу». Суть в том, как ей себя там вести:

Нет, конечно, тетя Даша скажет
Так, чтоб улыбнулись ей в Кремле,
Так, чтоб побледнели в Белом Доме,

В Руре всколыхнулись горняки,
Так, чтоб в Алабаме, Оклахоме
Сжались у рабочих кулаки.
<...> тетя Даша, взвесив обстановку,
Спать ложится; утром на вокзал...
Снится ей, что ей командировку
Сам товарищ Сталин подписал.

«Колорадский жук» – очерк проф. Н.С. Щербиновского: «Все советское общество, все передовое человечество с чувством глубокого возмущения узнали о том, что американские самолеты сбрасывают на поля ГДР и Чехословакии колорадских жуков – опасных врагов картофеля». Статья проиллюстрирована Бор. Ефимовым: «Трумен-жук пожимает лапку колорадскому жуку».

Акад. Виноградов, «Дискуссия о языке» – о гениальности сталинской работы о языке.

Е. Воробьев. Глава из романа «Так хочется жить» (будущий кинофильм «Высота»).

М. Ромм о съемках «Секретной миссии»: «Преступление пред миром».

И вдруг! Словно из 46-го года Э. Брагинский «Вечером в доме №5» – о жильцах одного дома, просто о разных жильцах, по-человечески.

Обзор спектаклей «Летом в Эрмитаже». «Утесов давно отрешился от пустых джазовых песенок: хоровая сюита “Песня молодости”, куплеты о “Блохе” Мусоргского о чумных блохах, которых разводят ныне поджигатели войны, смело введены Леонидом Утесовым в его программу фрагменты памфлета М. Горького “О музыке толстых”, “Песня американского безработного”».

Рецензия Владимира Огнева на книгу Эренбурга «За мир!» – цитаты из Эренбурга: «де Голль высокий генерал, который показал, что он умеет низко кланяться».

Анна Караваева плывет по Волге. «Чем ближе к Саратову, тем все ощутимее подпор Сталинградской плотины. На берегах, прежде песчаных и бесплодных, осыпают бело-розовый цвет яблоневые и вишневые сады, зеленеют пояса лесополос. В кудрявых зарослях прячутся колхозные села, дома отдыха, санатории». Даже на то время брехотня редкая, ибо «подпор» Сталинградской плотины, который потопит левобережные заливные луга, обрушит высокий правый берег с теми же садами.

Повесть Мих. Маклярского «В приморском городе». Вот это вещь! Видна рука автора «Подвига разведчика». А картинки! Один только секретарь генконсульства США Томас Кларк чего стоит, когда (шляпа, клетчатый пиджак, руки в карманах) подсматривает в щель в заборе секретного завода.

На съемках к-фа «Кавалер Золотой Звезды».

Новый советский автомобиль ЗИМ.

### 1951

В первом номере на обложке фото Елисеевского гастронома в связи с очередным снижением цен, лица счастливых покупателей. Следом публикация рассказа К. Паустовского «Поселок среди скал». У этого самого зарубежного поселка бросает якорь пароход под красным флагом из Мурманска, и «все население было потрясено» – все собрались у маяка, полицейский Фэрти в панике – у него нет инструкции, как себя вести, надо по телефону запросить Глазго. На пароходе поднимают тем временем разноцветные флажки «Привет трудящимся Англии»:

«Когда был поднят последний флаг, высокая струя пара взлетела около трубы советского траулера, и мощный – в два тона – гудок загремел над скалистым побережьем, воспетым Оссианом. Эхо вернуло его обратно в океан и снова понесло вдаль, через вересковые пустоши, туда, где лежала в туманах большая страна. И, может быть, этот гудок, этот приветственный голос докатился от побережья океана до маленького деревенского дома, где умер великий крестьянский поэт Шотландии Роберт Бернс. Утверждать это мы, конечно, не можем, но, возможно, что было и так.

Толпа на берегу обнажила головы. А Джейн сорвала с головы платок, закрыла им лицо, и плечи ее затряслись, должно быть, от слез».

Под заголовком «Правда о Германии» помещены рецензии на спектакли Московского театра драмы и комедии, а также театра Станиславского «Темной осенней ночью» по пьесе Юрия Германа,

где, как сообщает рецензент, «американцы “с честью” заменили нацистов и убивают коммунистов Нюрнберга».

В пьесе В. Собко «Жизнь начинается снова» все по-другому, поскольку немецкий город находится в советской зоне оккупации и там хорошие немцы (плохие убежали к американцам) строят новую жизнь.

Вообще рецензии, особенно на спектакли, в большом ходу. Вот Лев Славин пишет статью «На переднем краю» о спектакле по правильному до поры до времени американцу Говарду Фасту и даже лауреату Сталинской премии за мир, после Венгрии 1956 года ставшему плохим.

Е. Сурков восторженно отзывается на спектакль театра Моссовета «Рассвет над Москвой» (пьеса А. Сурова, постановка Ю. Завадского, в ролях Мордвинов, Раневская, Марецкая, Абдулов). Даже в пересказе Суркова спектакль вызывает ужас.

В Большом тем временем ставят оперу по роману Елизара Мальцева «От всего сердца».

К 60-летию Ильи Эренбурга хорошая статья В. Каверина. Добавляется главой из романа И. Эренбурга «Девятый вал», где в Вашингтоне французский поэт-коллаборационист получает указания от тестя сенатора Лоу, как лучше клеветать на СССР.

А тут еще и какой-то Жан Катара обличает «гангстеров де Голля», а непременный Бор. Ефимов изображает их фашистский хоровод, где об руку с де Голлем кружится эсесовец Скорцени. Охотно верю воспоминаниям художника, что зачастую не просто главным заказчиком, но и автором хитроумных сюжетов был сам кремлёвский затейник.

Заклинанием становится слово «мир». Вот заголовки 1951 года: «За мир, за счастье детей!», «Урок поджигателям войны», «Им не запугать миролюбивые народы», «Докеры Британии за мир!», «В СССР все хотят мира», «За пакт мира», «Отстоим свободу и мир», «Во имя мира!», «За Сталина, за мир!», «Белградские фашисты – злейшие враги мира».

Евтушенко не созрел еще в 51 году до «Хотят ли русские войны?..», он осваивал тогда тему партийного долга поэта. «Партийная работа»:

А завтра опять быть может тюрьма,
а завтра быть может
Под пулями падать
Но Партия сама
его посылает.
И значит, надо!

А вот Дыховичный со Слободским:

Ревут зловещие пропеллеры
Неся в Корею страшный груз,
Чтоб с генералами Рокфеллеры
Скрепили золотом союз.

Самое спокойное в номерах – это очерки. Вот Владимир Солоухин об открытии канала Волга-Дон: «Пей, земля, досыта!».

Но есть и боевитые очерки: «Это было на границе» (автор Л. Леров): «В музее советских пограничников с фото на нас смотрит, широко улыбаясь, простая русская девушка Акулина Железнякова. В зимний вечер она была дома одна, когда открылась дверь избы и в комнату вошел неизвестный. Человек попросил поесть. И манера говорить, и осторожно задаваемые вопросы, и глаза, беспокойно шарящие по углам – все вызывало тревожное подозрение. Кто он? Откуда и куда держит путь? Поставив на стол еду, Акулина сказала: «Вы, дяденька, кушайте, а я сейчас еще что-нибудь принесу. Девушка вышла из дому и побежала в сельсовет. Вскоре выяснилось: “проголодавшийся путник” – гость из-за границы».

В номере 9 беседа Сталина с корреспондентом «Правды» о том, что ООН превращается в орудие войны.

И разворот цветной репродукции картины «Обсуждение двойки».

Седая учительница с очками в руке, слева за столом. В центре комсомолец с гнусным личиком, блондинка, ведущая протокол судилища, слева в гневе будущий Вышинский в порыве негодования, внизу стоит потупившись сам двоечник в куртке со вставками (все это тоже с выставки 1950 года).

А рядом на вклейке фото гордолицей женщины с «Правдой» в руках, подпись: «Инициатор патриотического движения за комплексную экономию материалов, бригадир обувной фабрики “Парижская коммуна”».

Ну, а далее заметки Сергея Юткевича о китайском кино. Бог с ними, зато в горьковском (25) номере – открытие памятника у Белорусского вокзала, имеются чрезвычайно любопытные заметки А. Шумского «Три неосуществлённых замысла Горького».

Что же это были за замыслы? 1. Книга о новой России, 2. Пьеса о колхозной деревне и 3. Литературный портрет тов. Сталина». Хорош здесь и рассказ близких писателя о том, как к подавленному смертью сына Горькому приехал понятно кто. «Долго оставался он с Горьким. И поздней ночью, когда Алексей Максимович вышел провожать Сталина, опираясь на сильную и ласковую руку его, лицо писателя было просветленным...»

Ну, что еще для разнообразия? Профессор Аванесов, «Наука о языке на новом этапе» – к годовщине выхода книги Сталина.

Жизнь братского Китая и братской Монголии с фото.

Репродукции с выставки 1950 года в Третьяковке:

«В.И. Ленин в Казанском университете» (движется по коридору, за ним восторженные студенты, сбоку перепуганные преподаватели),

«Чернышевский и Добролюбов в редакции журнала ”Современник”»,

«Гудят провода»,

«Грамота ЦК комсомола»,

«Карл Маркс и Фридрих Энгельс»,

«Животноводы»,

«К.Е. Ворошилов – организатор партизанских отрядов в Донбассе в 1918 году».

А Борис Лавренев в статье «Идейность и мастерство» анализирует полотна с всесоюзной выставки 1950 года:

«Выступление Ленина на III съезде комсомола», В.Серов. «Ходоки у Ленина», Л. Шиповский. «Выступление А.А. Жданова на совещании деятелей советской музыки», ну и т.д.

Опять Дыховичный и Слободской:

В черном трюме качается рота
Виски, кости, табак и лото.
Едет парень из штата Дакота
Воевать неизвестно за что.

А Марк Максимов выдумкой не отличается – он и за популярными сатириками поспевает, и за классиком Паустовским.

Теплоход, в синеву окутан,
Шел из Глазго к моей стороне.
Разговоры по всем каютам
Об одном: о войне.

Провожали ушедших в море
Долгим взглядом из-под руки
Голодающие шахтеры,
Исхудалые горняки.

Ну, еще «Франция под пятой американских оккупантов» – прибывают суда с военными грузами «Для возрождения по приказу магнатов Уолл-стрита западно-германской фашисткой армии».

Фото: дети за колючей проволокой, это в бывшем концлагере ютятся семьи докеров.

А французский рабочий приехал на заработки в Югославию и увидел в Дубровнике, как из заводских ворот рабочие выходили закованными в кандалы, под звон цепей, ибо в титовском государстве мобилизуют людей на принудительный труд, и в результате вновь разгорается партизанское и подпольное движение.

А тут Бор. Ефимов нарисовал картинку «Вашингтонские гибриды»: дядя Сэм в горшках выращивает Тито, де Голля, Аденауэра.

А Семен Кирсанов устраивает отчего-то не в «Мурзилке» детскую политическую викторину-отвечалку, типа:

Отчего так светит
Ночью Днепрогэс:
Отчего друг друга
Братьями зовут
И туркмен на Юге и в снегах якут?
Отчего запахли влагою пески
И поднялись капли, в стебли, в лепестки?

Но поэт знает и ответ:

Оттого что Сталин
На века в Кремле
Верный план составил счастья на земле!

Разворот – цветная репродукция полотна «Во имя мира»: подписание договора о дружеском союзе и взаимопомощи СССР и Китая, где Мао в поклоне к Сталину, за столом подписывает Вышинский.

Еще искусство: Бондарчук рассказал о работе над ролью в фильме «Кавалер Золотой Звезды».

Неугомонные Дыховичный и Слободской взялись пересказывать недавно столь смертельно опасный для Зощенко сюжет о том, как Смита выписали из дурдома, но он от ужаса реальности туда вернулся.

***

Но ладно, это все, как говорил тов. Треухов в «12 стульях», акробаты пера и виртуозы фарса... Но вот ведь замечательный всенародно любимый Борис Чирков съездил в Финляндию с Мариной Ладыниной и сообщает, в какой восторг привел финнов «Кавалер Золотой Звезды», и какая убогая у них киностудия, и что музеи наводят тоску тематикой полотен: «Смерть, болезнь, одиночество, обреченность, мистические сюжеты». И непременный парень в рабочей спецовке подошел пожать «нам руки» и сказать: «Американские фильмы это фальшивка, а ваш фильм это настоящая жизнь!»

Так, а вот и статья (без подписи) «К новым успехам советской литературы» к 5-летию исторического постановления, где хвалят Павленко, Ажаева, Федина, Гладкова, Бубеннова, Эренбурга, Бабаевского, Николаеву, Панову, Грибачева, ругают Симонова (за «Дым отчества»), Катаева (за «За власть советов»), Казакевича (за «Двое в степи»), и даже Кожевникова за «Огненную реку» (мы цитировали этот шедевр в обзоре 48 года).

Публикуются главы нового романа Кочетова «Журбины», главы новой редакции исправленной Катаевым «За власть Советов», а также рассказик «Живой тигр», словно бы тень автора, которого единогласно и усердно перевоспитали Кочетов, и Катаев, и вся руководящая союзписательская шайка.

**1952**

№1: Москва принимает первый высотный дом – на Котельнической набережной.

Цветное постановочное фото на вклейке, подпись «Стихи о вожде» – группа молодых в чрезвычайно просторной комнате слушает, а один (очень похожий на актера Ю. Панича) читает, а за ним в просторном окне в вечернем синеющем небе кремлевские звёзды.

Репортаж со съёмок фильма «Незабываемый 1919-й».

№2: К. Паустовский. «Первая благодарность» – рассказ о некоем юном Лёне на строительстве Цимлянской ГЭС. Пленяет язык писателя: «Этими знаниями должны были обладать проектировщики. Строители, кроме того, должны были быть еще хорошими организаторами и психологами, потому что им приходилось иметь дело с тысячами людей. Да, всё здесь потрясало сознание. Не только самоотверженный труд людей, но и сложнейшие механизмы и исполинские, почти космические массы бетона <...> выигрыш времени – закон советского строительства».

Всесоюзная художественная выставка 1951 года, цветные репродукции: «Сталин в Туруханской ссылке», «Сдача хлопка государству», «Заседание президиума Академии наук СССР» – 7 авторов – Грицай, Ефанов, Котляров, Максимов, Ставицкий, Судаков и Щербаков. А 5 ленинградских художников представили полотно «Ленинград – великим стройкам коммунизма. В гидротурбинном цехе завода им. И.В. Сталина».

№6: Некролог Чойболсана в эполетах, на груди которого я любил пересчитывать ордена и звезды.

№7: Я всегда всерьез полагал главным аргументом Сталина против постановки «Батума» нежелание предстать на сцене в образе не бога, но юноши. И вот спектакль «Юность вождя» Г. Нахуцришвили в театре им. Станиславского. В главной роли А. Головин, постановка М. Яншина и Ю. Мельковского, художник Б. Эрдман. «Артисты Н. Дупак, Б. Левинсон, Ф. Косарев, Е. Шутов и Е. Леонов хорошо охарактеризовали семинаристов – однокашников Сосо». Рецензия подписана засл. учительницей Е. Викторовой. А может быть, дело в том, что Сталин 1939-го, это далеко еще не обезумевший Сталин 1952-го?

№24: «Волга встретилась с Доном» – открытие последнего шлюза. Одно из главных событий того времени.

№31: В продолжение темы канала Волга-Дон, отвечая изыскателям 1918 года: «тов. Сталин начертал пророческие слова: “Канал пророем после утопления кадетов в Волге и Дону”».

В номерах мало стихов, в основном о трудовых подвигах, не исключая Берггольц и Тушнову.

Главы из романа Бабаевского «Знамя жизни».

Ю. Либединский рецензирует «Доктора Власенкову».

№32: На 1 стр. фото «Волго-Дон им. Ленина открыт». Флагман речного флота т/х «Иосиф Сталин». Этот теплоход прославился в кинофильме «Волга-Волга», а мне довелось – отец был корреспондентов саратовских газет – проплыть историческим, вскоре сгоревшим бортом.

Хвалебная рецензия В. Огнева на «Белую березу» Бабаевского.

№35: На 1 стр. краткая информация «К сведению всех организаций ВКП(б)». «На днях (так!) состоялся в Москве Пленум ЦК ВКП(б). Постановили созвать 5 октября 1952 года XIX съезд партии. Порядок дня съезда: Отчетный доклад (Маленков). ЦРК (Москатов). Директивы на 5 пятилетку (Сабуров). Изменения в Уставе (Хрущев), выбор Ц.О. Норма пред-ва 5000 – реш., 5000 – сов. Информация за подписью секретарь ЦК ВКП(б) И.Сталин».

За все обозримые годы не было подобных публикаций партийных документов в «Огоньке».

№36: О подготовке к съезду – обсуждение документов ЦК (фото). Стих Луговского «Секретарь райкома»: «Я в коммунизм хочу войти по праву, наяву. К нему ведем дорогу мы. Я для него живу».

№37: Архитектор Алабян, обзор высоток.

№41: День открытия съезда. На обложке портрет Сталина за трибуной.

Стихи В. Солоухина «Партийный билет»: «Это право, святое доверие это // мне вручается вместе с партийным билетом».

Г. Александров о своем фильме «Глинка».

№42: Первый репортаж со съезда.

№43: Речь Сталина только о роли братских компартий.

№44: Глава из романа Симонова «Товарищи по оружию».

Исчезает безудержный антиамериканизм, в основном пишется о наших достижениях.

**1953**

Почему-то в областной научной библиотеке отсутствуют номера с 1 по 17. То есть с января по апрель. Какое событие произошло в марте – известно. И я лишь по оглавлению в 52 номере смог выяснить названия текстов траурных номеров.

А так...

№18: Весна на Волго-Доне.

А. Штейн о к-фе «Адмирал Ушаков».

Фото парада. Все то же, только без Сталина.

На съемках фильма «Дзержинский», в роли Сталина Геловани.

Вс. Кочетов. Глава из нового романа.

В каждом номере жизнеутверждающие очерки Солоухина.

За год проза: Д. Осин, Д. Холендро, А. Шаров, И. Дворецкий. Н. Жданов, А. Розен. Г. Калиновский, Г. Радов, И. Гофф, Ю. Нагибин, Ю.Сотник.

№23: Дыховичный и Слободской высмеивают уже не американцев, а фабрику горпромторг и т.д.

Всё больше спорта.

Репродукция-вклейка: А. Лактионов. «Вселение в новую квартиру». Гуревич. «На колхозном стадионе».

Цветные фото лауреатов Сталинской премии мира, в т.ч. Эренбурга.

№29: О Пленуме ЦК по Берия – фото собраний в поддержку расправы над шпионом и изменником.

Добрались до стиляг, лидер Рождественский. «О временно прописанных». «Я вижу только галстук // Меж двумя плечами // кокетливый и длинный // Кусок хвоста тигриного // и светло-малиновые штаны // достаточной ширины // Загнусавила вдруг радиола // Пел о жутких страстях мексиканских, // пел о дальнем, заброшенном мире...// повеяло тут гнилью в квартире <...> один вопрос: а до каких пор?!» Тут же карикатурка Бор. Ефимова.

Масс и В. Червинский, «Дело о разводе». Стихи о том, что в газетах лишь информация, а в книгах, в пьесах, в сюжетах картин нет разводов.

№33: О 5-й сессии Верховного совета. «Советские люди и все миролюбивые народы с большим удовлетворением встретили сообщение т-ща Маленкова о том, что США не являются монополистами в производстве водородной бомбы».

*Сергей СТРАТАНОВСКИЙ*

## ЭПОХА САМИЗДАТА: ЧТО ЭТО БЫЛО?

Начну с одной, оставшейся в памяти, детали. Где-то в середине 70-х годов, сереньким ленинградским днем я шел по Аптекарскому острову. Проходя мимо какого-то НИИ, я увидел сквозь широкие стеклянные двери плакат в вестибюле: «Сегодня – единый политдень». Мое поколение помнит, что значили эти слова: в этот день, в определенный час, во всех учреждениях огромной страны, от Камчатки до балтийских вод люди должны были слушать что-то о постановлениях очередного съезда или пленума КПСС.

Вот в такой единый политдень, длящийся дольше века, и пыталась превратить нашу жизнь советская власть. Сразу скажу: ей это не удалось. Не удалось, потому что возникло упорное сопротивление всему этому, сопротивление не политическое, а культурное. Появилось то, что впоследствии перестроечные журналисты назвали «андеграундом», а мы называли «второй культурой». Благодаря ей, те далекие 70-е и первая половина 80-х годов не вспоминаются сейчас как залитые глухой серой краской. Наоборот: в ленинградском «андеграунде» шла интенсивная жизнь: квартирные выставки живописи и художественной фотографии, выставки, разрешенные властью из тактических соображений (в ДК им. Газа и в ДК «Невский»), религиозно-философский семинар Татьяны Горичевой и Виктора Кривулина и, конечно, самиздат.

Именно в Ленинграде возникло явление, которого не было ни в Москве, ни в других городах – самиздатская периодика. Если в других городах и появлялось нечто подобное, то быстро исчезало, а в нашем городе некоторые журналы, например «Часы» существовали более 10 лет. Об этом можно узнать в справочнике «Самиздат Ленинграда» (М., 2003), а я здесь расскажу о двух самиздатских журналах: «Диалог» и «Обводный канал». Издания эти составлялись и редактировались моим другом Кириллом Бутыриным и мною, но главная роль в этом деле принадлежала Бутырину.

Первым нашим журналом был «Диалог». С 1979 по 1981 год вышло 3 номера. Возник «Диалог» из переписки между мной и Бутыриным по актуальным для нас и не только для нас темам: таким как либерализм и демократия, национальное самосознание, вера и неверие. Обсуждались также события культурной жизни, имевшие общественный резонанс, например выставка Ильи Глазунова в Манеже. Впоследствии Кирилл Бутырин так охарактеризовал наше издание: «Журнал обращался к жанровым формам, предельно открытым для желающего (обмен письмами, “круглый стол“, реплики). Характерен был и сам состав участников – людей в целом далеких от “центровой”, если можно так выразиться, жизни тогдашнего “андеграунда” и просто новичков в литературе, хотя уже и не юношей по возрасту» (Бутырин К.М. У истоков «Обводного канала» // Самиздат: по материалам конференции «30 лет независимой печати. 1950–80 годы». Санкт-Петербург. 25–27 апреля 1992 г. – СПб., 1993. С.126).

Пожалуй, самой важной «акцией» журнала была анкета об отношении к творчеству Александра Блока, проведенная в связи со 100-летним юбилеем поэта и помещенная в 3-м номере. Анкета эта была в 2011 году републикована в сборнике «Александр Блок. Исследования и материалы», (издание «Пушкинского дома») с предисловием Кирилла Бутырина и моими справками об участниках. Кто же были эти участники? Это, прежде всего, поэты: Тамара Буковская, Татьяна Вольтская, Елена Игнатова, Юрий Колкер, Виктор Кривулин, Юрий Кублановский, Александр Миронов, Олег Охапкин, Сергей Стратановский, Владимир Шенкман; а также прозаики: Борис Иванов и Федор Чирсков. Также на вопросы анкеты ответили критик Андрей Арьев, книговед

и организатор неофициальных «Гумилевских чтений» Иван Мартынов, фольклорист и литературовед Георгий Левинтон, искусствовед Виктор Антонов, бывший узник сталинских лагерей и «частный мыслитель» Юрий Динабург. Эксперимент оказался удачным, и мы, впоследствии, повторили его в связи с юбилеем Хлебникова в нашем новом журнале «Обводный канал».

После 3-го номера «Диалога» мы осознали, что можем выпускать «толстый» машинописный литературно-критический журнал. Им стал «Обводный канал», выходивший с 1981 по 1991 год. Вышло 19 номеров, но я лично имел отношение только к первым 10 номерам. Эти 10 номеров выставлены сейчас в Интернете и желающие могут с ними ознакомиться. Почему появилось такое название – «Обводный канал»? Во-первых, я жил тогда и живу сейчас рядом с Обводным каналом, вблизи старых рабочих районов Петербурга. Урбанистический колорит этого района отразился во многих моих стихах. Во-вторых, название это показалось нам символичным – символом маргинальной непризнанной культуры.

Основными разделами журнала были: «Поэзия», «Проза», «Философия», «Литературная критика», «Экология культуры». Эпизодически появлялись и другие рубрики. Я не буду давать здесь обзор журнала, а отвечу на часто задаваемый вопрос: «Было ли все это опасно?» Да, было опасно, приходилось соблюдать некоторые правила конспирации, была попытка внедрить к нам провокатора. И это при том, что занимались мы исключительно литературой и искусством.

Думая над тем, какой материал из наших журналов дать для публикации в «Волге», я выбрал переписку о либерализме между мной и Кириллом Бутыриным, помещенную в 1-м номере «Диалога». Мне кажется, что эта тема не потеряла актуальности и в наши дни.

P. S. «Обводный канал» размещен на сайте: http//samizdatcollections.library. utoronto.ca

## Переписка Сергея Стратановского и Кирилла Бутырина

### *В защиту либерализма*

Дорогой К...

В наших с тобой разговорах мы неоднократно поднимали одну важную тему – тему либерализма. Мое письмо есть попытка насколько возможно ясно очертить свои взгляды по этому вопросу. Начну с некоторых собственных наблюдений. Слова «либерализм», «либерал» давно стали в русском языке словами-жупелами. Сейчас даже явные либералы по образу мыслей боятся этих слов и предпочитают называться демократами или как-нибудь еще. Назваться либералом – стыдно, так же стыдно, как публично признаться в каком-либо своем физическом недостатке. С юношеских лет мы привыкли к тому, что либерал это что-то бесхарактерное, аморфное, в высшей степени жалкое, что это всегда «применительно к подлости» и «ну, хоть что-нибудь» – пустозубые, щедринские формулы, которые нам когда-то вдолбили вместе с таблицей умножения. Сразу вижу твое недовольное лицо: «Причем тут Щедрин! Причем тут школа! Я ведь с совсем другой точки зрения...». Знаю, что с другой, но мы ведь не властны над языком, над подсознанием. Если в русском языке, в отличие, скажем, от английского, слово «либерал» получило отрицательный ореол, то это невольно влияет на наш образ мыслей, здесь язык уже «подумал» за нас и идти против языка, против устоявшегося стереотипа – трудно.

Так было не всегда. Во времена декабристов эти слова – либерализм, либерал – звучали по-иному, в них был привкус боевого металла, затем исчезнувший. Но не будем углубляться в историю и прослеживать, какими путями эти слова-идеи потеряли свой

былой престиж. Тема у нас сейчас иная, попытаться выяснить, что же такое либерализм, в чем его пафос, в чем его идея. Но прежде всего о том, что же подпадает под понятие либерализма, либерального сознания?

Сейчас много говорят о «правах человека». Либерализм ли это? Да, «права человека» – это либеральная идея par excellence. Говорят о веротерпимости, о том, что государство не должно вмешиваться в религиозную жизнь. И это тоже либерализм, т.к. для либерала «религия – частное дело каждого» – лозунг, разумеется, неприемлемый, как для религиозного сознания, так и для воинственно-атеистического. Либерализм – это идея свободы личности, суверенитета личности относительно государства и любых других общественных институтов, желающих отнять этот суверенитет. Каковы же **исторические корни либерализма?**

В свое время П.Б.Струве пытался доказать религиозное происхождение либеральной идеи. Он, в частности, вслед за Масариком, ссылался на англо-американского проповедника XVII века Роджера Вильямса, основавшего в Америке город Провиденс, где могли жить люди всех вероисповеданий. Но веротерпимость – это еще не либерализм. Либерализм для меня – детище XVIII века, века Просвещения. Либеральная идея – одна из эманаций просветительской идеологии, и у этой идеи есть близкая родственница, с которой ее часто путают, хотя они тайно враждебны друг другу. Эта родственница зовется демократией, демократической идеей. Не в этом ли смешении причина того, что современные либералы (в России) предпочитают называть себя демократами. Либерализм отстаивает суверенитет личности, демократизм – суверенитет большинства, суверенитет народа. Такой последовательный и ярый демократ как Руссо совершенно игнорировал либеральную идею. Демократический принцип обожествляет так называемую **«волю** народа», волю большинства, последовательно проведенный – он не интересуется личностью. Хрестоматийный пример: афинская демократия, осудившая Сократа. Недаром один из первых теоретиков либерализма Бенжамен Констан четко различал «древнюю» свободу и «новую», противопоставляя суверенитет личности суверенитету народа[1].

Но я уже слышу твой протестующий голос: «Всё, мол, очень любопытно, но в чем же пафос либерализма? Свобода, личность – ведь всё это пустые, формальные идеи. Что такое эта свобода и эта личность?» И вот тут я неожиданно соглашусь. Да, идеи, вдохновляющие либерализм, – это чисто формальные идеи. Пафос либерализма – это формальный пафос и именно поэтому он чужд русскому сознанию. Вспомним Достоевского. Отсутствие чувства формы в России Достоевский считает достоинством, я склонен думать, что это скорее недостаток. Форму мы не любим, нам подавай субстанцию, основу всех вещей, фалесову воду. А что такое личность, свобода? Пустота, почти ничто, мэон платоновский. Европейский пафос формы нам чужд. Нам неприятна та интуиция формы, которая пронизывает европейский быт, европейскую политику и многое другое в Европе. Я считаю неким аналогом либерального сознания этическую философию Канта. Кант впервые выступил с обоснованием чисто формальной, автономной этики. Сфера этики есть сфера долга, сфера не действительного, а должного. Кантовское этическое сознание – мэонично, это область потенциального бытия. Наше русское самосознание в основном субстанционально, нам нужна, повторяю, фалесова вода, идеология, идеи.

Нынешняя критика Солженицыным Запада исходит из того, что в западном обществе нет общей идеи, нет идеала. Будучи прав в частностях, по-моему, он не прав в основном. Общая идея у Запада есть, но она формальна и как форма она вошла в плоть и кровь западного человека. На этом кончаю. Надеюсь на твой ответ.

С...

[1] Такое различение демократии и либерализма является достоинством книги Бердяева «Философия неравенства».

***Против либерализма***

Дорогой С...

Итак, поговорим о либерализме и, может быть, нам удастся лучше понять его природу. Мне понятно твое желание говорить о либерализме всерьез, пробиться к его смыслу, к его идее, не попадая в плен поверхностных эмоциональных ассоциаций, увы, сопутствующих понятию либерализма в русском языке и, следовало бы добавить, в русской истории. Однако, **отрицательные ассоциации не совсем случайны**, и язык, за которым, как справедливо ты отмечаешь, стоит подсознание, не так глуп, вынося приговор интересующему нас явлению.

Что же, желчь Щедрина так окрасила русский язык? Или, наоборот, русский язык и стоящая за ним историческая традиция подсказали Щедрину (и не ему одному, а Некрасову, Толстому, Достоевскому, К.Леонтьеву) одно из самых обидных слов для его бесноватой сатиры? Склоняюсь в пользу последнего предположения. Беру наугад один из многих энциклопедических словарей второй половины XIX века (Словарь, изданный М.И.Березиным, СПб., 1874 г.): «Либерализм, свободомыслие, приверженность к свободе», etc. etc. и в заключение: «У нас (sic!) слово **либерал** принимается часто как синоним вольнодумца, а **либерализм** переходит в **либеральничанье**, жалкое хвастовство на словах такими политическими и общественными теориями, которые никогда не проводятся в практику, а мнимые либералы в жизни нередко отличаются низкими и деспотическими поступками».

«Так было не всегда», – говоришь ты и напоминаешь о декабристах, во времена которых в слове либерал был «привкус боевого металла». Вполне возможно, но вот, например, современник декабристов и друг «боевого металла» Д. Давыдов уже слабо чувствовал этот привкус, когда писал:

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.

Здесь либерал – красивая **роль**, которую готов **играть** («корчить») на социальном театре «всякий». Доступность роли компрометирует ее содержание.

Так или иначе язык наш предубежден против либерализма. Всё это я говорю не для того, чтобы взять родную речь в союзники в нашем диалоге: я хочу лишь подчеркнуть, что язык не должен быть помехой в анализе понятия, скорей наоборот, помощником.

Следовательно, мы встречаемся с проблемой либерализма, находясь в определенной, не нами выбранной, языковой ситуации, являющейся модусом ситуации более глубокой, а именно – экзистенциально-почвенной. Имеем ли мы право абстрагироваться от языка и «почвы», говоря о либерализме? Полагаю, что нет.

Но, осознав нашу вовлеченность, мы можем позволить себе в интересах «ratio» и отвлечься временно от некоторых мучительных сторон проблемы, расчленить ее. Вот почему мне представляется целесообразным говорить **отдельно о либерализме в России** (это и есть, пожалуй, самый мучительный аспект) и отдельно – о либерализме **на Западе, точнее, либерализме как мировом явлении**, что, впрочем, **не означает**, что по линии либерализма проходит водораздел между Россией и Западом, что либерализм есть отличительная особенность западной цивилизации, тогда как антилиберальные тенденции определяют характер русского мира. Конечно либеральная идея произросла на западноевропейской почве, обязана своим возникновением некоторым особенностям исторического быта Запада, единолично унаследованным им (Западом) в свою раннюю пору **от греко-римского мира**, например, римскому праву, но именно **в России либеральная идея принесла – пусть с запозданием – диковинные плоды, которые во многом проливают свет** на «тайну либерализма» (как сейчас снова становится модным выражаться).

Но по порядку. Здесь, в первом письме, я попытаюсь говорить о либерализме как мировом явлении, точнее, о **духе либерализма**, как он выразился в западноевропейской истории **нового** времени.

Либерализм, заявив о себе в XVII-XVIII веках в качестве определенно выраженной политической и экономической доктрины («laissez-faire»), в XIX веке, по мере реализации отдельных пунктов своей программы, терял определенность очертаний, дробился, сливаясь с другими общественными течениями. Погрузившись в эмпирию политической, парламентской и партийной борьбы, либерализм в разных странах Европы наполнился – в зависимости от местных условий и соображений партийной тактики – различным содержанием, зачастую противоположным[1]. Либерализма как единого течения (каким стал социализм, например) в XIX веке не существует. Приблизительно к концу Первой мировой войны становится ясным для многих, что: 1) экономические принципы либерализма нигде не смогли осуществиться в чистом виде, они стали анахронизмом; 2) в политической жизни последовательный либерализм почти повсеместно теряет популярность, более того, воспринимается как ретроградная сила, например, в Англии; 3) в интеллектуальной сфере **либерализм не выступает** (и, по-видимому, не может выступать) в качестве самостоятельной, законченной доктрины, на что имеются серьезные причины, о чем речь впереди; он лишь придает окраску, привкус другим учениям.

Однако в дальнейшем либерализм отнюдь не сходит со сцены. Напротив, отказавшись от **практического** приложения многих из своих идей, он в XX веке, особенно в период II Мировой войны и после, переживает своего роде второе рождение, но уже в чисто интеллектуально-словесной сфере. В этом есть своя логика. В историческом отношении то, что Запад, в малой его части, находился, начиная с 30-х годов, в состоянии конфронтации, а затем войны с тоталитарным «Новым европейским порядком» (и главное: победил! а победителей не судят), а затем был вынужден противостоять другой тоталитарной системе, подняло репутацию либерализма, воспринятого в качестве философии «открытого», т.е. «**западного общества**»[2] и, напротив, **скомпрометировало** в глазах интеллигентной массы Запада теории, подвергавшие критике, справа или слева, традиционные ценности Запада. Это историческая причина того, почему в 40-е годы либерализм всплывает на поверхность[3].

Но и независимо от нее сам по себе либерализм, освободившись к этому времени от ветхой плоти экономических программ (двухсотлетней давности), от необходимости вести утомительную политическую борьбу[4], почувствовал себя гораздо увереннее и легче, так сказать, взыграл духом. Одним из признаков духовного освежения либерализма может служить стремление **к философскому осмыслению своих религиозных и политических предпосылок**, что, как мне кажется, сближает его с современным персонализмом. Вообще, функции этого «нового либерализма» в жизни современного Запада достаточно обширны и тонки, порой неуловимы для глаза русского наблюдателя, но я не рискую углубляться в разговор о **современном** либерализме, хотя бы из-за недостатка информации.

Заканчивая этот беглый исторический обзор, еще раз напомню, что моя тема – это **дух либерализма**, не в современном его, сугубо «бесплотном» состоянии, – а каким он (либерализм) был в зрелый, классический период своей истории, т.е. в XVIII-XIX веках, когда существовал в конкретном единстве слова и действия.

Я исхожу из убеждения, что **дух либерализма**, будучи универсальным феноменом, является вместе с тем одной из главных разновидностей (наряду с марксизмом и анархизмом) еще более универсальной духовной тенденции (если угодно, болезни) **нового в**ремени – **нигилизма**, в том смысле, как понимал «нигилизм» Ницше.

Попытаюсь показать это, начав с того, что ты считаешь либеральной идеей par excellence – с

---

[1] Например, в Англии во 2-й половине XIX века либеральная партия выступала против фабричного законодательства, а в России либеральная пресса боролась за фабричное законодательство (оппонируя Каткову и Мещерскому). (Пример из статьи П.Б.Струве).

[2] То, что отождествление «открытого», «либерального» общества с западным является натяжкой, по-моему, очевидно.

[3] Хорошей иллюстрацией может быть история создания книги К.Поппера «Открытое общество и его враги»: с 1938 по 1945 год! (см. авторское предисловие к книге).

[4] Либеральных партий совсем не заметно в послевоенной Европе, а если сохранились, то крайне немногочисленны (Англия, Италия, ?).

«прав человека». Кстати, с последним утверждением мне трудно согласиться – ведь и христианство, и, в известной мере, консерватизм, как высокий антипод христианства, гораздо серьезнее утверждают «права человека», закладывают онтологический фундамент для человеческого достоинства и свободы, для подлинного права, хотя, конечно же, мало говорят о собственно «правах». Поэтому, соглашаясь с тем, что идея естественных, неотчуждаемых прав человека является основой политической философии либерализма, ее сердцевиной (хотя и заимствованной), я бы уточнил: «права человека» – это raison d'être либерализма. Без этой приятной для самомнения человека, оказавшегося в состоянии потерянности, идеи либерализм давно бы потерял право на существование. Но что такое сама идея «прав человека», взятая отвлеченно, оторванная **от своего онтологического основания**, не свидетельствует ли она об изначальной ограниченности либерализма?

Права человека не «провозглашаются»: они или существуют изначально и независимо от намерений человека, а он реализует их, если достоин, или же утверждаются в человеческом действии, вопреки реальности, из ничего. Так, свобода личности или религиозно санкционируется, или завоевывается человеком, но наивно, а, пожалуй, и недобросовестно выводить ее из естественного состояния человека. Теория «естественного права», послужившая юридической опорой для «Декларации прав человека», по сути дела, подвергла секуляризации божественный закон, как основу человеческого права. **Естественное право – это секуляризованное божественное право.** В этом отношении «историческое право» (*производное* консервативного сознания) и «революционное право» (*элемент* «левого сознания»), хотя они и вне религиозной **правды**, подлиннее, естественнее «естественного права» (прости мне этот каламбур), способствуют активности человека, в том числе и религиозной, тогда как «естественное право», давая человеку естественные гарантии, угашает эту активность. Либерал надеется задешево, а то и даром, получить то, что требует подвига: физического и нравственного. Человек долиберальной эпохи конкретно знал, что такое личная свобода, свобода совести, право собственности etc. и обладал ими без апелляции к «естественному праву», просто в силу завоевания, если угодно – «по праву сильного». Разумеется, не все и не в равной степени обладали этими правами, но для нас должно быть важно то, что права и свободы действенно существовали, а не были открыты авторами «Декларации». Заслуга либерализма только в том, что уже достигнутые, исторически воплотившиеся (т.е. везде своеобычные) права, он, так сказать, унифицировал и объявил всеобщим достоянием.

Провозгласив **политическое равенство** индивидуумов как существ, обладающих прирожденной свободой, теоретики либерализма не освободили «человечество», а лишь внушили ему ложное, преувеличенное представление о человеке, о его положении в мире. Этот демагогический, чисто адвокатский жест свидетельствовал о глубокой **безответственности** (равно как и безмерной самоуверенности) авторов «Декларации прав человека и гражданина», – безответственности перед силами религии и истории. (Безответственность по отношению к объективным началам бытия – характерная особенность либерального сознания.)

Действительно, если рассматривать «Декларацию прав» как своего рода **этический постулат**, то никаких новых **моральных горизонтов**, по сравнению хотя бы с Евангелием, она нам не открывает, однако, благая весть о свободе и достоинстве человека, подтвержденная жизнью, смертью и воскресением Богочеловека существенно отличается от той же вести, декларированной Мирабо и Робеспьером в соседстве гильотины.

Если же видеть в «Декларации прав» историческую перспективу, намеченную для реализации ее человеком в близком будущем, то можно было догадаться, что достижение политического равенства должно привести к борьбе за равенство социальное и экономическое, т.е. к цепи войн и революций, к войне всех против всех. Недальновидность и безответственность писателей, подготовивших своей либеральной проповедью Великую Французскую революцию, обнаружилась очень скоро, когда новый революционный порядок потопил в крови провозглашенные им же права человека, принеся их в жертву правам гражданина, нуждам и требованиям гражданского общества.

Либеральное сознание оказалось в затруднительном положении, но оно находит в**ыход** из него, заявив, устами Б. Констана, что эксцессы революционного процесса проистекают из не-

понимания разницы **между античным идеалом свободы**, к восстановлению которого были направлены усилия вдохновителей революции (Руссо, Мабли), и новоевропейским **идеалом индивидуальной свободы**, которая и была главной целью либерального сознания. Для Констана цель государства – свобода личности. «Под свободою, – говорит Констан, – я разумею торжество личности как над авторитетом, который вздумал бы **управлять с помощью деспотизма**, так и над массами, которые присвоили бы себе право подчинять меньшинство большинству». Что это? Мудрость, пришедшая в испытаниях, или еще одна красивая адвокатская фраза? Сдается, что это мудрость задним числом, либеральные поправки к демократическому проекту, выношенному теоретиками «Века Просвещения» и реализовавшемуся в виде Великой Французской революции. Не случайно ты называешь Констана «первым теоретиком либерализма», что в известной степени не согласуется с твоим общим тезисом («Либерализм – детище XVIII века – века Просвещения»). По-видимому, как это ни скучно, нужно говорить о либерализме в широком смысле слова («учение, благосклонное к самому полному и самому свободному развитию индивидуума и движение за уничтожение законов, институтов и верований, которые препятствуют этой программе» – Encyclopaedia Brit.), – «Декларация прав» вполне выражает дух этого либерализма, и о либерализме в узком смысле, либерализме как специфически постреволюционном феномене, т.е. таком либерализме, который, стремясь оградить индивидуум от эксцессов общественной и исторической реальности, идет еще дальше Просвещения **по линии абстрагирования человека, превращения его в политически-юридическую схему**. Первым теоретиком этого либерализма можно считать Констана. Впрочем, нельзя не видеть и условности этого разделения и того, что между первым и вторым либерализмом различия несущественного, временного порядка, общность их в главном.

В связи с этим (и возвращаясь к тексту твоего письма) позволю себе сделать одно возражение. **Противопоставление** либеральной идеи – демократии мне кажется надуманным. Конечно, различения необходимы, но не в такой степени, чтобы не видеть общего. Отдадим античности патент на идею демократии, но признаем, что ни античность, ни средневековье не знали оппозиции: либерализм – демократия; признаем за Новым временем приоритет в открытии либеральной идеи, но согласимся, что в рамках идеологической системы Просвещения и либерализм, и демократические идеи существовали в слитном, не противопоставленном друг другу виде. Если и было различие, сказавшееся позднее и пригодившееся Констану, так это различие двух национальных традиций. Родина либерализма – Англия, почти со времен Великой хартии вольностей, античная же – по своему генезису – идея демократии заново родилась во Франции XVIII века и пустила глубокие корни в этой стране (1789, 1830, 1848, 1871 гг.). Констан, как, впрочем, и Хомяков, был англоманом в своих политических вкусах.

Далее: противопоставление либерализма демократии происходит у тебя за счет известной дискредитации последней, путем приписывания ей черт тоталитаризма (и даже вины в смерти Сократа)[1], что вряд ли справедливо. Демократия не ставит суверенитет общества над суверенитетом личности, не делает своей **целью** подчинение личности обществу, она всего лишь стремится оградить общество от тиранических посягновений отдельной личности или группы личностей. Мысль о суверенитете народа имела в XVIII веке и позже антимонархическую направленность[2]. Вообще, демократия, в отличие от «прав человека», «свободной личности» не является абсолютной целью, демократия (народоправство) – лишь общественно-политический инструмент, и в этом ее трезвый, практический, честный смысл. Конечно, во Франции XVIII века, имевшей мало

[1] Несколько слов относительно «афинской демократии, осудившей Сократа». Думаю, что, во-первых, Сократа осудила не демократия, а здоровый религиозный консерватизм афинян, демократия же была его нейтральным орудием. (А где в Элладе Сократ мог рассчитывать на более мягкий, «либеральный» приговор? В Спарте?) Во-вторых, верный сын афинской демократии, Сократ отнюдь не был и не мог быть либералом (в роли «либералов» выступали скорей софисты) и не считал приговор несправедливым. Смерть Сократа трагична, что означает, что в его истории нельзя искать правых и виноватых. Конечно, большое жюри где-нибудь в Лос-Анджелесе оправдало бы Сократа, но зачем же насиловать историю?

[2] Разве в обеспечении конституционных гарантий против «авторитета, который вздумал бы управлять деспотически» не полагал Констан одну из задач государства?

общего с Афинским полисом, учение о демократии, столь органичное в Афинах эпохи Перикла, приняло под пером теоретиков века Разума черты «рационалистической утопии» (выражение Новгородцева), что и привело к печальным последствиям, но, согласись, что и учение о либеральном государстве, главной целью которого является свобода личности, не менее утопично.

Опыт большинства стран западного мира, прежде всего США, показал, что демократия и либерализм взаимодействуют, взаимодополняют друг друга. Скажем просто: пресловутая буржуазная демократия это и есть либеральная демократия. Как бы то ни было, либерализм самоопределился в качестве реакции на демократическую революцию, на ее эксцессы. Но реакция эта не была ни очищающей, ни плодотворной. То была не **μετάνοια**, а ряд поправок, еще более укрепляющих либеральное сознание в его самодовольной ограниченности.

Более глубокий и плодотворный характер носила романтическая реакция на французскую революцию. Потрясенные крайностями революции, фантастическим сочетанием в ней правды и лжи, свободы и насилия, молодые романтики (поначалу сплошь либерально настроенные) пережили великий духовный перелом и обрели новое зрение, позволившее им не только оценить по достоинству ценности долиберальной эпохи, но и увидеть человеческую жизнь в новых измерениях. Так была открыта история, жизнь народа, жизнь нации. Прав Ф.Степун, видя в романтизме момент «**самосознания** культуры». Либерализм фактически не участвовал в этом великом **духовном** (в отличие от Французской революции) перевороте Нового времени, хотя в качестве всепроникающего духа, **веяния** времени и наложил на все открытия романтизма свою печать. **Духовная** работа либерализма в это богатое творчеством время заключалась в сохранении и приспособлении к новым условиям принципов XVIII столетия, практическая – в благоустройстве европейского быта, иначе говоря, в превращении культуры в цивилизацию. Вместе с принципами либерализм XIX века унаследовал и характерные пороки старого, дореволюционного либерализма: безосновность, безответственность, абстрактное понимание человека и формально-механистическое – общества. К этим старым порокам прибавились и новые, порожденные – по видимости незаметной, но сущностной по своему характеру – оппозицией к новым измерениям человеческого существования, открытым романтиками, например, к истории. На этом моменте я бы хотел остановиться подробнее.

Для либерализма всегда была камнем преткновения история, как таковая, как действительность, не желающая согласовываться с отвлеченными политическими и моральными принципами. Иррациональная игра исторических сил, насилие и несправедливость, господствующие в истории, приводят в смущение либеральное сознание. В истории все не так, как хотелось бы. В XVIII веке либерал чувствовал себя еще сравнительно уверенно перед лицом (прежней) истории, верша над ней суд с позиций просвещенного разума (Вольтер, Гиббон). В XIX веке, когда разум, после романтического переворота в философии и истории, как бы вошел в исторический процесс, слился с ним, либерализм уже не может с легким сердцем третировать историческое прошлое: либерализм или «снимает» кошмар **исторической реальности**, дистанцируясь от нее с помощью «объективной» **исторической науки**, или расчленяет историческую плоть на положительные и отрицательные элементы, и из положительных строит лесенку, по которой можно подняться в цивилизованный XIX век (теория исторического прогресса), – метод не столько научный, сколько, я бы сказал, поэтический, ибо поэту позволительно вживаться в вырванные из исторического потока лица и события, как бы примеривать их к себе, ходить то в маске Сократа, то декабриста, то Томаса Мора (элементы для масок отбираются, как правило, положительные). Впрочем, и поэт не застрахован от риска впасть в плоский аллюзионизм, враждебный искусству, и мы с тобой не раз, помнится, отмечали, что аллюзионизм в поэзии – верный признак либерального сознания.

Но главным всё же в этой инстинктивной оппозиции духу истории является стремление воспринимать прошлое в аспекте знания, *а* не в аспекте собственной судьбы. Последнее подразумевает ответственность индивидуума – как если бы он был соучастником – за все случившееся с его общностью (кровной, культурной, религиозной) в прошлом и готовность к возмездию и борьбе в настоящем и будущем.

Психологической предпосылкой требования (или провозглашения) основных прав служит убежденность того, кто требует, в своей невиновности, незапятнанности, – противоположностью

такой настроенности является религиозное переживание изначальной греховности человеческой натуры. (Преступник не может требовать положительных прав: он или берет, или просит о снисхождении.) Те, кто претендовал на абсолютные права для человека, провозглашая его высшей ценностью бытия, невольно должны были обособить, отчудить человека от компрометирующего его исторического прошлого, представлявшегося «стоком нечистот, где кишат преступления, совершенные родом человеческим» (Мерсье). Мысль М.Фуко, что человека открыли или придумали (не помню точно выражения) в XVIII веке, только внешне парадоксальна: думаю, что его, действительно, если и не придумали, то по крайней мере пытались создать заново, ибо история не могла не связывать моральную инициативу либерального сознания. Либерально-философское движение, зародившееся в XVIII веке и пожавшее первые зрелые плоды во Французской революции 1789–1794 гг., по своему содержанию было грандиозной травестией события, произошедшего в Вифлееме на рубеже древней и новой эры, – попыткой самостоятельного рождения Нового Адама. Французская революция в основе своей имела, в отличие от русской, гуманитарный, персоналистический, и тем самым либеральный смысл. Она открывала **эру человека**; в этом, кстати, заключался секрет ее первоначальной притягательности для германской философии[1].

В результате прошлое, отделенное резкой гранью от настоящего и будущего, становилось безопасным, превращалось в мертвый объект исторического исследования. Любопытно сравнить суровое, недоброжелательное отношение к прошлому (к старой эре) марксистской исторической науки, – и это при том, что пролетариат, согласно марксистской догме, обязан своим успехом «исторической закономерности», – с доброжелательной терпимостью либерального объективизма в историографии, хотя в основе этого объективизма – эмоция страха, недоверия.

Так или иначе расцвет исторической науки в XIX веке, явившийся одним из следствий романтической реакции на Век Просвещения, мало принес «пользы» для жизни, как становящейся истории, – гораздо больше «вреда» (в Ницшевском понимании). Идея истории была открыта в качестве антитезы либерализму, но плоды этой идеи пожинала на протяжении XIX века (вплоть до возрождения консервативного духа) либеральная историография во всех ее разновидностях. По сути дела, **идея истории** как тотальности и судьбы была подчинена **идее прогресса** как весьма произвольного **отбора** (всего «ценного» и «гуманного» в истории) и **совершенствования** человечества.

Прогресс достаточно опошленное, особенно в наших условиях, понятие, которым предпочитают не пользоваться серьезные социологи, и всё же о нем уместно вспомнить, потому что в генезисе либерализма он играет не последнюю роль. Уже в самом противопоставлении новой эры, «эры человека», разумом полагающего свои **естественные** права, – старому времени, времени бес-правия и пред-рассудков, даже в противопоставлении «новой свободы» – свободе «древней» (Констан)[2] в скрытом виде присутствовала идея прогресса, или, скажем проще, перехода от худшего к лучшему, от несовершенного состояния человечества к более совершенному. (Какая ирония в том, что создатель первой развернутой теории прогресса, энтузиаст революции, но по партийной принадлежности жирондист[3], имею в виду Кондорсе, заканчивает свой труд в подполье, скрываясь от якобинского террора.)

Здесь, предваряя твои возможные возражения, я бы хотел подчеркнуть резкое различие между либеральным и марксистским пониманием прогресса. Дело даже не в том, что либерализм, в принципе, за мирный, конституционно оправданный переход от худшего к лучшему, тогда как марксисты – любители катаклизмов – и склонны драматизировать исторический процесс. Гораздо важнее, что для марксистов прогресс – объективная закономерность, для либералов же – свободно избираемый человеком социальный проект. Не человек зависит от будущего, но будущее от человека. Но и при этом, по-своему героическом, вызове историческому фатализму (о чем говорилось мной выше, хотя и в другой, отрицательной связи) либерализм, однако, сходится с марксизмом в более важном пункте: в антропоцентричном, внерелигиозном понимании челове-

[1] Продолжая начатую параллель, отмечу, что пафос русской революции – социальный (построение земного рая, хилиазм) и тем самым с неизбежностью антигуманитарный и антилиберальный.

[2] Свобода, значит, все-таки существовала! И это – главное.

[3] Т.е., в известном смысле, либерал.

ка. Либерально-гуманистический субстрат в антропологии молодого Маркса достаточно заметен: человек достоин лучшего существования по самой своей сущности, подвергавшейся до сих пор (т.е. до осознания этого Марксом) отчуждению. Освобождаясь последовательно от феодальных тенет, что совпадало по содержанию с либеральными реформами XVIII-XIX веков, человек возвращался к себе, к своей сущности (оставалось преодолеть последнее препятствие, чинимое из корыстных классовых интересов силами капитала). Сущность человека понималась молодым Марксом, несмотря на все его «реалистические» эскапады, не менее абстрактно, нежели мыслителями Просвещения, вдохновителями «Декларации прав». (Потому-то так легко и делались из марксизма, как теории, бесчеловечные выводы, что с самого начала здесь вместо конкретного человека вводилась фикция.)

Различие же между либералами англо-саксонского склада и молодым Марксом в том, что для первых соблюдение неотъемлемых прав – это **формальное условие** достойного существования (государство **не должно вмешиваться** в религиозную, интеллектуальную, экономическую жизнь граждан), для второго же – права человека, понятые в их содержательном аспекте, уже не просто ограда человека от посягательств со стороны внешних ему сил, но призыв к радикальным социально-экономическим преобразованиям, ибо Маркс понимал – и это делает ему честь, – что при наличных социально-экономических **условиях** декларированные права не более как красивая фраза. Следовательно, цель Маркса – создать **условия для самих прав** человека. Марксизм удвояет ошибку либерального сознания. Во-первых, принимает за истину либерально-просветительскую фикцию человека, по своей природе обладающего-де правами, во-вторых, что еще хуже, пытается путем революции построить совершенное общество, которое **реально** гарантировало бы эти права.

Стараясь, как ты можешь заметить, оттенить и достоинства либерализма, я сейчас, однако, подошел к пункту, в котором испытываю некоторые затруднения, а именно: можно ли считать достоинством непоследовательность, точнее, нежелание идти до конца, делать последние выводы? (То, в чем К. Леонтьев видел сущность либерализма)[1]. Конкретнее: можно ли быть либералом и не верить в человеческий прогресс, более того, являться противником самой идеи прогресса? Поскольку твой ответ мне пока неизвестен, обращусь за ответом к современной действительности. И она, на мой взгляд, дает нам надежные свидетельства того, что человеческое общество, в массе своей, неуклонно регрессирует, тогда как либералов, из которых многие, уверен, разделяют последнее убеждение, становится всё больше и больше. Вместе с тем, как я старался показать, либерализм и идея прогресса генетически взаимосвязаны.

Перед нами еще один исторический парадокс: если либерализм XVIII и XIX веков черпал силы в констатации прогрессивного характера развития общества, то либерализм в XX веке переживает «второе рождение» в условиях кризиса цивилизации, когда ни о каком прогрессе, кроме научно-технического, и речи быть не может. И если раньше либералами как бы само собой становились под влиянием несомненных, казалось, успехов прогресса, то сейчас, следовательно, становятся под влиянием кризиса и регресса, под влиянием страха перед зловещей реальностью и нежелания серьезно думать над альтернативой этой реальности. Тогда похоже, что либерализм, действительно, может стать философией «for all seasons».

О чем это говорит: о гибкости или, напротив, твердости либерализма, либеральной идеи? Думаю, что и о том, и о другом: о гибкости **либерального сознания** и о жесткости, негибкости, формальности принципов, лежащих в основе этого сознания. В этом нет большого противоречия. Формальные принципы, как бы хороши они не были, ни к чему не обязывают их носителей, мало того, они усыпляют человеческую волю. Та же коллизия имеет место в религиозном сознании, прежде всего, в христианстве, этической травестией которого является либеральное сознание. Хорошие принципы (заповеди) не мешают тому, кто их исповедует, совершать дурные поступки, превосходя в сих поступках и людей, не обладающих какими-либо определенными принципами, попросту беспринципных. Ибо **обладание хорошими принципами** делает человека самодовольным. Но христианин имеет возможность покаяться – либерал же не знает покаяния,

[1] «Система либерализма есть, в сущности, отсутствие всякой системы, она есть лишь отрицание всех крайностей, боязнь всего последовательного и всего выразительного». «Восток, Россия и славянство», II, 125.

поскольку нет инстанции, перед которой можно было бы покаяться в нарушении принципов «Декларации». (Правда, есть общественное мнение, по традиции либеральное...) **Я, в общем, согласен с твоим тезисом, что идея, «вдохновляющая** либерализм – чисто формальная идея», с тем лишь уточнением, что вполне формальной она стала в XX веке, прежде она бывала и содержательной.

Современный либерализм можно понимать как попытку опереться на систему ценностей формального порядка, не зависящих от исторических обстоятельств, от политической погоды. Верность некиим принципам перед лицом иррациональной к агрессивной действительности, – принципам, имеющим формально-нравственный характер, придает либерализму (западному!) черты стоической мужественности. В этом плане глубоко характерной для либерализма XX века фигурой является Хемингуэй.

Так или иначе, «формальный пафос» либерализма не делает его для меня более привлекательным. Он свидетельствует не о жизни, а о смерти, не об истине, а о пристойном суррогате ее. Пустая идея, если назвать ее формальной, не становится от этого полнее. То, что **только** формально, – то несовершенно, плохо, неистинно. Я чувствую, что начинаю говорить банальности и заодно подтверждаю твою ударную мысль о том, что «западный пафос формы чужд русскому сознанию», тяготеющему к субстанциональным началам. В этом смелом противопоставлении есть доля истины, но в целом оно несправедливо и по отношению к России, которой еще далеко до подлинной субстанциональности (отсутствие формы, слабость формы – еще не признак наличия субстанции), и по отношению к Западу, который отнюдь не только формален. Как быть с европейским романтизмом, хотя бы? С германской мистикой? С движением «хиппи» и «дзен»?

Но дело даже не в этом. Противопоставляя «формальный» Запад «субстанциональной» России, ты, видимо, невольно, по недостатку места, игнорируешь те духовные начала на Западе, которые сознательно, хотя и по-разному, противостоят либерализму: консерватизм, «левое сознание», наконец, христианство (у которого с либерализмом сложные взаимоотношения). Более того, сама форма понимается консервативным сознанием не негативно, а позитивно, содержательно (государство, порядок), подчеркивается, что в социальном аспекте форма – начало стеснительное, противоположное неограниченной индивидуальной свободе (об этом ценные мысли у К. Леонтьева).

Но боюсь, что «форма» («формальный пафос») настолько общее понятие, что его можно поворачивать в разные стороны, не приближаясь, однако, к истине. Поэтому твое обращение к спасительному якорю – этическому формализму Канта, как некоему аналогу формального пафоса либерализма, представляет большой интерес. Но этот вопрос требует специального рассмотрения. О нем, равно как и о либерализме в России, надеюсь поговорить в следующих письмах.

К...

*Данила ДАВЫДОВ*

# ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДИАЛОГА:
## *О творчестве Бориса Фалькова*

Имя Бориса Викторовича Фалькова (1946–2010) известно и неизвестно читателю: его романы, повести, рассказы (в меньшей степени – стихи) изданы, о нем комплиментарно говорили патриарх Серапионовых братьев Вениамин Каверин и выдающийся филолог Борис Гаспаров, бунтарский мыслитель Александр Зиновьев и тонкий писатель Сергей Юрьенен, но критические отзывы о Фалькове немногочисленны, по крайней мере в русской периодике, да и многие его произведения появились на языке оригинала позже, чем в немецком переводе и будто бы попали в какое-то слепое пятно интерпретации, оказались вытеснены на обочину восприятия. Писатель, говоривший о себе: «Политических взглядов нет, религиозных убеждений тоже. Есть религиозные сомнения», оказался вне групп и партий, и редкие попытки приписать его куда-либо оборачиваются скорее конфузом (так, Борис Хазанов говорил о работе американского слависта, специалиста по русской эмигрантской литературе Джона Глэда: «Под шапкой “Эстеты” несколько насильственно объединены Синявский, Саша Соколов, Ковалев, Фальков и автор этих строк»[1]).

Писателя уже нет с нами, а прочтение – причём сквозное – его произведений остается актуальным. Возможно, оно поможет понять некую принципиальную неуловимость фальковской литературной метапозиции. Полистилистичность текстов Фалькова не может не обратить на себя внимание, именно она во многом служит и движущей силой повествования, и своего рода структурным барьером, становящемся на пути ленного сознания воспринимающего. Пародичность по отношению к постмодернистской деиерархизированности, казалось бы, должна в фальковских текстах бросаться в глаза, однако перед нами работа на нескольких уровнях, и то, что на одном явлено нарочитой гипертрофией приема, на другом предстает необходимым конструктивным основанием всей художественной работы.

Дело здесь отчасти в статусной многозначности, в ориентации на чрезвычайно широкий диапазон претекстов и даже, точнее сказать, стоящих за претекстами заинтересованно учитываемых автором метанарративов, «больших историй» предшествующей культуры. Прочитанный изнутри постмодернистской ситуации, как ни понимай ее, подобный подход неизбежно ведет к деформации истинной картины, и это значимо как для целого, так и для отдельно взятых стилеобразующих аспектов фальковского письма. Так, разрывность, фрагментарность, отступления, вставные конструкции – комментарии, новеллы, стихотворные отрывки, цитации и квазицитации, проступающие внезапно чужие голоса – отсылают к принципу монтажа; однако определение текстов Фалькова как монтажных потребует, как минимум, уточнений. Традиционный взгляд на монтажность как на прием сугубо авангардный (какие бы не находились контрпримеры, от Стерна до Толстого) здесь будет верен лишь отчасти. Влияние русского футуризма и околофутуристических движений не только на поэзию Фалькова (им самим признаваемое: «Среди них особо ценные, кости бедного рыцаря-меченосца Хлебникова. Но рада ли этому земля? Нет. Она буйно радуется другим певцам <...> А ведь кости Хлебникова куда, казалось бы, звучнее прочих. Тогда, в 66-ом, я впервые осознанно прогремел его костями как своими собственными. И сегодня снова делаю то же. Пусть никого не обманывает иное звучание вновь прокатившегося того же грома, искажённое обличье повернувшихся к самим себе песен. Перевернувшихся? И это пусть...»), но и на его

[1] Хазанов Б. Отечество изгнанных // Знамя. 1999. №12. Цит. по: http://magazines.russ.ru/znamia/1999/12/hazanov.html

прозу ждет своего вдумчивого и кропотливого исследователя, но для начала необходимо констатировать само наличие такого влияния, которое само себя перерастает, становится своего рода формой прочтения предшественников через последователей, как призывал делать Хорхе Луис Борхес[1], тоже весьма значимый для Фалькова автор. Транспозиционная проза Ильи Зданевича (Ильязда), к примеру, никем не прочитана, как мало прочитан и Фальков; эта перекличка, в сущности, играет роль в понимании текстов того и другого (да и многих еще) лишь вспомогательную, необязательную, но, думается, небесполезную. Это, кстати говоря, относится ко всем претекстам, с которыми так или иначе работал Фальков (или хотя бы мимолетно их затрагивал). Монтаж у Фалькова в этом смысле предстает не формой (пост)футуристического остранения, демонстрации метонимических связей разного рода речевых рядов как взаимоуничтожающихся, снимающих самим фактом соположения смысловую определенность, – напротив, эти соположения предстают той «складкой»[2], в которую и умещается смысл.

Фердинанд де Соссюр постулировал центральный для современных лингвистики и семиотики тезис: «... в языке нет ничего, кроме различий. Более того, различие, вообще говоря, предполагает положительные члены, между которыми оно и устанавливается; но в языке имеются только различия без положительных членов»[3]. Между знаками, по Соссюру, существует лишь противопоставление. В качестве знака, можно, конечно же, понимать структуры следующего порядка.

Авангард с его переконструированием (на деле ж – снятием), постмодернизм с его уравниванием всех элементов истории и культуры оказываются лишь частными историческими формациями, которые предлагают те или иные типы соотнесения отдельных квантов реальности. В этом смысле соотнесенность произведений Фалькова (прочитанных как целостное многообразие) с той или иной стратегией будет не слишком продуктивой, постольку поскольку его монтаж есть как раз демонстрация осмысленного космоса бесконечных противопоставленностей, имеющих, тем не менее, общий структурный смысл. В этом отношении кажущийся близким принцип «differance» («различание»), предложенный Деррида, кажется всё-таки лишь механизмом самого противопоставления, но не конечным его веществом, который нащупывал Фальков.

При разговоре о фальковских текстах в связи с вышесказанным нельзя не остановиться на особой форме его диалогичности[4]. Поиск истины, рождаемой в спорах – безусловно, тезис, крайне далекий от фальковской художественно-мировоззренческой позиции. Диалогичность Фалькова порождает в первую очередь «хаосмос», пространство саморепрезентации монад, каждая из которых, собственно, не нуждается в доказательности. Приводимая героем «Трувера» притча о споре человека и клопа (понятное дело, отсылающая к «Сказке о Тройке» братьев Стругацких) и ее последующая интерпретация есть неизбежный гимн коммуникативному коллапсу, тотальной деконструкции собственно осмысленности диалога. Бахтинский полифонизм часто понимается заведомо упрощенно, как некий процесс (взятый из другой притчи) ощупывания слона слепыми, в рамках которого слепые есть носители той или иной монологической истины, собственно же смысл, многомерная истина, полифоничность – и есть сам слон во всех возможных его ракурсах, неохватываемых замкнутым, частным, ограниченным личным мнением. Однако то предположение, которое представляется более естественно вытекающим из известных рассуждений Бахтина, заключается если не в отсутствии этого самого слона, то, по крайней мере, в его принципиальной неописуемости даже при учете всех возможных способов ощупывания. Полифония недемократична, не предстает арифметической суммой всех возможных мнений, и это, кажется, то понимание диалога, которое имеет куда больше отношения к Фалькову. По сути, взаимодей-

[1] Ср. Борхес Х.Л. Предшественники Кафки.

[2] Ср. Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко.

[3] Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М.: Логос, 1998. С. 117.

[4] Уместно здесь вспомнить часто приводимую фразу Сергея Юрьенена, сказанную на Radio Liberty: «Фальков пошёл дальше Солженицына по крайней мере в одном – в многоголосии. Это человек-оркестр. Принцип полифонии он осуществил с полнотой, которую я в современной литературе не знаю».

ствие актантов, агентов воображаемого социального поля, действующих тел («Всё дело в подмене тел», – говорит другой персонаж в «Трувере»), является в текстах Фалькова своего рода ложным актом, отвлекающим маневром, некоторым поверхностным слоем псевдосущностей, симулякров, которые скрывают (покрывают, как подельника? укрывают, как преступника?) некие внедискурсивные, если не вовсе непроизносимые, то не могущие быть выговоренными до конца феномены. Именно эти феномены, расположенные то ли за, то ли между словами персонажей, вне зависимости от роли того или иного из них в конкретной книге, образуют «складочные» зоны мерцания, те области противопоставленности, в которых нет ничего словесного и ничего вещественного, а есть лишь взаимодействия сил и образуемые ими сингулярности танца, музыки, войны, жертвоприношения, чуда, тайны.

Невозможность понимания, утверждаемая как абсолютная данность, становится для Фалькова своего рода ширмой для процессов, которые, собственно, тщатся описать все участники невозможного, схлопывающегося диалога, но не могут по определению найти необходимых слов. В «Тарантелле» Александр Зиновьев видит своего рода предчувствие: «...тело Европы застигнуто книгой в его предвоенном состоянии, столь ему свойственном, столь привычном. Нужно лишь помнить, что имеется в виду не конкретная война, а всякая, и что такое состояние – перманентно. И что книга под названием “Тарантелла” сама есть преддверие войны»[1]; это предчувствие нельзя соотнести, однако, с сугубо внешним, социальным пространством, это именно фазовый переход, совершаемый в обстановке умирания осмысленности речевого жеста.

Александр Уланов тонко подметил превосходство телесного над речевым, которое оказывается ведущей метафорой романа (начинающейся прямо с заголовка): «...Фальков и опирается на пластику и музыку, речь в этих областях во многом бесполезна. Пластика движений воспроизводится очень подробно, настоящая балетная партитура для каждой мышцы». И далее: «Это именно то, что может дать пластика слова, кино не способно уловить множество рефлексий за каждым жестом. Мысли ощутимы пластически, физиологически даже. Слова тоже ощущаются и на уровне движений гортани»[2]. Танцевальное и, шире, всякое движение ближе к подразумеваемому, нежели слова. Дискоммуникация сама по себе есть потенция, ожидание войны, которая всегда стоит на страже. Безумие (безумие ли?) героини романа – так точка сингулярности, которая высвобождает ядерные силы навсегда невозможного понимания.

Вообще, за словами, вроде бы существующими в обыденном мире, в некой ожидаемой плоскости, всегда прячется нечто потенциальное, некая возможность явления силы, высшей, нежели попытки договориться с помощью негодных дискурсивных средств. Так, в «Миротворце» за квантами реальности: феноменальная давка в поездах, странная, мертвенная обстановка в родном городе повествователя, параноидальные разговоры соседа и его дочери о «мафии», захватившей город, таится та же подспудная агрессивная подлинность, более подлинная, нежели морок «обыденной жизни», и подлинность эта активизируется в эпизоде празднования годовщины освобождения города от немцев, когда официозное советское празднество превращается в гротескный бунт и провозглашение одним из районов города собственной независимости...

Или «Десант на Крит» – скандальное, сенсационное, но всё же лежащее в плоскости «посюсторонней» политики событие включает механизмы мифологического бытия, и сама стихия оборачивается против героя, и он становится неизбежной жертвой ритуала, поскольку нарушил правила того мира, где диалог невозможен, попытавшись наладить общение с недопустимым объектом. Архаическая родовая месть оказывается лишь поводом для взрыва дискоммуницированной ситуации.

Покров тайны, неистинности первого слоя реальности вообще есть у Фалькова нечто аксиоматическое, если вообще можно говорить о каких-либо аксиомах в применении к его многоуров-

[1] Зиновьев А. Преддверие войны // Фальков Б. Тарантелла. М.: Вагриус, 2000. С. 4.

[2] Уланов А. Душа и танец // Знамя. 2000. №9. Цит. по: http://www.litkarta.ru/dossier/soul-dance/dossier_6227/

невому письму. В эпоху расцвета конспирологических теорий, давших свои богатые, но далеко не всегда съедобные плоды и на ниве художественной словесности, фальковская «онтологическая подозрительность» могла бы обрести куда более широкую популярность, если бы сводилась лишь к игре в сокрытие правды некими загадочными силами, – но Фальков, разумеется, никогда не играл в этих шутовских нарядах; для него конспирологические симптомы есть лишь повод для высокой их травестии.

Определяя творчество Фалькова как «готический реализм», не стоит забывать о характере «романа тайн» как в основе своей отчасти самопародийного; в этом смысле «готичность» Фалькова ближе к «Аббатству Кошмаров» Т.Л. Пикока, нежели к Уолполу или Анне Радклиф. При этом речь не идет о комиковании, но о «трагической пародии»[1] или же – о своего рода «священной комедии» (не случайна устойчивость обращения Фалькова к Данте – «Божественная комедия» становится прототипическим текстом и для «Трувера», и в особенности для «Невских Перспектив»).

В этом смысле Фальков обращается и к сниженным, и к высоким аспектам потаенного, не прочерчивая между ними, впрочем, нерушимых границ. С одной стороны, тайноделание спецслужб, игры разведок, контрразведок, секретных организаций и закрытых обществ, теории заговора, вербовки, перевербовки и двусмысленности, трехсмысленности. Многосмысленности искажаемой профессионалами и любителями конспирации и сыска информации играют важную фабульную, да и вообще структурообразующую роль во многих текстах Фалькова. Загадочная контора в «Моцарте из Карелии», крысиный заговор в «Щелкунчиках», карнавал спецслужбистских войн и заговоров в «Трувере», все подводные камни революции и контрреволюции в «Миротворцах», – это далеко не всё, что можно вспомнить. Но, с другой стороны, за этим макабрическим карнавалом скрывается и следующий уровень, не вполне проговариваемый и познаваемый, уровень собственно тайны. Не столько манипуляции с каббалистикой и Таро («Доктор Мессионжник») или алхимическое восхождение к Праадаму и Праеве («Миротворцы», «Тарантелла»), но поиск некоторой рассыпанной, разорванной целостной картины, скорее всего недостижимой, но необходимой как своего рода Грааль: этот рыцарский мотив тоже не случаен у Фалькова.

Герои его произведений подчас кажутся изначально инертными и лишенными собственной воли, они оказываются в гуще, порой в эпицентре событий как будто случайно, однако снимающиеся один за одним ложные оболочки бытия наделяют их силой, ведут к пониманию, – но, как правило, останавливают на определенном, далеко не последнем рубеже. Главный герой, по сути дела, оказывается функцией повествования, связующей мир нитью, гибель его маловероятна, но всё-таки возможна («Горацио»). А значит, и за героем тоже стоит не только текстуальная воля, но и нечто большее. Например, род, преломляющийся в корчащемся перед зеркалом ребенке, но не открывающий своей тайны: «Глядя на себя в трюмо Ба, я будто видел лица тех тысяч, отмеченные одним знаком. Пользуясь словечком отца: знаком уродства. Несмотря на достаточное количество подчёркивающих словечко деталей: косоглазие, плоскостопие, вывороченные коленки и длинные, ниже коленок, трусы, я ещё и корчил рожи, стараясь походить на них ещё больше». («Ёлка для Ба»). Или – собственно род человеческий, телесная организация всего сущего, данная Богом («Тарантелла»). Или – собственно ритм, музыка... Автор, порождая своих двойников (альтер-эго писателя – пусть бы хоть на уровне имени, инициалов, – появляются во многих его текстах), ускользает из дольнего мира ложного говорения, невозможных диалогов, пустотных споров – к подлинному полифонизму, где располагаются его истинные, архетипические собеседники.

[1] Цололос А. «Трувер» (О романе Бориса Фалькова) // Стрелец. 1992. №3 (70). С. 159.

*Валерий ШУБИНСКИЙ*

## ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ

**Вадим Месяц Стихи четырнадцатого года. – М.: Водолей, 2015. – 254 с.**

Поэтика Вадима Месяца (а его путь продолжается уже около тридцати лет) все время казалась мне растянутой между несколькими полюсами.

С одной стороны – очень крепко слепленные, напористые, чувственные, полные плоти, динамики, темперамента, но временами, может быть, слишком плотные и напористые – в ущерб дыханию! – чисто лирические вещи.

С другой – стихи, где чувство выражается с беззащитной «наивной» прямотой – есть у Месяца и такие.

С третьей – эпические фрагменты на условной «древнегерманской» основе, псевдомифологические конструкты.

С третьей – песни (здесь Месяц всегда был особенно обаятелен).

С четвертой – тексты более холодные, отстраненные, «западные», обычно верлибрические.

Но, конечно, за всем этим стоит одна поэтическая индивидуальность. Это – проекции ее на разные плоскости.

Что же изменилось?

В новой книге, включающей стихи одного года (но их более 200 – завидный год!), происходит сближение, соединение этих проекций в рамках одного текста. И текст обретает гораздо большую, чем прежде, гармоническую объемность.

Но это не значит, что на смену разнообразию приходит единообразие. Нет – плоскости могут совмещаться самыми разными способами.

Возьмем первые стихотворения книги – почти все они из лучших.

...Детский бог умирает от горя и воскресает.
На могиле его кубики да игрушки.
В темном чулане спрятано его тело,
пять будильников его охраняют.
Палачом он служил полоумным,
зуб молочный в бисерном кисете
носил до старости. Развяжи мешочек,
посмотри, что в нем осталось!..

Более чем традиционный образ Снегурочки преобразуется в сюрреалистическую «Снегурочку-таджичку» – но причудливые образы сочетаются с бесстрашно-простодушной интонацией, с нотой мужской и детской растерянности, которая пронизывает и завершает текст и не дает ему «окуклиться», не дает внутреннему воздуху свернуться.

Только эта интонация и объединяет это стихотворение со следующим – «Град» – совсем иначе энергетически и мелодически построенным, отсылающим к 80-м годам, к эпохе нашей юности, когда еще не боялись дышать полной грудью, когда серьезная речь, не защищенная растерянной полуулыбкой или иронической полугримаской, не казалась чуть-чуть безвкусной (но Месяц такой безвкусицы никогда не боялся):

Воздух, изрытый
собачьим простуженным лаем,
уханьем в мерзлую землю
вбиваемых свай.
Ты, как дитя, очарован
пожизненным раем
и незаметно вступаешь
в безжизненный рай...

Следующее стихотворение: «Первая любовь» – сдвинутая в сон, в безумие псевдоисповедь:

...А когда началась война, мы вышли
во двор
и смотрели, как люди колонной
проносят гробы по проспекту.

В этот день ты хотела замуж еще сильнее.
Совершеннолетие мы встречали
как смерть.

И, наконец, «Пущино», где Месяц как будто отсылает нас к своим самым ранним стихам – и опять ничего не боится, даже – на грани банальности – «жарких опрометчивых слез», уравновешивающих холодновато-уверенную «сделанность» двенадцатистрочного монорима.

Это не исчерпывает вариаций нынешней поэтики Месяца. Но во всех своих ипостасях она оказывается сейчас не только более глубокой, чем прежде, но и более цельной. Мне кажется, можно говорить о неком «прорыве», о качественном скачке. Что для пятидесятилетнего поэта, конечно же, редкость.

Корни Месяца? Мне уже приходилось писать о том, что они – не только в почтенном мире Серебряного века (да, Мандельштам; да, Гумилев: «...И по-волчьи в ответ обнажив клыки, в колыбели дитя обретает речь») или англоязычного модерна (от Йейтса до Дилана Томаса), но и в «плебейской» советской поэзии. В балладных ритмах можно расслышать, скажем, Багрицкого или Луговского... А дальше? Именно при чтении последней книги мне пришло в голову еще одно имя – Евгений Рейн. С ним Месяц родственен не по поэтике как таковой, но по базовому отношению к слову, по чувственности и любви к сильному, глубокому звуку. Иногда – по интонации:

Он работает на производстве линз
для биноклей, прицелов, подзорных труб.
И разорванный в клочья расчетный лист
для его понимания слишком груб.

Различенье понятий добра и зла
для него есть специфика высших сфер:
точный срез обработанного стекла,
кривизна, сила фокуса и размер.

Не случайно для обоих жизненное и творческое соприкосновение с Бродским – которого, может быть, именно такие поэты притягивали «по контрасту»: сам-то он был совершенно иным. Рейн тоже пережил мощный творческий всплеск на пятом десятке – для него это был переход от натуралистической исповеди к коллажу. Но у Месяца исповедь если где и есть, то либо (как выше сказано) сюрреалистически сдвинутая, либо ироническая («Таджичка Гуля»).

Еще одно, может быть, имя из той же эпохи, но совсем другого лагеря – Юрий Кузнецов, в своих лучших проявлениях – без лубочного «мифотворчества» и истерического пафоса, но с хорошей мужественной остротой; кажется мне или нет, но у Месяца – немного похоже:

Вот я вместе с мамой в постели сижу,
и каждый сжимает в руке по ножу.
Мы ножики точим, а руки дрожат,
и хляби пророчеств над нами визжат.

Это не значит, что опыт следующего поколения, «семидесятников», мимо Месяца прошел: не зря он дружил не только с Бродским, но и с Еленой Шварц, не зря он – издатель Ивана Жданова и Алексея Парщикова. И хотя именно с этими поэтами прямого родства у него, на мой взгляд, не найти, можно, может быть, в самых последних стихах обнаружить некое сходство, например, с ранней поэтикой Александра Миронова: суггестивная образность в сочетании с эмоциональной прозрачностью, раскованная внутренняя музыкальность, связь (на образном уровне) Эроса и смерти. Хотя мироновский тип лирической личности Месяцу как раз совершенно чужд: ничто не связывает его, жизнелюбивого и жизнестойкого язычника из глубин Евразии, ни с сознанием нервозно-андрогинного петербуржца, ни с экстатическим опытом русских сект.

Ну а в своем поколении и среди тех, кто моложе, Вадим Месяц, как издатель и организатор литературы, сам ищет и находит себе родню... При этом вызывает уважение его спокойное равнодушие к литературной моде. Он не боится показаться чуть-чуть архаичным – и правильно делает. Литературное развитие в наше время никогда не идет по одной линии – и только диалог нескольких традиций

способен дать новое качество. Наивный бунт против «традиционности» как таковой часто оборачивается рабской зависимостью от самой короткой и простой из традиций. Об этом предупреждал еще Элиот.

В лучших стихах книги (а их немало) Месяцу удается создать новую гармонию – новую для себя, а значит, и вообще новую. Я бы сказал, что, может быть, гармонические миры с таким количеством внутренних измерений у него появились вообще впервые. Такие стихотворения, как «Смерть модельера», «Пробуждение», «Молодильные яблоки», «Пасечник» – явные победы, стихи, которые легко представляешь себе в антологии современной русской поэзии.

...Чужеземцу в их души проход закрыт.
У них время людей не в сердцах течет,
а в ключе серебристом, что в ночь зарыт,
в ночь, которую в полночь придумал черт...

Или:

В дворцовой спальне
спрятан сон младенца:
иголка в сене, бусинка в глазу,
кривые соловьиные коленца,
усыпанные листьями в лесу,
невидимый, неслышимый, немой,
он как живая бабочка зимой.

Хорошие, глубокие, звучные стихи. Цитировать – одно удовольствие.

Но... Двести стихотворений за год – удача, но и опасность. Найденное иногда забалтывается, девальвируется. Ведь ежедневно работать в ритме прорыва невозможно, если тебе не семнадцать, и ты не Рембо.

Особенно это видно в длинных стихотворениях, названных именами исторических персонажей (от Пастернака до Менгеле). Они и неплохи, но в них есть налет гладковатой малосодержательности и необязательности. Что решительно не выходит у Месяца – это язвительность («Ювелир»).

И все-таки в целом «Стихи четырнадцатого года» – большая удача. И то, что с пера зрелого поэта сошла такая книга, мастерская и молодая – хороший знак не только для него лично. Воздух большой поэтической эпохи не вычерпан, не выдышан, он еще с нами.

Воздух, в котором «подлинно поется – и полной грудью, наконец....»

*Алексей АЛЕКСАНДРОВ*

## МОЛЕКУЛЫ ТЕКСТА

**Е. Стрелков. Молекулы. – Нижний Новгород: Дирижабль, 2015. – 127 с.**

Книга стихотворений, выступающая в непривычной роли путеводителя и экскурсовода – в сносках звучат имена и подробные детали художественных проектов, к которым эти тексты привязаны, или книга художника и по совместительству поэтический сборник избранного? Звучит одинаково неубедительно. Значит, можно подумать, что перед нами некий синтетический жанр, и обмануться на этот счет дважды. В первый раз потому, что поэзия чем дальше, тем больше освобождается от дополнительных функций, навязанных ей автором, во второй потому, что обман этот – тоже часть замысла.

Но пойдем по порядку. Первый корпус текстов из сборника «Радиопары» (2005–2007) – представляет проекции текстов и возникающих в этом процессе образов на карту то ли местности, то ли ее макета.

Казань.
Дыхань
е сбивается когда
взойдёшь на университетский
холм.
И под тобой –
пуховая подушка крыш
истыканная иглами церквей
и минаретов.
Акупунктура слов.
Застеленная белым
кушетка исцелителя от снов.

Рисунки в «Радиопарах» зачастую носят служебный характер, объясняя не сколько сами стихи, сколько действо вокруг них. Так на стр.17 читатель найдет схему медиа-арт-проекта «Сумма речи», на стр.7 фотографии портовых кранов, взятых из медиа-проектов «Рейнская коллекция» и «Техногенез: Хромофаза». Кажется, что Стрелков нарушает чуть ли не главный принцип поэзии, подробно раскрывая механизмы и разоблачая фокусы. Но нет, при внимательном чтении обнаруживаешь, что визуальный ряд и пояснения идут параллельно со стихотвореньями, живут своей жизнью (или воспоминаниями о ней) и если и пересекаются, то порождают скорее эффект возмущения, чем замещения.

пока самолёт удаляется от близкой земли,
стюардессы молча дублируют
английский текст
о средствах спасения:
выбрасывая вверх руки и заводя их
за спину,
наклоняясь вперёд и в стороны.
чарующая пантомима,
воспоминания пионерлагеря...

не хватает слов.

Примерно так, как в этом и следующих фрагментах из цикла «Английский пассажир», где страны разделены вербально и на ментальном уровне, и встреча их равна катастрофе.

Далее в книге помещен раздел, составленный из стихотворений сборника «Молекулы» (2008–2009). Да, он тоже подобным образом проиллюстрирован и прокомментирован, но стихи в нем другие, в них начинает звучать насекомый космос, пейзаж, реки, причем последние звучат в прямом смысле (см. отсылку к весьма любопытному проекту «сИренада»).

А кем вернулся ты?

с глазами стрекозы безумными
в гусиной зябкой коже
с полынным запахом
с холодной жабьей дрожью
с коровьим бешенством
с мечтой в единороге:
усталый череп положить
на милой девы
ноги.

Стихи из «Молекул» выглядят как подступы к тем темам, которые станут главными в «Мотивах» (2010-2011) и особенно в «Поводах» (2012–2015) – заключительных разделах этой книги. Там соединение научной и поэтической речи, ломоносовских строк с цитатами из Заболоцкого, Хлебникова, слияние быта и философии на волжских берегах порождает удивительный эффект присутствия сразу в нескольких временах.

Тревожный сон стрекоз и робкий
посвист птиц
под ватой облаков, под вспышками зарниц
неслышный ход червя, шуршание жука
плеск рыбы на реке, подвижная река.

«Хоть острым взором нас природа
одарила,
Но близок оного конец имеет сила.
Коль много тварей он ещё не досягает,
Которых малый рост пред нами
сокрывает!»

Пускай их... книгочей приладясь
к окулярам
зрит тонки члены в них, составы
и футляры,
Невидимых частиц и тонких в теле жил...
кузнечик много трав в свой кузов пуза
уложил
и много вер – тарарахнул зинзивер:
«кто вы, кивающие маленькой головкой,
Играете с жуком и божией коровкой?»

Под ватой облаков
под струями светил
– тончайших мира жил.

Получается, что избранное поэта и художника вполне уживаются под обложкой этой книги, и что является комментарием, а что комментируемым, можно по-разному опреде-

лить даже после повторного прочтения. В конце концов, молекулы текста могут состоять не только ведь из слов, правда?

*Анна ГОЛУБКОВА*

## ТОЧНОСТЬ И КОНСТРУКТИВНОЕ МНОГООБРАЗИЕ

**Татьяна Бонч-Осмоловская. Истоки истины. – М.: Арт Хаус медиа, 2015. – 216 с.**

Татьяна Бонч-Осмоловская известна не только как прозаик, но и как поэт, визуальный артист, переводчик, филолог, автор основательного труда «Введение в литературу формальных ограничений: Литература формы и игры от античности до наших дней». В своей прозе она также использует элементы игры с формой, постоянные эксперименты с различными литературными стилями и жесткую конструктивную работу с построением сюжета. Предыдущий сборник рассказов Татьяны Бонч-Осмоловской «Идти легко» вышел четыре года назад в Нью-Йорке. В нем были представлены самые разные подходы к организации прозаического повествования – от имитации монолога вербатим до использования поэтики сказа или приема смены идентичности персонажа. Здесь просматривается та же многосторонность и склонность к неожиданному эксперименту, что и во всех других интересующих автора сферах искусства, литературы и науки. Вышедшая недавно новая книга прозы Татьяны Бонч-Осмоловской не стала исключением из этой общей тенденции.

В книгу вошли повесть «Дневники неизвестного путешественника» и несколько рассказов. Повесть стилизована под путевые заметки эпохи классицизма. В приведенных в конце «служебных записках» стоит дата 18**, а в начале упоминаются дневники Миклухо-Маклая, изданные «ничтожным тиражом малоизвестным полинезийским издателем», что дает нам возможность датировать происходящее в повести концом XIX века. Но все-таки стиль произведения своей основательной витиеватостью и неторопливой размеренностью больше напоминает английские путевые заметки XVIII века в хорошем советском переводе, сделанном специально для серии «Школьная библиотека». Вот, к примеру, фрагмент из начала: «После двух недель путешествия я обратил внимание, что море сделалось гладким и зеркало днём нестерпимо, что, по словам капитана, означало приближение к экватору. Солнце окрашивало морскую поверхность в золотые оттенки, совершенно скрывая из вида обитающих в его глубине тварей, как зеркало не даёт человеку заглянуть за его лик, но возвращает ваш же собственный образ, таким образом, лишая меня возможности проводить наблюдения и научные опыты над обитателями морских глубин».

Герой-повествователь, каким-то образом проштрафившийся на родине, по своему желанию вместо наказания отправляется на далекий остров, чтобы жить там в одиночестве, наслаждаться природой и собирать научный материал. На острове он обнаруживает присутствие разумной жизни в иной, нечеловеческой форме – племя котов, живущих примитивно организованным первобытным обществом, и высокоорганизованную, обладающую развитой культурой расу муравьев. Сначала герою вроде бы удается наладить контакт и с теми и с другими, но в конечном итоге все равно случается непонимание, из-за которого герой и гибнет. Любопытно, что по своим естественнонаучным устремлениям и неутолимой жажде познания герой-повествователь безусловно относится к эпохе классицизма с ее упором на описание и систематизацию окружающей реальности. В то же время стремление к одиночеству и желание насладиться единением с природой и дикими формами жизни является прямой отсылкой к романтизму.

Обе эти черты позволяют соотнести текст не только с иронически переосмысленными классицистскими описаниями путешествий, но и с некоторыми произведениями русской прозы первой трети XIX века, например, с «Фантастическими путешествиями барона Брамбеуса» Осипа Сенковского или со «Странником»

Александра Вельтмана. Кроме того, и включение в текст элементов фантастики – разумные животные и насекомые, придуманные автором представители флоры и фауны, – тоже является приемом, использовавшимся как классицистами, так и романтиками. Конечно, вполне возможно приписать «Дневники неизвестного путешественника» и к обширной постмодернистской практике использования фантастических экскурсов на фоне причудливой барочной образности, но, на мой взгляд, этому все-таки препятствует дотошность воссоздания элементов стиля и отдельных деталей, которая является общей чертой прозы Татьяны Бонч-Осмоловской.

Следующее произведение называется «Этюд в чёрно-белых тонах». Это иронически-фантастическая пародия как на известное произведение Артура Конан Дойла, так и на сделанную BBC современную экранизацию, в которой первоначальный сюжет почти полностью видоизменен. Действие происходит то ли в будущем, то ли в какой-то параллельной реальности, по крайней мере, в небе над планетой, которую описывает автор в этом рассказе, не одна, а целых две луны. Здесь у повествования есть рамочная конструкция: история рассказывается у костра неизвестным странником, предположительно – разочаровавшимся в своем труде ученым, но возможно, что и просто посторонним человеком, где-то подобравшим этот бродячий сюжет. В интерпретации Бонч-Осмоловской и Шерлок Холмс, и доктор Ватсон, и Лестрейд оказываются учеными, занятыми расшифровкой ДНК. Причем первые двое – ученые не очень прилежные, скорее их можно назвать безалаберными лентяями. Тем не менее именно им удается свести воедино результаты трудов нескольких лабораторий и построить модель ДНК.

В общем контексте такого сюжета очень уместными оказываются познания самого автора (Татьяна Бонч-Осмоловская окончила Московский физико-технический институт), которые придают тексту весьма специфический колорит: «Оставались неясными всего несколько моментов – если молекула представляет собой спираль, то каков радиус локальных спиралей, и каков угол наклона линий её связей к основной оси, и где расположены основания – внутри или снаружи системы, и как соединены цепи – водородными связями или через солевые мостики и отрицательно заряжённые фосфатные группы, и главное – сколько всего полинуклеотидных цепей содержится в молекуле?». Кроме имен персонажей и сходного, хоть и иронически переосмысленного, распределения их ролей в повествовании, с исходным произведением «Этюд в чёрно-белых тонах» связывает еще и смерть от сердечного приступа Рози – сотрудницы профессора Лестрейда, ближе всех подобравшейся к решению проблемы и не пожелавшей делиться результатами своей работы с ничего не понимающими мужчинами. В результате у Татьяны Бонч-Осмоловской получилась такая вот футуристическая, фантастическая и одновременно феминистская интерпретация известного произведения.

Рассказы «Противоядие» и «Фиолетовый туман» автор выстраивает в первую очередь на игре с сюжетом. Любопытно, что во втором рассказе снова появляются Шерлок Холмс доктор Ватсон и Лестрейд. На этот раз вымышленные персонажи оказываются не просто существующими в одном пространстве со своим создателем, они еще и способны вступить с ним в контакт и даже от него избавиться. Таким образом иронически обыгрывается смерть автора, которая в «Фиолетовом тумане» происходит в буквальном смысле. Кроме того, здесь еще можно усмотреть сходство с известным стихотворением Марии Галиной «Доктор Ватсон вернулся с афганской войны...», в котором герои как бы меняются местами: доктор Ватсон оказывается чем-то вроде Джека Потрошителя, а Шерлок Холмс не способен раскрыть преступление, происходящее прямо перед его носом. В рассказе Татьяны Бонч-Осмоловской также ведущим персонажем становится доктор Ватсон, но роль Джека Потрошителя доверена уже полубезумному Шерлоку Холмсу, находящемуся под полным контролем своего приятеля.

Еще в двух рассказах «Рагу Фибоначчи» и «Приближение к совершенству» речь заходит о возможности применения методов точных наук в областях сугубо гуманитарных. В пер-

вом рассказе описывается программа, придуманная специально для создания большого количества совершенных литературных текстов, во втором – попытка создать некий идеальный язык. В этих сюжетных коллизиях, конечно же, сложно не усмотреть попытку автора соединить два абсолютно разных направления своих научных интересов. И надо отметить, что эта попытка в конечном итоге оказывается не менее удачной, чем использование соответствующей проблематики в «Этюде в чёрно-белых тонах».

Завершает книгу большой рассказ «Колыбельная для Кассифоны», по своей стилистике стоящий в книге совершенно отдельно. Если во всех упомянутых выше произведениях большое значение имела игра с сюжетом, то здесь повествование как описание последовательно происходящих событий отсутствует почти полностью, хотя некая рамочная конструкция в рассказе все-таки имеется. Текст оформлен как записи некой Фантасии из Мен-нефера, писца из храма Аписа, однако на самом деле представляет собой небезынтересную попытку наделить плотью и придать своего рода объем пространству древнегреческого мифа. Причем особенно любопытно, что если в предыдущих произведениях и герои-повествователи, и главные действующие лица были мужчинами, то здесь представлен именно женский взгляд на мир, то есть оживление мифа происходит через попытку воспроизвести женское мироощущение античной эпохи.

Это мироощущение представлено прежде всего как переживание телесного контакта с миром или даже всего мира как одного большого тела: «Я пряду эту нить, черчу прутом на песке, я пишу в тишине эти строки. На третьем году войны у меня ничего не осталось, чтобы вспомнить путь, найти забытый браслет, связать нить, разорванную поутру, а где ещё собирать мелкие камни, как не на Кафтиу-Крите, забытом, разрушенном, стёртом с основания земли. Я брожу по призракам комнат, по площади, по слепым коридорам – вспоминая, творя наяву, замечая во сне, раскапывая и расчищая завалы, стены, груды песка, которыми землетрясение, время, ахейцы, микенцы, спартанцы, волны скрыли прекрасный дворец». Эта подробно описанная телесность восприятия распространяется и на включенные в миф события, которые тоже описываются как некая последовательность визуальных и тактильных контактов.

Четкого отделения одной героини-повествовательницы от другой здесь нет. Одно женское сознание плавно перетекает в другое: Фантасия пишет о Елене, оказавшейся в старости на Крите, Елена думает об Ариадне, Ариадна – о женщинах своего рода: матери Пасифае, тетушке Кирке и бабушке Европе, затем голоса этих женщин как бы обретают самостоятельность, но тем не менее продолжают рассказывать о своем сугубо женском опыте – опыте травмы и жертвы. В этом контексте ключевым моментом для понимания произведения, на мой взгляд, становится его название «Колыбельная для Кассифоны». Кассифона – дочь Кирки, то есть Цирцеи, неоднократно упоминающейся в тексте рассказа. По одной из версий мифа сын Одиссея Телемах женился на Кирке, а потом убил ее, чтобы жениться на ее дочери Кассифоне и впоследствии в свою очередь быть ею убитым. То есть «Колыбельная» становится своего рода предупреждением для Кассифоны, которая должна будет завершить эту бесконечную череду женских травм и мужских предательств. Любопытно также и то, что в этом соотношении мужского и женского начал Татьяна Бонч-Осмоловская вполне следует общепринятым представлениям: мужское – логичное, последовательное, агрессивное, женское – эмоциональное, аморфное, жертвенное.

Если сравнивать сборник «Истоки истины» с предыдущей книгой прозы «Идти легко», то безусловно можно отметить обретение автором гораздо большей уверенности. Татьяна Бонч-Осмоловская по-прежнему стремится к многоплановым экспериментам как с формой, так и с содержанием своих произведений. Однако эти эксперименты, пожалуй, становятся все более и более системными, так что вполне уже можно определить несколько общих направлений художественных поисков автора этой книги.

*Анна САФРОНОВА*

## «СОБАКА, БЕГУЩАЯ ПРЯМО-БОКОМ-НАПЕРЕД»

**Владимир Шапко. Лаковый «икарус». – СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2015. – 608 с.**

«...Вы пишете просто, но незаемными словами. Находите их. Или они к Вам сами приходят? Эта ваша собака, бегущая *прямо-боком-наперед* – просто замечательно! Водопад в Африке. *Как белая раздевающаяся женщина.* Африканские люди деревни – *длинноногие и длиннорукие, как муравьи.* Всё это нужно увидеть своими глазами, услышать, прочувствовать».

Увы, не в редакциях слышит эти слова главный герой романа, писатель Сергей Серов, не от редакторов – а от практиканта, которому волею случая выпало писать внутреннюю рецензию на Серова, и – в забегаловке, среди маргинальных персонажей (как всегда у Владимира Шапко, показанных ошеломляюще ярко, напр.: *«Горлышко бутылки он ловил скользкой кобыльей губой, как фаготист...»*).

И много еще нужных Серову слов находит практикант: «...вы – писатель, так сказать, слова, фразы, метафоры, детали. Однако, как и вы, я думаю – только как раз через звук, цвет слова, то есть – *через чувство*, вызванное этим словом – и можно выйти на большое понятие, на большую мысль. Чувство никогда нас не обманывает. Трюизм. Но – верно».

А что в редакциях?

Серову говорит редактор: «– Вот вы в очередном своем опусе, которым осчастливили нас, пишете, Серов... “Длинношерстная, легкая сука бежала прямо-боком-наперед” (...) Нет, вы нам объясните, Серов, как это можно бежать: прямо... боком... да ещё наперёд?»

Далее происходит сцена, которую можно было бы назвать смешной, если бы она не была душераздирающей.

«Серов вскочил.

– Вот, вот как бегают собаки прямо-боком-наперёд! – Нагорбившись, он мелко пробежал прямо-боком-наперёд. Мельтеша руками, как лапками. – Вот, вот, если вы не видели никогда!

Сотрудники непрошибаемо, самодовольно смеялись. (...)

– Пишите просто, Серов. “По огороду бежала сука...”»

Серов (alter ago ВШ?) – не единственный писатель в романе. Есть и другие: Коля-писатель, Дылдов. Неприкаянные, чувствительные, несчастливые, умницы, *лохи.* Почему так? Дылдов говорит Серову:

«...Они же все словно договорились, как писать, Сережа. Давно договорились. Негласно, но железно. А ты – сам же видишь, ну никак к ним. Ни с какого боку... Понимаешь – правила хорошего тона. А ты – просто не воспитан. Да разве будут они тебя печатать? Они будут тебя бить! И притом искренне, каждый раз еще самодовольней утверждаясь в своей правоте. Это даже – не традиция. Тут именно – договорились, условились. Это касается и языка, и построения фразы, и тем, и сюжетов, и границ дозволенного... (...) Они не писатели. Они – члены Союза писателей...»

(Попутно заметим: ВШ не романтизирует своих героев, что заметно уже по фамилиям: Серов – что может быть будничнее? Дылдов – комично, а вышеупмянутый практикант и вовсе Гавунович. Ироничный ВШ одну из своих повестей назовет: «Графомания как болезнь моего серого вещества»[1]).

ВШ далек от того, чтобы делать из своих персонажей борцов с тоталитарным режимом, хотя они и произносят время от времени обличительные речи: «...Им выгодно, что мы в общагах. Выгодно! Они загнали нас туда. Им нужна наша молодость, здоровье. Наша глупость, в конечном счете. Они греют на ней руки. Они только ею и живы. Всё держится у них на молодых дураках...» Это Серов, главка «Борец трезво-пламенный». В таком заголов-

[1] *Волга, 2012, №11-12.*

ке, конечно, ВШ посмеивается: гораздо чаще Серов произносит речи совершенно в ином состоянии:

«...Серов упорно глотал резиновое. Не пиво – резину. По семьдесят коп. стакан. Стакан за стаканом. Говорил, как радио, вылезшее из подполья. Неизвестно кому. “Самоедство сюжета. Заданностью сюжета. Вот что им нужно. Заданность. Чтоб самоедство схемы было, идеи. Чтоб всё подчинялось им. Чтоб схема пожирала самое себя... (...) Всё зарезервировано...”»

Или так:

«...Бутылка Серова на мраморном столике стояла открыто. Полный стакан водки он выглотал враз. (...) И ждал. Ждал результата. И – жаркая, всеохватывающая – явилась пьяная всегениальность. Ему всё стало ясно. Все же просто, граждане!..» (Развивающуюся у Серова страсть как к выпивке, так и к сочинительству ВШ описывает поэтапно, дотошно – както *так*, что очевидно: без этого Серову никуда, нет иных вариантов.)

В вышеупомянутый момент «всегениальности» (почти финал романа) – Серов уже на пределе отчаяния, вызванного последними неудачами (а как им не быть, если они запрограммированы и в самом Серове, и во времени, в окружающей его реальности?). Затем он сгребёт с антресолей все папки с рукописями (двенадцать лет работы) – и сдаст их в макулатуру. После чего выбросится из окна.

Но вернемся к началу книги. Что за время такое? 1979-й год, канун Олимпиады, Москва, состояние повышенной бдительности со стороны властей на всех уровнях.

Сергей Серов, Александр Новоселов и другие – постоянные герои прозы ВШ, читателям толстых журналов знакомые с 1997 года[1]. Первым в «Лаковом “икарусе”» является Новоселов, на момент начала действия измученный борьбой с клопами, а вскоре и Серов, на тот же момент попавший в вытрезвитель и ждущий публичного бичевания. Они – московская лимита, шоферы, живущие в общежитии – в надежде на постоянную прописку. Пока они как будто в равных правах, равные герои повествования, и только далее, когда история жизни Серова все более становится сюжетообразующей, становится понятно, – главный герой всё-таки Серов. Новоселов не одержим страстью к творчеству, к обстоятельствам адаптируется легче. Он – вечный утешитель и как бы нянька Серова, но что толку:

«Через час, трезвый, злой, дома он опять увидел лошадиное лицо, опять, как большой муляж, вывешенное в пространстве комнаты. Ну сколько ж можно!.. Снова прошел в ванную. В туалет. Сидел на краю ванночки, покачивался. Среди пламенных приветов как бы от тещи. Розовых, голубых. Неистребимых на веревке. Вечных. Виноват был весь мир. Виноваты были все. Кроме него, писателя-пьяницы Серова. Ды чё-орный во-о-орын! Э-ды чё-орный во-о-оры-ын! В дверь застучали. Заткнись! Дети спят!..»

Один абзац – а есть всё: концентрированное описание внутренней трагедии, разлада с собой и окружающими, плюс исчерпывающая картинка быта, семейных отношений.

Со второй главки романа – сначала как будто фоном – появляются ретроспективные фрагменты, которые в скором времени станут самодостаточными, и в то же время неотъемлемыми частями романа. Детство Серова, детство Новоселова, родители (один из важных второстепенных героев – отец Новоселова).

А в московской романной реальности в одно время с Новоселовым – Серовым появляется другая пара: Дмитрий Алексеевич Кропин и Яков Иванович Кочерга. Их история – как будто роман в романе. В 1979-м они старики. В главе «Московский зоопарк 1939 года» Кочерга (с женой и маленьким сыном) с другом-коллегой Кропиным – молодые, смеющиеся. ВШ протягивает временную ниточку очень далеко – Кропин и Кочерга на юбилее (65 лет) у своего завкафедрой Степана Михайловича Воскобойникова. Здесь-то юбиляр и произне-

[1] *См, напр.: публикации в «Волге»: «Настоящая московская лимита» (1997, №11-12), «Берегите запретную зонку» (1998, №1), «Дырявенький кинематограф» (1999, №8), рассказы (2000, №4), «Время стариков (2010, №1-2), «Один день перед поездкой в Бирск» (2014, №9-10); публикации в «Урале»: «Битвы за место под тучей» (2014, №3, №4), «Московский рай» (2015, №6). И др.*

сет роковую фразу, после которой выкосят всю кафедру во главе с ним – за исключением двух стукачей. Сидеть по доносу стукача пошел Кочерга, вслед за учителем. Кропина – как менее одаренного, более мягкого, и, следовательно, менее опасного для власти – не тронули, но из института он ушел. На кафедре появляются «глухо молчащие люди, взятые в новые скрипучие комсоставские ремни»: «Кинутые на усиление старались. Честно тужили мозги. Пытались хоть что-то понять в учебниках. (...) Неделю примерно *увязывали, понимаешь, вопрос*. Потом пошли в массу. В аудиторию. Преподавать».

Новоселов – Серов, Кропин – Кочерга – это как бы зеркальные пары из разных поколений. Один более или менее благополучен (Новоселов, Кропин), второй талантливее, но беззащитнее (Серов, Кочерга). В 79-м Новоселов опекает пьющего Серова, а старик Кропин – больного, обездвиженного практически Кочергу. Все четверо схожи: пытаются не потерять себя в мире тотальной лжи и стукачества – как в прошлом, так и в настоящем. Они не мстители и не борцы. Сорок лет спустя после разгрома кафедры и посадок Кропин получает на руки машинописные копии доносов кафедрального стукача. И... всё. Возмездия не будет. Кропину вполне достаточно предъявить стукачу доказательства его преступлений посмотреть на него – и не делать никаких движений к его наказанию. «А то ведь тоже стучать бы пришлось...» – резюмирует Кочерга. Непротивление злу насилием? Возможно. Но герои ВШ не решают вопрос: как им поступать? – подругому они просто не могут: отвечать на зло, насилие, стукачество, хамство подобными же действиями – просто не в их природе, противоречит их натуре.

В 1979-м, к началу повествования, линии Кропина и Кочерги, Новоселова и Серова уже связаны. Вот сидит Кропин за пишмашинкой в комнате Серова, набирает одним пальцем текст объявления о квартирном обмене. В комнату бесцеремонно вторгаются начальственные дамы. Происходит дознание на предмет машинки, ее зарегистрированности. Зачем у шофера пишмашинка? Чтобы убедить их в том, что Серов – писатель, Кромин достает одну из немногих публикаций, повесть «Рассыпающееся время». Название символично? Да, именно так.

Здесь самое время сказать о структуре книги. Романное время (если не говорить о ретроспективах) длится с 1979-го до 1980 года, вплоть до Олимпиады. К финалу Серов вновь попадает в вытрезвитель, за десять дней до Олимпиады. Засим следует увольнение с работы, выкидывание с места жительства, безумие и самоубийство. За два дня до Олимпиады Новоселов, похоронив друга, покидает Москву, едет на родину, к матери, в Бирск. Последняя глава, «Родина», является, по сути, печальным эпилогом.

Но время в романе нелинейно, главы «современные» перемежаются историями минувших лет, взрослые Серов и Новоселов чередуются с детским своим вариантом. Истории из жизней разных персонажей составляют как бы отдельные новеллы-повести, отдельные произведения. И как же хорошо, что все они, разбросанные по разным местам или вовсе неопубликованные, собрались, наконец, вместе, образовали прочное романное полотно, где все детали между собой крепко сцеплены, всё вместе работает в десятки раз сильнее, чем по отдельности. Рассыпающееся время собрано воедино, всё на своих местах.

У ВШ ни один герой не получается серым, незаметным – все предельно индивидуализированы, все до единого запоминаются, даже язык с трудом поворачивается назвать их второстепенными. Многие сюжетные линии ведутся последовательно в многослойном повествовании книги. Вот, к примеру, Константин Иванович Новоселов (отец героя) и молодая любовница его, Антонина Лукина (мать) – их история, их трагедия – тоже своего рода роман в романе. С отвращением (как будто даже сладострастным) пишет ВШ образы чиновных особ, в особенности женского пола. Ни один персонаж, даже проходной, необязательный вроде бы для повествования (а на самом деле вполне обязательный) не оставлен без внимания: «По-стариковски, сидя, спал в централь-

ной аллее Запойник. Чистильщик обуви. Рыжины на голове его торчали, как камышовые метелки на болоте. Вздрогнув со сна, ударял щетками в ящик. Будто чумной заяц лапками в барабан. Пугая отдыхающих. Резко обрывал, поникнув. Но чуть погодя – снова на всю округу: трра-та-та-та! И поник, щетки свесились...»

Любителям гладкописи проза ВШ покажется неудобной для чтения, раздражающей, неуклюжей. Ну как можно, к примеру, давать главкам такие неудобоваримые заголовки: «Встреча Дылдовым своей бывшей жены и своей дочери»? При этом следующая главка называется «Проводы Дылдовым своей бывшей жены и своей дочери». Такое не всем понравится.

Прием остранения у ВШ тотален. Мир изменен под его взглядом, мы видим его другим. ВШ делает что-то такое, что возвращает радость наивного детского чтения: читаешь и веришь – так оно всё и было, всё по-настоящему. Поэтому смерть Серова становится личной утратой.

Но почему же «Лаковый “икарус”»? Это сквозной символический образ книги. Каждое утро Александр Новоселов наблюдает, как толпа пэтэушников осаждает автобус: «...в дверь началось ежеутреннее яростное всверливание пацанов. Казалось, «икарус» жестоко насиловали...» И вот (почти в финале книги) Новоселов «решился подойти к начальнику. Хмуро говорил об утреннем автобусе для пацанов. Для пэтэушников. О драках, о ежеутренних диких посадках в автобус. Нехорошо это. Стыдно. Для нас, взрослых. Просил выделить еще один автобус».

Ответ не замедлил явиться.

«Начальник с удивлением разглядывал парня с настырным чубом, точно впервые увидел его таким.

– Ты что, Новоселов, с луны свалился? Опомнись. Да я им десять автобусов дам – они будут драться! Кто успел, тот и съел! Неужели непонятно? Ты что – жизни не знаешь? Ты где живешь: на земле или на небе? (...) А я тебе скажу, что так было, так есть и так будет. Всегда! Понял?»

Вот такой неутешительный расклад, явно не в пользу гуманизма.

Но заканчивает ВШ не этим, а вечной и прекрасной картиной: «...Ветер стих. От закатного солнца пришел и стоял над рекой вселенский яркий свет. Плыли и плавились по самой реке капища золота. Внизу, в тени горы, мужичок на куцей лодочке работал вёселками. Сплывал быстро и спокойно. Как утица...»

Я искренне завидую тем, кому еще только предстоит прочитать эту книгу.

**Редколлегия журнала:**

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 16 февраля 2016 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.